АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XV

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1966

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко (Москва). О некоторых вопросах развития языковой культуры народов СССР 3
Н. С. Поспелов (Москва). О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в русском языке 17

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Ю. Розенцвейг (Москва). Языковая практика и лингвистическая теория 30
О. А. Лаптева (Москва). О некодифицированных сферах современного русского литературного языка 40
М. Моллова (София). К истории тюркского вокализма 56
М. И. Стеблин-Каменский (Ленинград). К теории звуковых изменений 66
Ю. В. Солоницын (Киров). О цифровых показателях, характеризующих «силу» управления 80

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. С. Баевский (Смоленск). О числовой оценке силы слогов в стихе альтернирующего ритма 84
Р. М. Фрумкина (Москва). Объективные и субъективные оценки вероятностей слов 90
В. Г. Гак (Москва). Опыт применения сопоставительного анализа к изучению структуры значения слова 97
И. В. Арнольд (Ленинград). Оппозиции в семасиологии 106

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н. В. Петрова (Москва), Р. Г. Пиотровский (Ленинград). Слово, контекст, морфология 111

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. В. Лапшина, И. К. Романович, Б. И. Ярхо. Из материалов «Метрического справочника к стихотворениям М. Ю. Лермонтова» 125

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

И. И. Ревзин (Москва). «Statistical methodes in linguistics», 1—3 138

Рецензии

О. С. Ахманова (Москва). «Diogen» 142
В. Д. Левин (Москва). *Ю. С. Сорокин.* Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90 гг. XIX века 152
А. Н. Кононов (Ленинград). *J. Németh.* Die Türken von Vidin 158
Е. П. Арустамян (Ереван). *И. К. Кусикьян.* Изменение в словарном составе литературного армянского языка советского периода 164

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

П. Ивич (Новый Сад). Письмо в редакцию 166

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Решения IX заседания Международного комитета славистов 169
Тематика VI Международного съезда славистов 170
Хроникальные заметки 171
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 175

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

Ю. Д. ДЕШЕРИЕВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР

Более 30 лет назад А. М. Горький в своей известной статье «О языке», отмечая большую важность борьбы за высокую языковую культуру, писал: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней»[1]. В этой статье писатель неоднократно подчеркивает большое идеологическое значение совершенствования языковой культуры, обращая внимание на особенности этой работы в условиях нашего многонационального государства. «Не надо забывать,—говорил Горький, — что наша страна разноязычна неизмеримо более, чем любая из стран Европы, и что, разноязычная по языкам, она должна быть идеологически единой»[2].

За истекшие годы велась и сейчас проводится немалая работа по развитию языковой культуры народов Советского Союза. Достигнуты большие успехи в развитии и старописьменных, и младописьменных языков; наблюдается взаимодействие и взаимообогащение языков, развертывание внутренних потенциальных возможностей национальных языков; четко обозначившейся представляется тенденция к постепенной выработке культурной общности. Причина этого процесса заключается в интернациональной природе нашего общественного строя, в общности идеологии народов СССР. Очевидна и все более возрастающая роль русского языка как языка межнационального общения народов нашей страны. Все эти моменты должны учитываться при рассмотрении вопросов развития языковой культуры на современном этапе.

Борьба за постоянное совершенствование и обогащение языка, за высокую культуру речи имеет особенно важное значение сейчас, когда наша страна вступила в период развернутого строительства коммунистического общества, когда стоит задача нового мощного подъема всей культуры трудящихся нашей страны на более высокую ступень развития.

Вопрос культуры языка в многонациональном советском государстве целесообразно рассматривать в нескольких аспектах.

Общим аспектом для проблемы культуры языка является теоретический аспект. Он обычно сводится к сугубо лингвистическим вопросам. Между тем его теоретическое освещение нуждается в широком социологическом подходе с учетом развития общественного сознания, научного и художественного мышления, задач эстетического и художественного воспитания.

Социологический подход к изучению проблемы культуры языка в условиях многонационального государства предполагает рассмотрение объекта исследования в условиях конкретной языковой ситуации. Здесь наме-

---

[1] М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., 1953, стр. 663.

[2] Там же, стр. 662.

чается следующий круг вопросов: 1) вопросы культуры языка и речи в условиях родной языковой среды; 2) вопросы культуры речи и языка межнационального общения; 3) вопросы культуры родного языка и речи в условиях иноязычной среды; 4) вопросы культуры языка и речи, связанные с взаимовлиянием родного языка и языка межнационального общения (здесь могут быть обнаружены общие моменты в развитии культуры родного языка и русского языка).

1

О культуре языка и речи в общем плане и в особенности о культуре русской речи (прежде всего у русских) написано очень много.

Основная часть литературы по культуре речи носит научно-популярный характер. Это и понятно: она рассчитана на удовлетворение запросов широких кругов читателей. В такой литературе главное внимание уделяется культуре речи в живом общении, культуре речи агитатора, пропагандиста, лектора, артиста и т. д. Нет необходимости особо подчеркивать большое практическое значение этой литературы. В брошюрах и статьях на эту тему вполне уместно говорить о культуре речи, поскольку в них главным образом рассматривается вопрос об искусстве использования, употребления языка в живом общении. Здесь не представляется возможным дать исчерпывающий обзор существующей литературы по данной проблеме. Точно так же весьма затруднительно составить полный каталог всех определений таких понятий, как «культура языка» и «культура речи». Приходится лишь констатировать, что у нас нет обобщающей фундаментальной работы с изложением теоретических основ культуры языка и речи. В данной статье отчасти придется остановиться на некоторых теоретических вопросах.

В недавней статье В. В. Виноградова справедливо поставлен вопрос о необходимости научно-лингвистического определения содержания проблемы «культура языка» или «культура речи» [3]; в имеющейся литературе выражение «культура речи» нередко употребляют как синоним термина «культура языка». В последнее время появились попытки разграничивать термины «культура языка» и «культура речи» в плане общей концепции Ф. де Соссюра. Не отрицая целесообразности такого разграничения языка и речи в определенных аспектах, мы все же отдаем предпочтение выражению «культура языка» в широком смысле; в этом мы следуем за Г. О. Винокуром, который относил изучение вопросов культуры языка к задачам прикладного языкознания. Ввиду этого «и возникает,— как писал Г. О. Винокур,— та культурная проблема, рассмотрение которой должно составить задачу прикладного языковедения: удобнее всего ее охарактеризовать как проблему культуры языка. Поскольку мы говорим о языке как о некоторого рода организованном построении, как об активности, проблема культуры языка сводится к тому, чтобы овладеть принципами различных типов и жанров речи в рамках заданной социальной традиции...

Речь устная и письменная, ораторская и разговорная, канцелярская и поэтическая, митинговая и парламентская, докладная записка или указ, беседа с приятелем и дипломатический обмен любезностями, язык в прозе и в стихах — все эти языковые задания, вместе с прочими бесчисленными явлениями, которые можно продолжить в каждом из этих видов и подвидов, требуют своих средств выполнения и своей „техники“» [4].

---

[3] В. В. Виноградов, Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания, ВЯ, 1964, 3, стр. 3.

[4] Г. О. Винокур, Культура языка, 2-е изд., М., 1929, стр. 40—41.

В таком широком смысле целесообразнее употреблять термин «культура языка». В этом случае «культура речи» будет представлять собой лишь один из аспектов рассмотрения проблемы «культура языка», ее составную часть. Это обстоятельство заставляет несколько пересмотреть существующие определения «культуры речи». Трудно претендовать на исчерпывающее теоретическое определение понятий «культура языка», «культура речи»; нам кажется, что при попытке охарактеризовать содержание этих понятий нужно исходить прежде всего из практических задач освещения вопросов «культуры языка» и «культуры речи».

«Культура языка» — это владение законами общенационального литературного языка в такой мере, чтобы уметь грамматически и фонетически правильно, лексико-семантически точно, стилистически дифференцированно и выразительно передавать, излагать мысли, выражать чувства в соответствующей форме устной речи и письменного изложения. Как видим, такое определение охватывает все разновидности устной речи и письменного изложения.

На наш взгляд, в понятия «культура языка» и «культура речи» не входят такие субъективные не собственно языковые особенности, определяемые обстоятельствами, местом, временем, как «надлежащий тон», «хорошая дикция» и т. д.

Вряд ли можно требовать от людей даже очень высокой языковой культуры овладения решительно всеми богатствами языка (хотя к этому надо, конечно, стремиться). Здесь достаточно сослаться на пример с запасом слов: словарный состав в науке постоянно обогащается и пополняется. По данным специальной литературы только в области химии приходится говорить о миллионах терминов; постоянно пополняется терминологическая лексика в других областях науки, техники и культуры. Трудно найти человека, который овладел бы всем богатством терминологической лексики, тем более не будучи специалистом в той или иной области науки. А ведь когда говорят о богатстве языка, имеют в виду прежде всего его словарный состав, лексико-семантическую систему.

Понятие «культура речи», являющееся специфическим проявлением «культуры языка» в широком смысле, должно включать знание законов общенационального литературного языка в такой мере, чтобы уметь грамматически и фонетически правильно, лексико-семантически точно, стилистически дифференцированно и выразительно говорить, выражать мысли и чувства в соответствующей форме устной речи, прежде всего в наиболее популярных сферах ее применения, а также владеть необходимыми в повседневной жизни широких масс наиболее распространенными формами письменной речи.

Общеизвестно, что говорящих на любом языке гораздо больше, чем пишущих. По этой причине овладение устными формами общенационального языка для практики, повседневной жизни общества имеет относительно более широкое значение, чем усвоение культуры письменного изложения. Однако это не должно приводить к какому-либо внутреннему противопоставлению этой двуединой задачи и тем более к снижению усилий в направлении ее решения. Одновременное овладение культурой устной и письменной форм языка,— хотя и более трудное дело для самых широких слоев интеллигенции, рабочих, служащих, колхозников,— эта задача безусловно должна находиться все время в поле зрения и должна настойчиво выполняться.

У нас есть национальные литературные языки, носители которых в подавляющем большинстве хорошо знают законы функционирования своего общенационального литературного языка. Этому способствует высокая грамотность, широкое распространение среднего и высшего образо-

вания на родных языках. Естественно, в этих условиях больше внимания приходится уделять «культуре речи».

Особого рода трудности возникают в отдельных национальных республиках, областях и округах при решении вопросов культуры родного языка и родной речи. Здесь часто можно встретить людей, недостаточно знающих законы родного литературного языка. Поэтому овладение культурой родного языка и родной речи сопряжено здесь с дополнительными трудностями.

Гораздо труднее освещать и решать вопросы «культуры языка» и «культуры речи» в национальных республиках, областях и округах, когда речь идет об овладении языком межнационального общения, т. е. русским языком. В этих условиях чаще всего бывает важнее в первую очередь овладеть «культурой языка».

Все это заставляет более широко ставить проблему овладения «культурой языка». При этом, на наш взгляд, не следует стремиться теоретически и практически слишком осложнять эту проблему. Именно такое опасение вызывают некоторые места из очень ценной и важной работы Г. О. Винокура «Культура языка», особенно то место, где говорится, что «культура языка в подлинном смысле невозможна без действительного и — в тенденции — исчерпывающего знания о языке...» [5]. Такие требования трудно предъявлять не только к широким слоям населения, но эти требования вряд ли реальны даже, например, по отношению к специалистам-филологам.

2

В специальной литературе по культуре речи[6] борьба за чистоту, обогащение и совершенствование языка всюду признается важнейшей задачей. В появившихся в последнее время брошюрах и статьях содержится много полезных советов по культуре речи, обращенных к лекторам, пропагандистам, агитаторам и другим работникам, усилилось внимание к этим вопросам в партийной печати[7]. Обыкновенно в статьях и брошюрах о языке даются примеры неудачных выражений, оборотов речи и т. п.; таких примеров действительно много — и самых разнообразных,— они обнаруживаются в устной речи, в печатном слове (вывески, объявления и т. п.), имеющем массового читателя, а также в художественной литературе.

Все чаще и чаще в борьбу за культуру слова включаются писатели, специально выступая по этим вопросам (достаточно упомянуть вышедшие в последние годы книги, статьи К. Чуковского, Л. Успенского и др.). Иногда авторы художественных произведений обращаются к этой теме не специально, а отражают эти злободневные явления на страницах повестей и романов. Например, писатель Владимир Орлов в романе «Соленый арбуз» привлекает внимание к весьма показательным надписям, которые приходится читать одному из персонажей романа Букварю. Вот эти строки.

---

[5] Г. О. Винокур, указ. соч., стр. 41.

[6] См. обзоры литературы: Л. П. Крысин, Л. И. Скворцов, Б. С. Шварцкопф, Проблемы культуры речи (Обзор), ИАН ОЛЯ, 1961, 5; В. Г. Костомаров, Б. С. Шварцкопф, Работы по вопросам культуры русской речи (1962 —1965 гг.), ВЯ, 1965, 5.

[7] Например, только во второй половине 1964 г. журнал «Агитатор» поместил две статьи на эту тему: А. Степанов, Культура речи (№ 18); его же, Говорите правильно! (№ 23).

«...Букварь перешел через площадь... Он вступил на рынок. ...Справа тянулись длинные ряды... слева теснились деревянные домики в один-два этажа, лихо исполосованные рекламой.

Букварь шагал медленно. Мимо глаз его проплывали метворостые слова „...*увековечить вашу улыбку*...“ ...Потом на стене рядом запестрели листки объявлений, сообщая Букварю самые разнообразные вещи: „...*Продаем мебель по причине отъезда*...“, „*Если хотите отличное молоко, приходите на улицу*...“, „...*Ищем хорошую собаку из интеллигентной семьи*...“»[8].

Подобные факты нельзя считать мелочью, ибо такие нелепые и безграмотные надписи появляются в общественных местах и имеют массового читателя.

Довольно распространенными оказываются неправильности и небрежности в устной и письменной речи, которые проистекают от недостаточного знания стилистических особенностей употребления отдельных довольно «ходовых» выражений и конструкций, от нарушения принятых сочетаний слов, а также неправильности в словообразовании, произношении и др. Например, в устной речи нередки: *на каких вопросах следует обратить внимание* (вместо *сосредоточить внимание*), *упрек о том, что* (вместо *упрек в том, что*), *тратить нервы* (вместо *портить нервы*) и т. п. Наряду с выражением *взрослый человек* появились: *взрослая обувь*, *взрослый фильм*, *взрослый разряд* (в значении «обувь для взрослых» и т. д.); столь же неправомерным является употребление прилагательного *брачный* (в значении «испорченный, недоброкачественный») в словосочетании *брачная продукция* (вместо *бракованная*...). Вот некоторые примеры: «В плавании школьница показала результат второго *взрослого разряда*» (из передачи по радио, 18 II 1965); «Как же ты допустила такое: была передовая работница, а теперь выпускаешь *брачную продукцию*?— спросили мы...» (запись живой речи на одном из совещаний, сентябрь 1964 г.).

Как на типичный и, к сожалению, очень распространенный случай неправильного словообразования можно указать формы повелительного наклонения *ехай*, *ехайте*.

В брошюре «О языке местной газеты» приводятся многие ошибки в употреблении слов на страницах газет[9]. В газете «Северная правда» (г. Кострома, 16 IX 1962) В. Шашков в статье «Поклонники словесного сора» критикует неправильности в употреблении глагольных форм.

Некоторые начинают склонять такие слова, как *пальто*, *поло* (спорт. *водное поло*). Например, 11 октября 1964 г. диктор московского телевидения в передаче о токийской олимпиаде говорил об участниках «соревнований по водному *полу*...» (!). Довольно частой ошибкой становится, с другой стороны, несклонение такого широко употребительного слова, как *товарищ* в выражениях типа: *Работают по методу т о в а р и щ Кузнецова*; *Слово предоставляется т о в а р и щ Ивановой*.

Частые нарушения встречаются в произношении и ударении (*доку́мент*, *кило́метр*, *шо́фер*, *ра́душно*, *средства́*, *непревзо́йденный*, *ма́стерски*, *на́долго*, *жестоко́*, *обеспече́ние*, *намере́ние*, *ка́учук* и т. п.; в произношении: *пионэр*, *тэ́рмин*, *музэ́й* и др.).

В опубликованных научных работах по культуре речи дается довольно полная группировка отклонений, отступлений от норм, встречающихся в современном речевом общении, поэтому здесь нет необходимости специально останавливаться на этом вопросе. Говорится и о при

---

[8] В. О р л о в, Соленый арбуз, гл. 40, «Юность», 1963, 11, стр. 45—46.

[9] «О языке местной газеты», Воронеж, 1964, стр. 21—23; примеры даются из газет Воронежской области.

чинах таких фактов, а также отмечается, «что в сложных и противоречивых условиях развития современного русского языка в нем закономерно возникают колебания, а также болезненные, отрицательные явления в приемах его употребления, в способах применения разных его стилистических средств, в практике словопроизводства и словоупотребления, в отношении к литературно-языковым нормам»[10].

В своей статье «Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания» В. В. Виноградов приходит к выводу, имея в виду русский язык — один из наиболее развитых языков современности, что «...в круг проблематики культуры языка входят или граничат с ним следующие задачи.

1. Изучение норм языка на всех уровнях языковой системы в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях; следовательно, явления нормализации должны исследоваться не только в историко-результативном, но и в динамическом аспекте.

2. Изучение стилей языка и стилей речи в их соотношениях и взаимодействиях. Для глубокого понимания стилей языка в их соотношениях должны быть определены структурные типы основных стилевых систем языка в орфоэпическом, грамматическом и лексико-фразеологическом аспектах, должны быть описаны и исследованы их связи и взаимопроникновения. Для описания движения и взаимодействия стилей речи должны быть охарактеризованы и сопоставлены разные типические или типологические композиционные формы речевых построений с определением стилистических границ употребления слов, выражений, конструкций и диапазона их колебаний.

3. Необходимо на основе всей полноты современной речевой жизни в ее соотношении с системой языка, с нормами ее структуры и ее модификаций определить доминирующие тенденции языкового развития, непрестанно проверяя их на вновь возникающих речевых явлениях.

4. Наука о культуре языка или культуре речи представляет собой теоретическую и практическую дисциплину (или сферу исследования), смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы, как с целью живого оперативного воздействия на дальнейшие процессы развития языка, так и с целью определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной литературы»[11].

Указанные здесь задачи могут относиться далеко не ко всем письменным языкам народов нашей страны, хотя бы потому, что большинство литературных языков малочисленных народностей не знает такой стилистической дифференциации языка и речи, какая характерна для русского языка и русской речи (например, развитие функциональных стилей, сильная дифференциация стилей народно-разговорного и общенационального литературного языка и др.). Следовательно, круг вопросов, входящих в «изучение стилей языка и стилей речи, в их соотношениях и взаимодействиях», применительно к таким языкам может быть выдвинут в весьма ограниченных масштабах. Применительно же к письменным языкам малочисленных народностей национальных округов трудно говорить о значительной стилистической дифференциации языка и речи. К примеру, научный стиль и его разновидности или варианты, широко представленные в русском, украинском и др., не получили столь многостороннего развития в таких младописьменных языках, как аварский, ингушский, чеченский и др.

[10] В. В. Виноградов, О культуре русской речи, «Р. яз. в шк.», 1961, 3, стр. 4.

[11] В. В. Виноградов, Проблемы культуры речи..., стр. 9.

Можно было бы остановиться и на других сторонах этой актуальной и сложной проблемы и привести дополнительные факты, показывающие неточность утверждения, что «основные проблемы культуры речи у всех народов, больших и малых, имеющих свой литературный язык, одинаковы»[12].

Здесь же необходимо подчеркнуть, что проблема культуры родного языка и языка межнационального общения связана с развитием двуязычия. Взаимодействие русского языка с местными языками, их диалектами и говорами, а также взаимодействие представленных в национальных районах говоров языка межнационального общения с национальными языками и их говорами сильно осложняют процессы развития культуры родного языка и родной речи, русского языка и русской речи у нерусского населения, а также у местного русского населения.

3

Процессы формирования младописьменных языков народов нашей страны были довольно сложными; этим процессам сопутствовали положительные и отрицательные факторы, как, например: 1) заимствование диалектных явлений, 2) иноязычное влияние, 3) увлечение отдельных деятелей национальной литературы и искусства, переводчиков, языковедов искусственным терминотворчеством, не отвечавшим социально-обусловленным законам развития литературного языка; 4) тенденции отклонения, отрыва развития литературного языка от живого народно-разговорного языка.

Влияние диалектов во многих случаях было благоприятным и способствовало обогащению литературных языков. Например, бурятский литературный язык заимствовал из диалектов слова, имеющие разные значения: *таалаха* «ласкать» и «целовать», *гэрэл* «свет» и «зеркало», *ухэр* «вол» и «корова» и т. д. Если для понятий, подлежащих выражению, в диалектах находили слова, отсутствующие в литературном языке, то их использовали. Таким путем в бурятский литературный язык вошли диалектные слова *хажаха* «оторачивать» и *байгаали* «природа»[13].

В то же время излишнее увлечение диалектизмами в известной степени затрудняло нормализацию лексико-семантической системы языка и в конечном итоге не могло не сказаться на культуре языка. Так, в диалектах бурятского языка встречаются широко употребительные слова, имеющие различные значения в разных диалектах: *хадуур* «серп» (в аларском, боханском), «серп» и «коса» (в нижнеудинском), *соол* «печь» (в боханском), «дом» (в тункинском), «печь» и «дом» (в аларском)[14]. Поскольку здесь речь идет не о синонимах и стилистических вариациях, включение таких слов в литературный язык во всей сумме их значений недопустимо. Естественно, что в общенародном литературном языке каждое из этих слов может использоваться только в одном, а именно, наиболее распространенном своем значении; такой подход связан с выработкой наддиалектных общенародных норм лексико-семантической системы языка.

Не менее сложными были процессы становления и нормализации наддиалектных фонематических и фонетических систем формирующегося

---

[12] См.: Х. Р. Курбатов, О культуре татарской речи, «Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР», Казань, 1964, стр. 35.

[13] А. Мординов, Г. Санжеев, Развитие младописьменных языков народов СССР, «Большевик», 1951, 7, стр. 44.

[14] Там же, стр. 45.

младописьменного языка. Преодоление диалектных особенностей в этой области было очень трудным.

Формирование орфоэпических норм является сложным и длительным процессом даже в старописьменных языках. Вообще трудно назвать язык, в котором эти нормы окончательно сложились; очевидно, абсолютная (полная и разовая) унификация орфоэпических норм литературного языка невозможна, поскольку язык находится в состоянии постоянного развития, видоизменения. Тем не менее основные наддиалектные орфоэпические нормы должны быть выработаны. Младописьменные языки находятся в этом отношении в особенно трудном положении.

4

Иноязычное влияние, особенно воздействие русского языка как языка межнационального общения, играет значительную роль в развитии младописьменных языков. Вместе с тем взаимодействуют и другие территориально соприкасающиеся языки (например, таджикский и узбекский, языки Дагестана и др.).

Постепенное накопление общего лексического фонда в литературных языках, стремление к унификации орфографических норм интернационализмов, советизмов и т. д., употребление общественно-политических, научных терминов в одном и том же значении (там, где это возможно и целесообразно) — все это способствует более быстрому овладению родным и русским языками, так же как и овладению культурой родного языка и родной речи, русского языка и русской речи.

Одинаковое написание в подавляющем большинстве литературных языков, например, таких слов, пришедших из русского языка (или через его посредство) в другие языки, как *коммунизм*, *социализм*, *совет*, *колхоз*, *совхоз*, *спутник*, *район*, в форме им. падежа ед. числа, употребление этих и многих других слов в одном и том же значении (хотя бы в пределах одного из значений, которые они могут иметь в различных языках), стремление следовать этому правилу при образовании новых повседневно появляющихся терминов (там, где это возможно и целесообразно) — все это несомненно играет положительную роль.

Развитию тенденции формирования общего терминологического фонда мешает иногда излишняя фонетизация при передаче средствами национального алфавита заимствований из русского и других языков, кое-где дающее о себе знать увлечение искусственным терминотворчеством, при котором создаются порой малопонятные широким народным массам термины. В этом плане нежелательны частые реформы орфографии и попытки пересмотра терминологии.

В Советском многонациональном государстве возрастает роль русского языка, ставшего языком межнационального общения. Из русского языка другие национальные языки народов СССР заимствуют большое количество слов и выражений, фразеологизмов; через него национальные литературные языки обогащаются интернациональной общественно-политической, научной и технической терминологией. На русском языке осуществляется обмен культурными ценностями различных народов внутри страны. При посредстве русского языка нации и народности СССР воспринимают величайшие достижения мировой культуры.

Взаимодействие культур и языков способствует их взаимному обогащению и совершенствованию. При этом русский язык, оказывая огромное влияние на языки народов СССР, и сам подвергается известному воздействию этих языков, в первую очередь в отношении словарного состава и фразеологии.

Широкое распространение русского языка в национальных республиках, повседневное использование русской речи людьми других национальностей является ныне обычным явлением. При этом русская речь жителей национальных республик и областей (в том числе и русских), как показывают наблюдения, имеет некоторые отличительные особенности.

Исследованию изменений, которым подвергается русский язык в иноязычной среде, важное место отводил Л. В. Щерба, отмечавший, что приобщающиеся к русскому языку представители братских народов и народностей «говорят и по-русски и тем неминуемо принимают то или другое участие в создании норм русского литературного языка и произношения»[15].

Исследуя особенности русского произношения в Грузии, Г. А. Махароблидзе отмечает, что «русская речь у живущих в Грузии (грузин и даже русских) заметно отличается от речи москвичей, ленинградцев и жителей других крупных городов России... Специфический грузинский акцент у говорящих по-русски грузин является естественным следствием воздействия фонетической системы родного языка на произносительные нормы русского. Подобные же „произносительные нормы", как и у коренных жителей республики, говорящих по-русски, отмечаются и у людей, приехавших из России и проживших некоторое время в Грузии»[16].

Овладение в совершенстве языком межнационального общения представляет собою важную жизненную потребность; в научном плане это вызывает необходимость внимательного изучения проблемы культуры русского языка и русской речи у нерусского населения нашей страны[17].

В соответствии с планом работы Научного Совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» в союзных республиках ведется подготовка к изданию научно-популярных трудов, главным образом практического характера — по культуре родной речи и культуре русской речи у нерусского населения союзных республик.

В процессе овладения культурой русского языка и русской речи местному нерусскому населению приходится иметь дело с трудностями, связанными с преодолением: 1) типологических, внутриструктурных особенностей родного языка; 2) специфических черт местных русских говоров; 3) местных наслоений в русской разговорной речи жителей данной республики (т. е. таких наслоений, которые возникают под влиянием национальных языков и местных русских говоров). Необходимо подчеркнуть важность осознания типологических и внутриструктурных особенностей родного языка не только исследователями, разрабатывающими данную проблему в местных условиях, но и теми, кто овладевает культурой русского языка[18].

Типологические различия в области морфологических систем родного языка и языка межнационального общения могут вызы-

[15] Л. В. Щерба, Избр. работы по русскому языку, М., 1957, стр. 111.

[16] Г. А. Махароблидзе, О некоторых особенностях русского произношения в Грузии, «Вопросы культуры речи», IV, М., 1963, стр. 38.

[17] См. об этом: Ю. Д. Дешериев, Русский язык — язык межнационального общения и сотрудничества народов СССР, «Р. яз. в нац. шк.», 1962, 1; В. П. Григорьев, М. И. Исаев, Г. А. Махароблидзе, Вопросы культуры русской речи у нерусского населения СССР, «Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения языков народов СССР», Казань, 1964.

[18] Г. А. Махароблидзе (указ. соч., стр. 38—39), например, отмечает, что «...приобщение проживающих в Грузии русских к речевой практике грузин, говорящих по-русски, в большинстве случаев можно объяснить невольным подражанием произношению окружающей среды, что затем переходит в привычку. Эта привычка (т. е. особые навыки русской речи) появляется даже у людей, не знающих грузинского языка».

вать весьма различные отклонения от норм русского языка. Так, русским именам существительным, употребляемым только во множественном числе (типа *брюки*, *очки*, *клещи*, *ножницы*, *щипцы* и т. д.), в азербайджанском языке соответствуют формы как ед., так и мн. числа. Под влиянием этих форм родного языка азербайджанец, овладевающий русским языком, может сказать: *он купил к л е щ* (ср. еще такие имена существительные, как *сливки*, *дрожжи*, *каникулы*, *похороны*).

Структурно-типологическими особенностями родного языка объясняется нарушение норм русской речи в употреблении падежей азербайджанцами, слабо владеющими русским языком: *мы не хотим война*, *два народ*, *много страны*. Такого рода отклонения связаны с тем, что русскому родительному количества после слов *много*, *мало* и количественных числительных в азербайджанском соответствует именительный падеж.

В овладении культурой русской речи особые трудности испытывают носители таких языков, в структуре которых нет морфологических категорий рода (например, тюркские, кавказские), лица, глагольного вида, сложных систем склонения, спряжения.

Синтаксис русского литературного языка оказывает положительное влияние на развитие с и н т а к с и ч е с к и х с и с т е м литературных языков народов СССР. Национальные языки обогатились новыми синтаксическими конструкциями, являющимися, с одной стороны, продуктом внутреннего развития каждого языка и, с другой,— результатом целесообразного использования процессов взаимодействия и взаимообогащения языков[19].

Как отмечал С. К. Казарян, «среди сдвигов, происшедших в армянском языке, заслуживают внимания фразеологические обороты и словосочетания, составленные по аналогии с русскими и выраженные... связью определяемого и определения, например, типа *Советская страна*, *социалистический строй*, *Советская родина*, *советский гражданин*, *коммунистическое общество*, *колхозная жизнь* и др.»[20].

В родственных азербайджанском и узбекском языках возникли новые однотипные синтаксические явления под влиянием русского языка. Ср. образование новых типов словосочетаний и предложений с именным управлением: азерб. *гана ган өлүмә өлүм* «кровь за кровь, смерть за смерть»; узб. *жаҳонга тинчлик* «миру мир», *энг яхши нарса болаларга* «все лучшее детям»[21].

Из синтаксических явлений, возникших в грузинском под воздействием русского языка, можно отметить следующие конструкции: *ра гIирс*? «что это?» (должно быть *рогор гIирс*), *макIлул икна* «был убит» (должно быть *мокIлес*, *моикIла*), *асе магалитад* «так, например» (*асе* «так» употребляется под влиянием русского языка)[22].

В ряде младописьменных тюркских языков широко распространены словосочетания, представляющие собой новообразования типа терминологических фразеологизмов, наименований советских, государственных

---

[19] Ср.: И. К. Б е л о д е д, Вопросы развития языка украинской советской художественной прозы. Автореф. докт. диссерт., Киев, 1951, стр. 29; е г о ж е, Русский язык — язык межнационального общения народов СССР, Киев, 1962, стр. 22—23; И. И. П а л ё н и с, [Выступления], сб. «Вопросы развития литературных языков народов СССР. Материалы всесоюзной конференции, Алма-Ата, 20—24 ноября 1962 г.», Алма-Ата, 1964, стр. 283.

[20] С. К. К а з а р я н, Роль русского языка в обогащении и развитии современного армянского языка, «Труды Объединенной научной сессии по общественным наукам», Баку, 1957, стр. 781—782.

[21] См.: сб. «Вопросы развития литературных языков народов СССР», стр. 162.

[22] Д. Ч а н т у р и ш в и л и, К вопросу о калькировании с русского на грузинский, «Труды Батумск. гос. пед. ин-та», 1956, стр. 99—100.

органов и т. д.: якут. *Советскай Союз Коммунистическай партията* «Коммунистическая партия Советского Союза», *РСФСР Верховнай Совета* «Верховный Совет РСФСР», *Советскай армия уонна Бамыаннай Морской флот* «Советская армия и Военно-Морской флот», *ученай секретарь* «ученый секретарь», алт. *коммунистический партия* «коммунистическая партия», *Ойротский автономный областьтын албатызы* «население Ойротской автономной области», *военный заёмнын облигациязы* «облигация военного займа», хакас. *класс чох коммунистическай общество* «бесклассовое коммунистическое общество», *Советскай комитет* «Советский комитет»; кумык. *общий тил* «общий язык», *общий билим* «общее образование», *коммунальный къуллукълар* «коммунальные услуги» (примеры взяты из соответствующих русско-национальных словарей).

Подобные факты выдвигают новые задачи в области развития языковой культуры, требуя должной оценки процессов взаимообогащения языков при выработке литературных норм последних с учетом овладения культурной родной и русской речи.

Для повышения культуры родного языка и русского языка у нерусских очень важно глубокое знание действующих в них закономерностей функционирования лексико-семантических систем. Трудно найти слово, лексико-семантическая характеристика которого была бы одинакова в двух даже близкородственных языках. Этим объясняются особые трудности полного овладения семантическими законами второго языка, в ряде случаев выполняющего функции родного языка.

Живой процесс интенсивного развития лексико-семантических систем литературных языков СССР в советскую эпоху вызывает необходимость постоянно следить за расширением богатств и выразительных средств родного и второго языков, умело применяя возникающие в них новые явления. Так в словах, заимствованных из русского языка, наблюдается:

сужение значений (например, из шести значений слова *печать* в кабардинском языке употребляется три значения: *печать хъурей* «круглая печать», *партийнэ печать* «партийная печать», *печатым лэжьакIуэхэр* «работники печати»[23]; в чувашском русское слово *чистый* встречается в одном значении «самый настоящий»: *чисти ухмах* «самый настоящий дурак»[24];

приобретение новых значений; например, в кабардино-черкесском языке *кIупIец* (<русск. *купец*) означает «купец» и «платок»; *пасажир* (<русск. *пассажир*) в народной речи «пассажир» и «автобус»; *коридор* (<русск.) «коридор», «крыльцо», «терраса», «веранда», «зонтик», «навес вдоль дома»[25];

переосмысление заимствованных слов: в кабардино-черкесском *матушкIэ* (<русск. *матушка*) «русская девушка, женщина»; *кIэстум* «пиджак», *куэзыр* (<русск. *козырь*) «карты игральные»[26]; в чувашском языке *отнаккă/утнаккă* (<русск. *однако*) приобрело совершенно новое лексическое значение: «сносно, удовлетворительно, легче»[27].

Исконные слова приобретают новые, дополнительные значения: казах. *псарыс* «состязание в скачках», новое дополнительное значение «со-

---

[23] М. Апажев, Вопросы влияния русского языка на кабардинский язык, Нальчик, 1963, стр. 57.

[24] А. Е. Горшков, Роль русского языка в развитии и обогащении чувашской лексики, Чебоксары, 1963, стр. 196, 197.

[25] М. Апажев, указ. соч., стр. 58; см. также: А. Е. Горшков, указ. соч., стр. 199, 200.

[26] М. Апажев, указ. соч., стр. 58.

[27] А. Е. Горшков, указ. соч., стр. 202.

ревнование»; у киргизского *аткар* «посадить на коня» развилось новое значение «выполнить план»[28] и т. д.

Разумеется, задачам повышения культуры речи не отвечает увлечение заимствованиями без нужды, стремление расширять значения исконных слов, нарушая при этом семантические законы, действующие в данном языке.

Особые трудности возникают при взаимодействии синонимов и синонимических рядов. Часто можно наблюдать неправильное применение даже таких широко употребительных слов, как *большой*, *великий*, *огромный*, *громадный*; *путь*, *дорога*, в речи довольно неплохо владеющих русским языком нерусских. Ср.: «Докладчик поставил *огромный вопрос*» (запись живой речи на научной конференции, май, 1965 г.); «Он прошел *великую* жизненную *дорогу*» (запись живой речи на научной сессии, декабрь, 1965 г.).

Привлекают к себе внимание и вопросы развития стилистических систем литературных языков. Стилистическая дифференциация подавляющего большинства младописьменных языков сильно уступает стилям, развившимся в таких старописьменных языках, как русский, украинский, армянский, грузинский и некот. др. Во многих младописьменных языках, где не развились функциональные стили, нет основания опасаться смещения элементов различных функциональных стилей. Зато в высокоразвитых старописьменных языках наблюдаются случаи смешения разных стилей, их элементов, что нарушает действующие живые нормы стилей языка и речи. Несомненно, при разработке вопросов культуры родной речи и русской речи у нерусских должны быть учтены общие признаки «публицистического стиля советской эпохи», которые проявляются в старописьменных и младописьменных языках (особенно в сфере применения новых лексических элементов, фразеологии, синтаксических конструкций, семантики и содержания, т. е. основных элементов, формирующих данный стиль).

К местным наслоениям в русской разговорной речи относятся областные слова и так называемые этнографизмы. Таковы, к примеру, слова, бытующие в русской речи в Восточной Сибири: *катанки* (валенки), *поскотина* (пастбище, огороженное место для подножного корма скота), *зеленка* (корм скоту), *белковать* (охотиться на белку), *позы* (кулинарное изделие) и т. д.[29]; в Азербайджане: *зембиль* (корзина), *казан* (медный котел для приготовления пищи), *палан* (подушка, надеваемая на спину при переноске клади), *шор* (соленый творог), *бардан* (мешковина) и т. д.[30]

К числу местных наслоений, встречающихся в русской разговорной речи соответствующих районов, могут относиться фонетические, синтаксические явления. Например, произнесение глухих смычных *п*, *к*, *т* с сильным напряжением (смычно-гортанные) или с придыханием в Грузии[31], Чечено-Ингушетии (в русской речи части местного русского и нерусского населения): *кhолхоз*, *тhовар*, *пhартhия* и т. д.; употребление

---

[28] Н. А. Баскаков, М. Б. Балакаев, П. А. Азимов, Б. М. Юнусалиев, М. Ш. Ширалиев, Ф. А. Абдуллаев, О современном состоянии и путях дальнейшего развития тюркских языков, сб. «Вопросы развития литературных языков народов СССР», Алма-Ата, 1964, стр. 165.

[29] О. А. Нечаева, Этнографическая лексика как источник обогащения русского литературного языка (рукопись).

[30] С. Д. Кац, Слова азербайджанского происхождения в говорах русских переселенцев, «Уч. зап. Азерб. пед. ин-та языков им. Ахундова», 3. Язык и литература, Баку, 1963, стр. 43—44.

[31] Г. А. Махароблидзе, указ. соч., стр. 44.

частицы *да* в конце фразы, предложения в Азербайджане: *Вы поедете в Москву, да? Вы идете в институт, да? Пойдем, да?*[32] и т. д.

Довольно своеобразный колорит вносит в русскую разговорную речь национальных районов переплетение элементов иноязычного влияния и особенностей местных говоров. Например, такое прямо-таки причудливое переплетение можно наблюдать в следующем предложении из речи русского населения Забайкалья, а также русской речи местного бурятского и эвенкийского населения: *лонись мы с худором ездили сундолой.* Не всякий, говорящий на русском литературном языке, поймет содержание этой фразы. Поясним ее компоненты: здесь *лонись* — русский диалектизм, *худор* «товарищ», *сундолой* «вдвоем верхом на одной лошади».

Речь городского русского населения также испытывает известное влияние местных языков[33], которое (проявляясь главным образом в области лексики, фонетики, синтаксиса, стилистики) тем сильнее, чем больше представителей местных народов работают совместно с русскими в городах, поселках, на заводах, фабриках, в совхозах, чем более смешанно они живут. Это влияние может усиливаться по мере увеличения количества русских людей, владеющих местными языками.

В Чечено-Ингушетии влиянием местных языков объясняются такие, например, синтаксические явления, как, например, постановка сказуемого в конце предложения в русской речи или особенно сильное произношение логически выделяемого слова с необычным для русского литературного языка экспираторным ударением: *Он вдру́г сказал* (в чеченском языке слово, употребляемое в значении «вдруг», выделяется не только логическим ударением, но и грамматически — удвоением одного из согласных основы: *цIеххьана* (<*цIехьана*) «вдруг»).

В области фонетики местные наслоения в речи русских, говорящих на русском литературном языке, проявляются не в изменении фонологической системы русского литературного языка (этого нигде не наблюдается в Чечено-Ингушетии), а в окраске как отдельных звуков, так и комплекса звуков. Например, произношение смычных глухих с придыханием под влиянием чеченцев, говорящих по-русски: *партия* (*пhартhия*), *пункт* (*пhунктh*), *политика* (*пhалитикhа*), *план* (*пhлан*), *список* (*спhисокh*); в сильной дифтонгизации некоторых ударных гласных: *колхоз* (*кhалхуоз*), *совхоз* (*савхуоз*), *комсомол* (*кhамсамуол*), *пленум* (*пhлиенум*), *сода* (*соу:да*) и т. д.

Более сложны и значительны трудности, связанные с повышением культуры русского языка и русской речи у носителей местных русских говоров, которые нередко бывают двуязычны. Двуязычие в такой среде возникает на базе местного говора русского языка и диалекта (или говора) местного литературного языка. В этих условиях возникают местные жаргоны, представляющие собою смесь местной русской и национальной разговорной речи. Когда носители местных русских говоров разговаривают между собой, они говорят как бы на «одном русском» (диалектном) языке, а с представителями местных народов — на «другом русском» языке.

По словам С. Д. Кац, основная масса русских, живущих в АзербССР в селах Славянка и Ново-Саратовка, двуязычна. «...в русском просторечии слова *дядя* и *тетя* означают собственно любого взрослого мужчину и любую взрослую женщину. Таким образом в семантическом плане азербайджанские слова [т. е. *ами*(дядя) и *хала* (тетя.— *Ю. Д.*)] и их русские эквиваленты (т. е. *дядя* и *тетя.— Ю. Д.*) совпали. Они различаются только

[32] Эти примеры приведены со слов акад. АН АзербССР М. Ш. Ширалиева.

[33] Некоторые особенности такого характера воздействия русской речи грузин на русскую речь местного русского населения описаны в указанной выше статье Г. А. Махароблидзе.

сферой употребления: азербайджанские слова употребляют только в обращении к азербайджанцам... или в разговорах о них: „Ну, пашол я к энтому кардашу, вон даёть саhласию...“»[34]. «Ня трош, ами, маво добра, и я тваво ня трону» (Ново-Саратовка). «Мы, хала, с тваим мужыком даhаварьваимси» (Славянка)[35].

Подобные факты наблюдаются на Северном Кавказе, в Средней Азии, в Сибири и т. д. Стихийное развитие разных типов двуязычия в таких условиях может привести к образованию самых разнообразных жаргонов, к искажению не только русского литературного языка, но и местных национальных литературных языков. Вот почему в условиях многонационального государства столь большое значение имеет борьба за повышение культуры русского и национальных литературных языков, культуры родной речи и русской речи у нерусского населения СССР.

*

В соблюдении норм русского литературного языка и местных литературных языков заинтересованы все народы СССР. Появление, например, «среднеазиатского», «кавказского», «прибалтийского» и других «местных вариантов» орфоэпических, лексических, синтаксических, семантических норм русского литературного языка затруднило бы взаимопонимание между жителями разных районов СССР, пользующимися языком межнационального общения, не говоря уже о других отрицательных последствиях дальнейшего развертывания рассматриваемых процессов.

Функциональные стили, стили художественной литературы относятся к специальным сферам употребления языка. Овладение мастерством, «техникой» и культурой этих стилей прежде всего важно и необходимо для специалистов, работающих в соответствующих областях науки, техники, культуры, искусства и литературы; для этой цели должны быть созданы специальные пособия по культуре языка и речи применительно к определенным стилям языка и стилям речи.

В решении задачи подъема речевой культуры народа большое теоретическое и практическое значение имеет создание словарей национальных языков. В последние годы появился ряд русско-национальных и национально-русских словарей, служащих важным средством распространения культуры речи. Усиление борьбы за культуру речи предполагает более активную деятельность лексикографов по созданию различных типов словарей, особенно синонимических, фразеологических, назрела необходимость в создании «словарей правильной речи» и так называемых частотных словарей.

Для решения одной из насущных задач языкознания — нормализации речи — необходимо обеспечить регулярное изучение всех форм социально-речевой действительности, постоянно осуществлять продуманную и хорошо организованную систему мероприятий по «службе языка» с использованием современного технического оборудования. Исследование вопросов структуры и функций устной речи ведется экспериментально-фонетическими лабораториями ряда научных учреждений и некоторых высших учебных заведений (например, при Институте русского языка АН СССР в Москве, в Институте языковедения им. А. Потебни АН УкрССР[36] и др.), но в целом исследования в этой области не получили еще достаточно широкого и основательного развития.

---

[34] С. Д. Кац, указ. соч., стр. 37.
[35] Там же.
[36] См. по этому вопросу: И. К. Белодед, Теоретические проблемы изучения украинской устной литературной речи, ИАН ОЛЯ, 1964, 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

Н. С. ПОСПЕЛОВ

О ДВУХ РЯДАХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. В современном русском языке, как известно, одни и те же глагольные формы в зависимости от контекста или ситуации речи могут иметь временные значения, не сводимые к единому семантическому комплексу и объединяемые только единством формы, выражающей эти значения. Таковы, например, значения нераскрытого и раскрытого настоящего, с одной стороны, и praesens historicum, с другой, в формах настоящего времени, значения перфектное и аористическое в формах прошедшего времени совершенного вида, значения имперфектное и аористическое в формах прошедшего несовершенного, значения ближайшего будущего и более или менее отдаленного прошлого в формах настоящего-будущего времени совершенного вида. Этот семантический разрыв между значениями одной и той же глагольной формы с гносеологической точки зрения обычно объясняется тем, что «временная форма глагола не имеет буквального и прямого предметного значения», что «объективирующий, или предметно полагающий акт есть здесь одно, а интерпретирующий акт — совсем другое»[1]. Однако такое объяснение никак еще не раскрывает внутренней закономерности семантического разъединения временных значений, выражаемых одной и той же глагольной формой.

2. В основу семасиологического разграничения грамматических значений в формах глагольного времени в их синтаксическом употреблении в качестве сказуемых следует положить глубокое, коренящееся в самой природе речи различие между двумя планами высказывания: 1) планом свободной речевой деятельности говорящего, не ограничиваемой никаким специальным заданием, т. е. планом коммуникации, и 2) планом информации, ограничиваемой своим назначением — сообщения о событиях в рассказе о прошлом, при регистрации происходящего в настоящем или программировании предстоящего, имеющего произойти в будущем[2].

Предлагаемое нами разграничение плана коммуникации и плана информации имеет некоторую аналогию с предложением Э. Бенвениста разграничивать в процессе высказывания план речи и план повествования, в зависимости от чего во французском глаголе им разграничиваются по сфере употребления времена говорения (discours) и времена повествования (récit)[3].

В русском языке этому разграничению форм соответствует разграничение двух рядов грамматических значений в формах глагольного времени.

[1] А. Ф. Лосев, О коммуникативном значении грамматических категорий, сб. «Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии», М., 1965, стр. 212.

[2] Ср.: Н. С. Поспелов, О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени в русском языке, сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965.

[3] См.: E. Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français, BSLP, LIV, 1, 1959.

Таким образом, если во французском и других романских языках мы имеем дело с морфологическим разграничением двух планов высказывания, то в русском языке отчетливо проводится только семасиологическое различие в значениях одних и тех же форм времени при употреблении их в плане коммуникации или в плане информации.

3. В речевом плане коммуникации опорой высказывания является не момент речи, а целостная ситуация настоящего как содержательного временного синтеза, в котором завершается прошлое субъекта речи и который обращен к его будущему. Уже у Бругмана точно сформулировано это свойство конкретного настоящего, которое, по его словам, для говорящего есть «не только время самого высказывания, но и часть того времени, которое, строго говоря, является будущим и прошедшим»[4].

Впрочем еще Августин в своем блестящем психологическом анализе категории времени указывал на соприсутствие в настоящем и прошлого и будущего. В знаменитой XI книге его «Исповеди» мы читаем: «Говорить, что существует три времени,— прошедшее, настоящее и будущее,— значит выражаться неточно. Точно же следует сказать: существует три времени — настоящее прошедших предметов, настоящее настоящих предметов и настоящее будущих предметов»[5].

В речевом плане информации о событиях настоящее представляет только точку пересечения при переходе их из неосуществившегося еще будущего в уже осуществившееся прошлое. Это и есть момент речи, по отношению к которому все события являются предшествующими, одновременными или последующими. Поэтому в ходе информации материал высказывания в полной мере отрешен от конкретной временнóй ситуации говорящего, и грамматическое значение глагольных форм времени устанавливается в зависимости от отношения материала высказывания к моменту речи и таким образом всегда оказывается относительным.

4. В семантической структуре выражения временных отношений, складывающейся на линии времени субъекта речи, противоборствуют две тенденции: центробежная тенденция поступательного движения в направлении от прошлого к будущему и центростремительная тенденция концентрации временных значений в направлении к оси настоящего. В результате скрещения этих двух разнонаправленных тенденций в конкретной временной ситуации настоящего диссимметрически разграничиваются не совпадающие по своему временному охвату раскрытое и нераскрытое настоящее. В тех более многочисленных случаях, когда в объем конкретного временного значения настоящего вовлекается и прошлое, непосредственно предшествующее настоящему, значение настоящего оказывается раскрытым. В тех же, более редких, случаях, когда в объем конкретного временного значения настоящего включается и ближайшее будущее, непосредственно следующее за настоящим, значение настоящего оказывается нераскрытым (ср., например, *Я слышу шаги* и *Я падаю, падаю*).

Раскрытое настоящее формируется в результате совокупного действия обеих тенденций — поступательного движения на линии прошлое — настоящее — будущее и центростремительной тенденции, втягивающей прошлое в сферу настоящего. Поэтому и объем прошлого, включаемый в значения раскрытого настоящего, оказывается значительно шире, чем объем будущего, включаемого в сферу настоящего в настоящем нераскрытом.

---

[4] K. Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, II, 2-e Bearb., Tl. 3, Lf. 2, Strassburg, 1916, стр. 733.

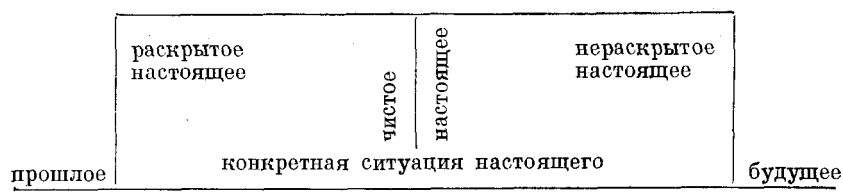
[5] Цит. по кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 262.

При этом следует иметь в виду, что самый переход из настоящего в будущее не является простым переходом к другому оттенку временного значения, но вследствие неосуществленности будущего всегда имеет тот или иной модальный характер, как на это правильно указывал Курилович, подчеркивая, что «по сравнению с настоящим и прошедшим, выражающими действительность, будущее, обозначающее возможное, вероятность, ожидание и т. п., представляет собою наклонение»[6]. И именно поэтому при включении будущего в семантический объем настоящего само настоящее «как факт, в настоящее время вполне сознаваемый и познаваемый говорящим»[7], остается нераскрытым, тогда как в случаях включения прошлого в семантический объем настоящего «самый факт относится к прошедшему времени, к настоящему он может относиться... лишь постольку, поскольку это настоящее для меня уже раскрыто»[8].

Временное значение нераскрытого настоящего в зависимости от ситуации речи получает различные оттенки. В одних случаях осуществляемое говорящим действие, начинаясь в настоящем, распространяется и на ближайшее будущее; в других — оно осуществляется в ближайшем или более отдаленном будущем, но включается говорящим в настоящее[9].

Во временном значении раскрытого настоящего можно было бы выделить следующие оттенки: «1) действие, начатое в прошлом и продолжающееся в настоящем, проецируется и в будущее время; 2) действие, начатое в прошлом, находит себе завершение в настоящем; 3) действие, происходившее в ближайшем прошлом, воспринимается говорящим как настоящее, не получая однако при этом значения настоящего повествовательного (praesens historicum)»[10].

Раскрытое и нераскрытое настоящее образуют на линии субъекта речи единую целостную семантическую структуру конкретной ситуации настоящего, через которую проходит временная линия субъекта речи в направлении от прошлого к будущему. В качестве «идеальной» границы между секторами раскрытого и нераскрытого настоящего следует постулировать пересекающую их линию «чистого» настоящего, отрешенного от соприсутствующих значений прошлого или будущего. Эта пересекающая временную зону конкретного настоящего линия чистого настоящего не реализуется в синтаксическом употреблении формы настоящего времени и не фиксирует момента речи, так как момент речи всегда устанавливается относительно, т. е. или по отношению к прошлому или по отношению к будущему, и тоже не находит адекватного выражения в формах настоящего времени. Зона конкретного настоящего может быть представлена следующей схемой:



[6] Е. Курилович, Вид и время в истории персидского языка, «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 143.

[7] А. В. Добиаш, Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка, Прага, 1897, стр. 143.

[8] Там же, стр. 99.

[9] Подбор и анализ соответствующих примеров дан в нашей работе «Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке», сб. «Исследования по грамматике русского литературного языка», М., 1955, стр. 215—217.

[10] См.: Н. С. Поспелов, указ. соч., стр. 217. Здесь же см. подбор и анализ примеров (стр. 217—221).

5. К временной зоне конкретного настоящего на линии времени субъекта речи, диссимметрически противопоставленного значению раскрытого настоящего, примыкает перфектное значение осуществившегося в прошлом действия, результат которого оказывается наличным в настоящем времени[11]. Это значение выражается в русском языке формами прошедшего совершенного и реже формами прошедшего несовершенного (например: *Я написал письмо*, *Он уже уехал*, *Я знал вашего отца*). С другой стороны, к конкретному настоящему, соотносительному со значением нераскрытого настоящего, на линии субъекта речи примыкает перфектное значение «действия, которое осуществится в будущем как результат настоящего»[12]. Это значение выражается в русском языке формами настоящего-будущего времени совершенного вида (например, *Я ему напишу*).

Перфектное значение представляет собою основное значение русского прошедшего времени совершенного вида, как оно складывается на линии субъекта речи и употребляется в целях коммуникации[13].

Самое основное в его семантике — движение прошлого к настоящему, его живая связь с настоящим субъекта речи, актуализированность его в настоящем как результат прошедшего действия. Эта семантическая особенность перфектного значения тонко вскрыта В. В. Виноградовым на одном простом конкретном примере: «Даже в таких предложениях, как „Пушкин родился в 1799 г." (не в ответе на вопрос: „Когда родился Пушкин?") результат прошедшего действия с грамматической точки зрения мыслится пребывающим доныне»[14]. Здесь особенно важно указать на то, что если это предложение будет ответом на вопрос о времени рождения Пушкина, перфектное значение в сказуемом *родился* исчезнет. Это произойдет потому, что в таком случае это предложение утратит свое значение акта непосредственной коммуникации и обратится в синтаксическое построение, возникающее по определенному заданию и имеющее характер простой хронологической справки.

Своеобразие семантической структуры перфектного значения в современном русском языке заключается в том, что оно является результатом двойного притяжения прошлого в сферу настоящего: 1) в общем ходе движения от прошлого к настоящему, осуществляемому в акте коммуникации на линии времени субъекта речи, и 2) специфического для перфектного значения вовлечения прошлого в орбиту настоящего в акте присвоения прошлого настоящему в качестве актуального результата прошедшего действия. Это особенно ярко отмечается в типических случаях выражения перфектного значения в формах прошедшего совершенного в диалогической речи. В таких случаях перфектное значение широко употребляется в контекстах со значением настоящего и легко транспонируется в соответствующие его семантике предложения с формой настоящего времени в сказуемом. Например: «[Трубников] Вот я пришел. (Снимает шапку, небрежно кладет ее вместе с портфелем на тумбочку; вынув из кармана носовой платок, вытирает лицо.) Снег идет» (К. Симонов, Чужая тень).

---

[11] Ср.: «Грамматика русского языка», I, М., 1953, стр. 91.

[12] Там же, стр. 486.

[13] См. об этом значении: В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 562—569; Н. С. Поспелов, О значении форм прошедшего времени на *-л* в русском литературном языке, «Уч. зап. [МГУ]», 128. Труды кафедры русск. языка, 1, 1948, стр. 118—125; Г. Ф. Лебедева, Употребление глагольных форм прошедшего времени совершенного вида в перфектном значении в современном русском литературном языке, сб. «Вопросы истории русского языка», М., 1959, стр. 208—226; А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология, II, Братислава, 1960, стр. 435—438.

[14] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 563.

Ср. также анализ Карцевским примеров из разговорной речи: «*Я взял книгу* = книга теперь у меня. *Голову разломило* = ломит сейчас»[15].

Характерно употребление форм перфектного значения в ответных и вступительных репликах коммуникативного плана речи. Например, в пьесах Чехова: «[Елена Андреевна] Где доктор? [Соня] Ушел» («Дядя Ваня»); «[Анна Петровна] Доктор, у вас есть отец и мать? [Львов] Отец умер, а мать есть» («Иванов»); «[Соня] Папа лег? [Елена Андреевна] Нет, сидит в гостиной» («Дядя Ваня»).

Ярким свидетельством прикрепленности перфектного значения форм прошедшего совершенного в русском языке к плану настоящего на линии субъекта речи является широкое их употребление с притяжательным оттенком в их перфектном значении. Вот несколько характерных примеров из пьес Горького: «[Акимов] Это я убил директора» («Враги»); «[Акулина Ивановна] Всего фунт купила я, отец» («Мещане»); «[Клещ] Ее Наташка в кухню увела к себе» («На дне»).

Для поэтической речи и художественной прозы характерно употребление перфектного значения прошедшего совершенного в описательных и повествовательных контекстах, вовлекаемых автором в коммуникативный контекст настоящего. Ср.:

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она. (Некрасов, Несжатая полоса).

«Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги» (Тургенев, Малиновая вода);

«Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17 нумере, не отвечает ни на какие вопросы, и бормочет необыкновенно скоро: — Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама..! (Пушкин, Пиковая дама).

Значение совершенного вида в формах прошедшего времени, несомненно, содействует выражению перфектного значения, но оно не является необходимым условием такого выражения. Перфектное значение может выражаться и формами прошедшего несовершенного. В. В. Виноградов приводит только единичные случаи приближения прошедшего совершенного с качественным оттенком значения к чисто перфектному значению. «Напр., у Достоевского в „Подростке“: „Ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться“. Ср. у Д. Лаврухина в „Невской повести“: „Он песни любил: „Вихри враждебные“... Да с красной позиции так и не воротился“»[16].

Как показывают наблюдения, сделанные в дипломной работе Э. Массола «Временное значение форм прошедшего времени на *-л* в русском литературном языке в сопоставлении с соответствующими им итальянскими формами (на материале пьесы А. П. Чехова «Три сестры» и итальянских ее переводов)», МГУ, 1964; машинопись, стр. 29 и сл.), перфектное значение прошедшего действия, воспринимаемого как наличное состояние говорящего, в диалогической речи в определенных случаях свойственно и прошедшему несовершенному. Обычно это значение выступает в предложениях с отрицанием. Например: «[Чебутыкин] А я в самом деле никогда ничего не делал»; «[Ирина] Я не любила ни разу в жизни»; «[Тузенбах] Я не работал ни разу в жизни». Во всех подобных случаях русское прошедшее несовершенное передается на итальянский язык формой passato prossimo.

[15] С. О. Карцевский, Повторительный курс русского языка, М.—Л., 1928, стр. 70.

[16] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 562.

В качестве убедительного примера выражения перфектного значения формой прошедшего времени несовершенного вида от глагола бытия при употреблении ее без отрицания в сказуемом утвердительного предложения можно привести четверостишие Жуковского:

О милых спутниках, которые сей свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Здесь глагол *быть* указывает на наличный результат осуществлявшегося в прошлом действия.

6. Прошлое на линии субъекта речи отражается в имперфектном значении форм прошедшего несовершенного в их изобразительной функции. В нем воспроизводится самое течение времени в прошлом без перехода в настоящее. В монологической речи имперфектное значение прошедшего несовершенного в изобразительной функции обнаруживается при воспроизведении прошлого в воспоминаниях. Вот несколько характерных примеров.

«[Ольга] И тогда так же били часы. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли» (Чехов, Три сестры); «[Анна] Не помню — когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала... Мучилась... Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь» (Горький, На дне).

В описательных контекстах стихотворной и прозаической речи изобразительный оттенок имперфектного значения прошедшего несовершенного дает широкую пространственную перспективу движения времени при отсутствии смены временного плана. Приведем ряд характерных примеров:

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора. (Пушкин, Евгений Онегин)

«Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем» (Чехов, Дом с мезонином); «В саду, вокруг берез, гудя летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи, за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце» (Горький, Детство); «Молодой журавль стоял на кочке; правое крыло его свисало до земли. На востоке медленно поднималась слабая осенняя заря. Тоскующим взглядом журавль осматривал незнакомые, неприютные места» (Бубеннов, Белая береза).

Во всех подобных случаях формы прошедшего несовершенного в имперфектном значении не сопровождают в качестве одновременных какие-либо формы прошедшего времени, передающие основные действия, не выступают в качестве временного фона других действий, а употребляются

совершенно самостоятельно, непосредственно изображая прошлое как цепь процессов. Имперфектное значение прошедшего несовершенного в его изобразительной функции имеет семантическое соответствие со значением настоящего раскрытого, отличаясь от него только прикрепленностью к плану прошлого.

7. Примыкающее к значению нераскрытого настоящего «перфектное» значение будущего времени более сложно по своей семантической структуре, чем перфектное значение прошедшего времени. В нем противоборствуют две противоположные тенденции: 1) движение по линии субъекта речи от настоящего времени к еще не осуществившемуся будущему и 2) ретроспективное тяготение к настоящему не только как исходному моменту действия, но и как сдерживающей его опоре. Таким образом «перфектное» значение будущего времени объединяет настоящее и будущее в едином плане настоящего-будущего. При выражении этого значения «действие как бы исходит из настоящего времени, простираясь в будущее в завершительных моментах процесса, в его результате, между тем как начало действия может относиться и к настоящему времени»[17]. Поэтому, как отметил С. О. Карцевский, и предложение *Она сейчас оденется к обеду* может означать, что это лицо окончит свой туалет, начатый раньше [18].

В отличие от значения нераскрытого настоящего в формах настоящего времени несовершенного вида, отражающего реальный переход действия из настоящего в уже осуществляющееся будущее,— в «перфектном» значении форм настоящего-будущего времени совершенного вида реализация действия в его наличном отношении к субъекту речи только проектируется в будущем. Это различие временных значений нераскрытого настоящего и «перфектного» значения форм настоящего-будущего времени особенно отчетливо выявляется в тех случаях, когда выражение обоих этих значений имеет место в пределах одной реплики, например: «[Актер] Иду... я догоню!» (Горький, На дне). Интенция в будущее в перфектном значении данной формы в ее синтаксическом употреблении может простираться не только в ближайшее будущее, но и на более отдаленное действие без определенной фиксации во времени, например: «[Василиса] Устрою я тебе свадебку» (Горький, На дне).

«Перфектное» значение форм настоящего-будущего времени легко приобретает различные модальные оттенки значения, иногда совершенно утрачивая при этом значение будущего времени, которое поглощается модальными значениями необходимости, долженствования, невозможности, потенциальности и т. п.[19]

Что касается описательной формы будущего несовершенного, то по своему временному значению на линии субъекта речи она близка к форме настоящего времени с нераскрытым временным значением. Но если в нераскрытом настоящем значение настоящего проецируется в ближайшее будущее, то в данной форме мы просто относим действие к будущему, без прикрепления к определенному его моменту (ср.: *Я буду вставать* и *Я встаю* и т. п.). Таким образом, по сравнению с настоящим в его нераскрытом значении данная форма указывает на более отдаленную ступень во времени осуществления будущего действия[20].

---

[17] В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 574.

[18] S. Karcevski, Système du verbe russe, Prague, 1927, стр. 153. Ср.: А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 444.

[19] См.: В. М. Никитевич, Некоторые модальные функции глаголов изъявительного наклонения в современном русском языке, сб. «Вопросы изучения русского языка», Алма-Ата, 1955; А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 455—458.

[20] Ср.: Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени..., стр. 242 и сл.

Вот некоторые примеры такого значения: «Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли» (Лермонтов, Княжна Мери); «Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять — тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый!» (Чехов, Три сестры); «По этим улицам будут ходить новые автобусы обтекаемой формы» (В. Панова, Ясный берег).

Линия времени субъекта речи в своем направлении от прошлого к будущему может быть представлена в следующей схеме:

Имперфектное значение прошедшего несовершенного в изобразительной функции) ⟶	Перфектное значение прошедшего времени ⟶	Временная зона настоящего времени (раскрытое и нераскрытое настоящее) ⟶	«Перфектное» значение будущего времени совершенного вида ⟶	Значение будущего времени несовершенного вида

8. На временной линии событий, уходящей в прошлое, грамматические значения реализуются в отрыве от конкретной ситуации настоящего субъекта речи, отражая в ходе информации о событиях их временную последовательность и одновременность. Таково прежде всего аористическое значение форм прошедшего совершенного и несовершенного в их повествовательной функции (например: *Вчера он приходил ко мне и рассказал об этом*). Такие формы, как правильно указывает А. В. Исаченко[21], «обозначают не процессы (в узком смысле этого термина), а события. Они отвечают не на вопрос: „Что было (тогда)?“, а на вопрос: „Что случилось?“»[22]. Однако эта семантическая черта вовсе не непременно связана с общим видовым значением формы совершенного вида типа *он бросил*, как указывает далее А. В. Исаченко. Она определяется тем планом высказывания, которому свойственно употребление форм прошедшего совершенного (реже и несовершенного) вида в аористическом значении. Как далее указывает А. В. Исаченко, в этой форме в данном ее значении (в отличие от ее перфектного значения) «выражается разобщенность действия в прошлом с моментом речи»[23]. К этому следует добавить, что не столько разобщенность с моментом речи, сколько полная отрешенность от речевой зоны настоящего характерна для аористического значения в противоположность перфектному значению форм прошедшего времени. Эти два значения диссимметрически разнонаправлены и в этом смысле противоположны: действие, передаваемое формой прошедшего времени аористического значения, оторванного от живой связи с временной линией субъекта речи, уходит в прошлое все более и более отдаленное, тогда как действие, передаваемое формой перфектного значения, тяготеет к настоящему и результируется в нем. Ср.: *Я пришел и увидел ужасную картину* и *Вот я пришел к Вам.* Различие между этими двумя значениями можно было бы передать следующей схемой:

прошлое аористическое значение ⟵ *пришел*
перфектное значение *пришел* ⟶ настоящее

Аористическое значение, естественно, получает первое место в ряду форм с значением tunc, как это и указывается в схеме временного соотношения глагольных форм времени, представленной Е. Куриловичем[24].

[21] А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 434.
[22] Там же.
[23] Там же.
[24] Е. Курилович, указ. соч., стр. 145.

но как «прошедшее определенное» его можно было бы противополагать в ряду nunc не только «общему» настоящему, но и «прошедшему неопределенному», т. е. в нашем случае перфектному значению русского прошедшего времени. Аористическое значение форм прошедшего совершенного, а иногда и не совершенного вида часто используется при передаче сменяющих друг друга в прошлом действий. Однако временная последовательность происходивших в прошлом событий, передаваемая формами прошедшего времени с аористическим значением, не имеет направленности к настоящему, как это имеет место с формами перфектного значения. Смена событий происходит в прошлом вне какого-либо отношения к настоящему субъекта речи. События, передаваемые формами аористического значения, резко отделены от настоящего соотношением с моментом речи, которому все они предшествуют. Вот несколько примеров: «Старики проснулись и вышли в гостиную» (Пушкин, Метель); «Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны» (Л. Толстой, Война и мир); «В этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо Варе» (Чехов, Скучная история); «Я вошел в комнату, взглянул на деда и едва удержался от смеха» (Горький, В людях); «Немец покачнулся, опустился на колени и упал лицом вниз» (Первенцев, Честь смолоду); «Девушка положила руки на стол и опустила на них голову» (Симонов, Дни и ночи); «Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно» (Фадеев, Молодая гвардия).

Во всех подобных случаях формы прошедшего времени обозначают отдельные факты прошлого, сменяющие друг друга и совершенно отрешенные от временной зоны настоящего субъекта речи, т. е. имеют аористическое значение.

9. Не менее отрешенным от временной зоны настоящего субъекта речи оказывается и имперфектное значение прошедшего несовершенного с качественно-описательным оттенком, когда прошедшее несовершенное является только средством описания, а не воспроизводит прошлое в его течении[25]: «Широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа» (Лермонтов, Бэла); «Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом... Пел он веселую, плясовую песню...» (Тургенев, Певцы); «Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу» (Чехов, На подводе); «Каждый день утром и вечером директор обходил цех, задерживался на участках, беседовал с рабочими» (Попов, Сталь и шлак); «Некоторые из девушек писали последние записки и запрятывали их в брошенное белье» (Фадеев, Молодая гвардия).

В плане информации о событиях, только что имевших место, иногда в разговорной речи наблюдается ярко экспрессивное выражение аористического значения в глаголах прошедшего времени совершенного вида: «[София] Ах! боже мой! упал, убился!» (Грибоедов, Горе от ума); «Выиграла! сказал Германн, показывая свою карту» (Пушкин, Пиковая дама); «Братцы, Дымов змея убил! Ей богу!» (Чехов, Степь); «[Голоса в зале] Лопахин приехал! Ермолай Алексеич» (Чехов, Вишневый сад).

Несмотря на то, что в подобных случаях прошедшее время непосредственно предшествует настоящему говорящего, оно воспринимается нами на временной линии событий, а не на линии субъекта речи. Оно уходит в прошлое, не результируется в настоящем, как это имеет место в приведенных

---

[25] См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 561; Н. С. Поспелов, О значении форм прошедшего времени на *-л* в русском литературном языке, стр. 111—113.

выше примерах с перфектным значением прошедшего времени. Ср.: «[Акимов] Это я убил директора» (Горький, Враги); «[Наташа] Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке (Смеется) Какие странные эти мужчины... (Звонок). Кто-то там пришел» (Чехов, Три сестры).

Аористическое значение действия, непосредственно предшествующего настоящему, в случаях переключения речи из плана информации о событиях в план коммуникации — на линию субъекта речи, уступает место перфектному значению. Вот характерный в этом отношении пример — начало чеховского рассказа «Мальчики»: «Володя приехал! — крикнул кто-то на дворе.— Володичка приехали! — завопила Наталья, вбегая в столовую.— Ах, боже мой!»

В этом примере первое предложение со сказуемым *приехал* имеет аористическое значение простого, хотя и экспрессивного указания на факт приезда Володи. Во втором же предложении с глаголом *приехали* этот глагол приобретает перфектное значение с указанием на результат этого сообщения для самого говорящего. На временной линии событий, уходящих в прошлое, находит выражение и плюсквамперфектное значение прошедшего совершенного, когда форма прошедшего времени совершенного вида обозначает наличный в прошлом результат по отношению к другому, прошедшему действию: как отмечено было еще Размусеном, в плюсквамперфектном значении русского прошедшего совершенного всегда есть «легкий причинный оттенок»[26], например: *Птица упала на землю*; *охотник прострелил* (*hatte durchschossen*) *правое крыло*.

10. Полностью отрешенным от конкретной временной ситуации настоящего субъекта речи является так называемое «настоящее историческое» (praesens historicum) в его повествовательной или описательной функции, передающее последовательность или одновременность событий, отнесенных говорящим в прошлое (ср., например: «Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку» и «Варька стоит, глядит на нее [хозяйку] и ждет, когда она кончит». Чехов, Спать хочется)[27].

Формы настоящего исторического в повествовательной функции передают смену процессов в прошлом, причем каждый раз действие рассматривается как одновременное тому или другому из сменяющихся моментов прошлого[28].

Установить значение настоящего повествовательного в рамках одного предложения возможно только в тексте, в котором раскрывается ситуация прошлого. Например: «Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом» (Чехов, Тоска). Во всех подобных случаях формы настоящего исторического передают временную последовательность в прошлом более или менее длительных действий в отрыве их от связи с настоящим и будущим субъекта речи. Формы настоящего исторического в описательной функции передают соотношение одновременности между действиями в прошлом, устанавливаемое контекстом речи или ситуацией. Например:

---

[26] Л. П. Размусен, О глагольных временах, ЖМНП, 1891, ноябрь, стр. 185, 187.

[27] См.: П. С. Кузнецов, К вопросу о praesens historicum в русском литературном языке, «Докл. и сообщ. филол. фак-та [МГУ]», 8, 1949; Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке; H. Křížková, K problematice praesentu historického v ruštine a v češtině, «Sovětská jazykověda», V, 4, Praha, 1955; А. В. Бондарко, Настоящее историческое глаголов несовершенного и совершенного видов в славянских языках. Автореф. канд. диссерт., Л., 1958.

[28] См.: Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глагола в современном русском языке, стр. 225 и сл.

«Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало» (Чехов, Шуточка).

Формы настоящего исторического в повествовательной функции соотносительны с формами прошедшего совершенного в аористическом значении, с которыми они и объединяются в передаче событий прошлого, например: «В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву, и подает ему лист бумаги» (Пушкин, Капитанская дочка).

Формы настоящего исторического в описательной функции соотносительны с формами прошедшего несовершенного с качественно-описательным оттенком имперфектного их значения и объединяются с ними в рамках единого описательного контекста речи. Например: «Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал: спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака» (Чехов, Человек в футляре).

На той же временной линии событий, пересекая временную зону настоящего субъекта речи только в самый момент речи, реализуется и значение «настоящего репортажа»[29], посредством которого передающий информацию о действиях, последовательно сменяющих друг друга, устанавливает одновременность их с моментом речи. Формы настоящего времени с таким значением (например, при передаче репортажа о спортивных состязаниях: *Он отбирает мяч и забивает гол*) дают информацию о событиях, воспринимаемых говорящим в настоящем момента речи и уходящих в прошлое, переходя таким образом на позицию «настоящего исторического».

Разновидностью настоящего репортажа является настоящее время в театральных ремарках. Давая информацию о том, что́ происходит на сцене с действующими лицами или обстановкой сцены, ремарки формой настоящего времени показывают, что из происходящего на сцене оказывается одновременным с репликами персонажей или непосредственно следует за ними. Например: «[Вершинин] Тра-та-та (Смеется) (Входит Федотик) [Федотик] (танцует) Погорел, погорел! Весь дочиста! (Смех)» (Чехов, Три сестры); «[Яша] Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает. (Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев, она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить)» (Чехов, Вишневый сад).

11. Наконец, самую крайнюю, конечную позицию на ретроспективной временной линии событий занимает относительное значение предшествования, которое выражается формами настоящего-будущего времени совершенного вида, когда они обозначают действия, сменяющие друг друга или повторяющиеся в более или менее отдаленном прошлом (например: *Он придет ко мне, начнет что-то рассказывать и заснет*; *она то вскочит, то опять сядет на свое место*). Еще Потебня обращал внимание на то, что «посредством будущего совершенного» могут обозначаться в языке действия «предшествующие по времени»[30]. Потебня приводил из русского и украинского

---

[29] О настоящем репортажа см.: А. В. Исаченко, указ. соч., стр. 461; Н. С. Поспелов, О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени, стр. 222.

[30] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, IV, М.—Л., 1941, стр. 110; ср.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 576—580; Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени глаголов современном русском языке, стр. 236—242.

фольклора примеры обозначения объективно прошедших событий будущим совершенным [31]. С удивительной прозорливостью Потебня отмечал, что в таких примерах, как *Скричат калики зычным голосом*, *Дрогнет матушка сыра-земля*, *С дерев вершины попадали*, обозначенные в них действия разделяются на предшествующие по времени и последующие. «Первые необходимо (подчеркнуто мною.— *Н. П.*) обозначаются посредством будущего совершенного» [32]. В этих замечаниях Потебни можно усмотреть не только указание на относительное употребление глагольных форм времени, но и четкую формулировку выражения временных отношений на линии относительного, т. е. ретроспективного употребления форм времени, как отношений предшествования и последования. И то, что в значении форм времени Потебня подметил на примерах из фольклора, оказывается основным критерием для разграничения временных значений форм глагольного времени на ретроспективной линии событий и в русском литературном языке [33].

Значение предшествования с отнесением глагольных действий в более или менее отдаленное прошлое является основным признаком относительного употребления форм будущего времени совершенного вида. Если на линии субъекта речи формы будущего совершенного обозначают факты объективно будущего или непосредственно предстоящего действия, то на временной линии событий формы будущего совершенного не могут выражать объективно будущего. И отрешенные от временных значений настоящего и будущего времени, данные формы чаще всего выражают отдельные действия, сменяющие друг друга в прошлом [34]. Вот несколько характерных примеров.

Зимой бывало в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной (Пушкин, Братья разбойники);

«Илья Иванович подойдет к окну, взглянет туда и скажет с некоторым удивлением: „Еще пять часов только, а уж как темно на дворе“» (Гончаров, Обломов); «Стал он и поворовывать; отец жалованье получит — первым делом в кабак, целовальника с наступающим первым числом поздравить. Воротится домой пьянее вина, повалится на лавку, да так и дрыхнет; а Порфирка между тем подкрадется, все карманы обшарит, да в чулан, в тряпочку и схоронит» (Салтыков-Щедрин, Губернские очерки, Порфирий Петрович).

Ретроспективная временная линия событий в своем направлении от настоящего момента речи может быть представлена в следующей схеме:

Значение предшествования в формах будущего совершенного	Аорист. значение форм прош. вр. при обозначении смены событий в прошлом. Имперф значение форм прош. несов. (в описательной функции) ←	Настоящее историческое (в повествовательной и описательной функциях) ←	Настоящее репортажа (настоящее момента речи) ←

[31] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 108—116.
[32] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 110.
[33] Ср. в «Цыганах» Пушкина:

Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.

[34] Ср.: Н. С. Поспелов, Прямое и относительное употребление форм настоящего и будущего времени..., стр. 238.

12. Между двумя рядами грамматических значений времени: 1) строящимися на базе конкретной ситуации настоящего на линии субъекта речи и 2) реализующимися в полном отрыве от конкретной ситуации настоящего субъекта речи — при передаче информации о событиях, сменяющих друг друга или одновременных моменту речи или какому-либо другому моменту, принятому за точку отсчета,— имеет место своеобразный противоток временных направлений — диссимметрическая их противопоставленность[35]. Одни из них реализуются на линии субъекта речи (в направлении от прошлого к будущему), другие возникают на ретроспективной линии событий, идущей в обратном, «левом» направлении (от настоящего момента речи к более или менее отдаленному прошлому). Идею о двух направлениях времени использовал в лингвистике Э. Кошмидер, положив ее в основу своей оригинальной теории разграничения видов совершенного и несовершенного. Кошмидер интерпретировал виды как два различных «способа понимания относительного движения во времени»: «направительную отнесенность из будущего в прошлое, характеризующую вид совершенный, и направительную отнесенность из прошлого в будущее, характеризующую вид несовершенный»[36]. Нам представляется более целесообразным применить идею двоякой направительной отнесенности во времени к анализу самой грамматической категории времени методом выявления диссимметрического соотношения между двумя рядами грамматических значений, локализованных на двух противонаправленных линиях времени, соответствующих разным планам высказывания. В конкретной речевой деятельности оба эти плана высказывания — коммуникация и информация — перемежаются и дополняют друг друга. В прямой речи, в репликах персонажей употребляются преимущественно формы времени в грамматических значениях, строящихся на линии времени субъекта речи. В повествовательной речи, наоборот, преимущественно употребляются формы времени с грамматическими значениями, реализующимися на линии событий.

Представленные в настоящем очерке соображения о диссимметрической противонаправленности двух рядов грамматических значений, выражаемых в формах глагольного времени в их синтаксическом употреблении, дают основание поставить вопрос о применении метода диссимметрического анализа и других грамматических значений, входящих в сферы выражения предикативности, а именно грамматических значений лица и модальности. С другой стороны, метод диссимметрического анализа дает возможность углубить мысль об «ассимметрическом дуализме лингвистического знака» (Карцевский) и внести конкретное языковое содержание в метод дихотомической оппозиции в применении к анализу грамматических значений (Якобсон, Исаченко). Наконец, применение метода диссимметрического анализа грамматических значений в области синтаксиса должно содействовать конструктивной теоретической разработке «активного» синтаксиса (Щерба).

---

[35] Понятие диссимметрии употребляется здесь в том смысле, как оно было намечено Л. Пастером в его химических наблюдениях, обобщено П. Кюри в качестве основного постулата физики и углублено акад. В. И. Вернадским как понятие правизны — левизны в его биогеохимических исследованиях. См.: В. И. Вернадский, *Проблемы биогеохимии*, II, М.—Л., 1939, стр. 12—14; IV, М.—Л., 1940.

[36] См.: E. Koschmieder, Zeitbezug und Sprache, Leipzig — Berlin, 1929, стр. 35; Э. Кошмидер, Очерк науки о видах польского глагола, сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 129—138; ср.: H. Chr. Sørensen, Aspect et temps en slave, Aarhus, 1949, стр. 112—117.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Ю. РОЗЕНЦВЕЙГ

ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Для чего нужно языкознание? Лет сто назад И. А. Бодуэн де Куртенэ говорил: «... языковедение вообще мало применимо к жизни: с этой точки зрения в сравнении, например, с физикой, химией, механикой и т. п. оно является полнейшим ничтожеством». Из этого вовсе не следовал вывод о бесполезности науки о языке: «... для человека, не возвысившегося над уровнем умственного развития животного, не нужна ни одна наука; признавать же бесполезным исследование известного рода явлений значит обладать умом необъективным и лишенным чутья действительности»[1]. По-видимому, бодуэновское отношение к науке свойственно и лингвистам нашего времени. Оно стимулирует научный поиск и открытия, практическое применение которых в дальнейшем оказывается возможным и ценным.

Однако говорить о малопрактичности языкознания, очевидно, уже не приходится — к классическим областям его приложения, связанным главным образом с преподаванием языков, добавились новые, вызванные потребностями современного общества — от передачи речи по каналам связи до автоматического перевода, информационного поиска и реферирования. Возникает новое направление лингвистических исследований — прикладная лингвистика[2]. Столь существенный для современной науки вопрос о соотношении теоретических исследований, с одной стороны, и прикладных работ, с другой, становится актуальным и для лингвистики, в том числе советской.

1

На первый взгляд этот вопрос может быть решен следующим «размежеванием»: важнейшие, «вечные» проблемы — язык и общество, язык и мышление, язык и история — разработка которых определяет якобы гуманитарную сущность лингвистики, остаются атрибутами «большой лингвистики», теоретического языкознания. Дела практические — преподавание языков, машинный перевод, информационные языки и другие виды автоматической обработки текстов — передаются в ведение специалистов по прикладной лингвистике. Первая, выдвигая одну теорию за другой, развивает языкознание и весь «гуманитарный сектор». Что касается второй, то «надо всячески поддерживать и развивать любые новые методы и приемы описательной и прикладной лингвистики, если они оправдывают себя

---

[1] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды по общему языкознанию, 1, М., 1963, стр. 50.

[2] В октябре 1964 г. в Нанси (Франция) состоялся первый международный коллоквиум по прикладной лингвистике, в ходе которого была создана Международная ассоциация по прикладной лингвистике. В США и Франции существуют аналогичные национальные ассоциации, созданные еще раньше.

на практике» . «Но нельзя думать,— говорит В. И. Абаев,— что с появлением каждого такого нового приема надо заново перестраивать теоретические основы языкознания»[3]. Разлад должного и сущего, мысли и дела возводится в программу гуманистического языкознания!

Строго говоря, прикладной лингвистики нет и быть еще не может. Смысл термина «прикладная лингвистика», как явствует из его структуры, указывает, что результаты, достигнутые в теоретической лингвистике, прилагаются к практике аналогично тому, как используются в современной технике достижения математики, физики или химии. Следует, однако, признать, что ни одна из существенно важных потребностей нашего общества, связанных с использованием языка, не может быть полностью удовлетворена современной лингвистикой — ни «традиционной», ни структуральной. Никакая научная теория, разумеется, непосредственно не приложима к практике: рядом с математиком, с физиком или химиком-теоретиком, нужен математик, физик, химик-инженер, открывающий пути практического применения достижений своей науки. Ясно, что при этом ведется теоретический поиск, обогащается наука. Не то в лингвистике: любое ее приложение требует переформулировки и решения вопросов, относимых к «большой» лингвистике.

Даже современные потребности в области такой, казалось бы, классической отрасли приложения лингвистики, как методика преподавания языка, родного и неродного, не могут быть полностью удовлетворены современной теорией языка. Существующая у нас методика преподавания иностранных языков создавалась применительно к школе и была направлена к усвоению языка главным образом путем изучения письменных текстов. В послевоенные годы, в связи с усилением международных контактов, школьные программы были перестроены — требуется владение устной речью. Этому должно содействовать использование современных средств записи и передачи устной речи, так называемые аудиовизуальные средства. Вместе с тем возросла потребность в обучении иностранным языкам взрослых.

Эти изменения не вызваны конъюнктурой (нечто подобное имеет место и в зарубежных странах). Не удивительно, что они нашли свое отражение в лингвистике. Можно указать на работы, ведущиеся в США под руководством Ч. Фриза и направленные к такому структурному описанию английского языка (главным образом синтаксиса), а также и других языков, которое могло бы служить основой для развития автоматизма устной речи[4]. Можно упомянуть предпринятое во Франции с 1951 г. широкое статистическое обследование устной речи и разработанный на основе собранных записей устной речи так называемый «элементарный французский» — перечень минимума слов и грамматических форм, составляющих как бы

---

[3] В. И. Абаев, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 1965, 3, стр. 33.

Эта оговорка весьма показательна — от прикладной лингвистики требуют практических результатов. В том же духе высказывается и Ф. П. Филин: «В этом важном направлении, которое нужно развивать, особое внимание следует уделять достижению практических результатов и их последующему внедрению в дело автоматизации процессов, связанных с речевой деятельностью» («Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания», ВЯ, 1965, 2, стр. 28). К теоретическому языкознанию критерий практической пригодности считается, видимо, принципиально неприменимым.

[4] См.: Ch. Fries, Teaching and learning English as a foreign language, Ann Arbor, 1947. См. также его доклад на VIII Международном съезде лингвистов (Осло, 1957): «Preparation of teaching materials, practical grammars and dictionaries, especially for foreign languages», в кн. «Reports for the VIII. International congress of linguists», Oslo, 1957, 1.

ядро современного французского языка в его устной форме[5]. В Англии сближение лингвистики и методики преподавания языков связано с деятельностью Дж. Р. Фёрса и его учеников, направленной на выявление регулярных ситуаций, обусловливающих отбор говорящим определенного словаря и грамматических форм[6].

Общая черта названных работ — интерес к устной форме речи и четко осознанная педагогическая направленность, с которой связано стремление к сопоставительному описанию неродного и родного языков. Для практики преподавания языков желательно иметь описания, указывающие правила перехода от одной системы к другой не непосредственно, а через посредство общей им надсистемы семантических признаков, выраженных лексически или морфологически, с тем, чтобы в ходе обучения учесть и нейтрализовать естественное стремление учащихся принимать систему родного языка в качестве эталона сопоставления с изучаемым языком, чтобы прививать им умение переходить от родного языка к неродному так, как это делает человек, владеющий данными двумя языками[7]. Такого рода сопоставления значимых единиц в принципе не отличаются от традиционного для школьной грамматики сопоставления звуков двух языков по выделенным в них отличительным признакам. Именно в этом направлении и ведутся исследования как в США, так и в Англии.

Из сказанного видно, что научные вопросы преподавания языков «удостоены» внимания лингвистики. Не отстает ли в этом отношении наша «большая лингвистика»? Жива ли традиция Щербы, для которого методика преподавания языков была прикладной лингвистикой, тесно связанной с теорией языка? Факты не утешительны: работы по этой проблематике не печатаются ни в «Вопросах языкознания», ни в «структурных» сборниках; на научных конференциях академических институтов относящиеся сюда вопросы не рассматриваются. Не обсуждаются и соответствующие зарубежные работы.

Если сказанное об отношении прикладных и теоретических работ верно в области преподавания языков, то еще в большей мере оно действительно для работ по автоматической обработке текстов. «Машинный перевод,— пишет В. И. Абаев,— также (как стенография.— *В. Р.*) требует особого подхода к анализу речи с точки зрения частотности, дистрибуции и пр., чтобы ее удобнее было „закладывать“ в электронную машину. Но нет никакой необходимости перестраивать все языкознание применительно к нуждам машинного перевода, как не было такой необходимости применительно к нуждам стенографии»[8].

---

[5] См.: G. Gougenheim, R. Michéa, P. Rivenc, A. Sauvageot, L'élaboration du français élémentaire, Paris, 1956; G. Gougenheim, Dictionnaire fondamental, Paris, 1958. «Элементарный французский» (в разработке которого принимали участие Э. Бенвенист) вызвал ряд принципиальных возражений, см.: M. Cohen et al., Français élémentaire? Non., Paris, 1955.

[6] См.: M. A. Halliday, A. Mc Intosh, P. Strevens, The linguistic sciences and language teaching, London, 1964; P. D. Strevens, Papers in language and language teaching, London, 1965.

[7] См.: В. В. Иванов, Лингвистика как теория отношений между языковыми системами и ее современные практические приложения, сб. «Лингвистические исследования по машинному переводу», 2, М., 1961 (фотопринт).

[8] В. И. Абаев, указ. соч., стр. 33. Кстати о стенографии: в США построен опытный образец машины, способный переводить стенотипическую запись (т. е. запись устной речи, сделанную человеком с помощью стенографической машины) в обычную запись, выдаваемую в виде печатного или машинописного текста, оформленного по правилам орфографии, с расстановкой знаков препинания, заглавных букв, переносов и т. п. (см.: G. A. Salton, R. W. Thorpe, An approach to the segmentation problem in speech analysis and language translation, Teddington, 1961).

Для «гуманитарного сектора» изобретение, которое позволяет заменить человека в трудоемкой работе, быстро вводить преобразованную таким образом устную речь в

Можно было бы относиться к такого рода заявлениям с тем вниманием, которого они заслуживают, если бы не весьма распространенное представление о машинном переводе (и других видах автоматической обработки речевой информации), как о деле техническом, успех которого зависит всего-навсего от некоторых манипуляций над текстом, от статистических подсчетов, или же от наличия неких машин, куда надо что-то «закладывать». Между тем не только лингвисту, но вообще здравомыслящему человеку должно быть ясно, что стремиться к автоматизации процесса перевода — значит моделировать работу (квалифицированного) переводчика, т. е. имитировать все операции, которые он совершает в процессе перевода, предварительно познав их, а это означает не больше и не меньше, как построить такую модель анализа и синтеза речи (хотя бы письменной), которую можно было бы реализовать на логическом устройстве. И это в условиях, когда лингвистика не дает еще ответа на вопрос, как переводит текст человек. Напомним слова английского лингвиста Дж. Фёрса: «Место перевода в лингвистике не было изучено должным образом... Знаем ли мы, как мы переводим? Знаем ли мы, более того, что мы переводим? Если бы мы на эти вопросы могли дать ответ в терминах науки, мы подошли бы к формулировке новой, более ясной теории языка...»[9]. Мы опять, таким образом, сталкиваемся с уже известной ситуацией: решая задачи вроде бы прикладные, приходится «перестраивать» теорию языка, если не создавать ее заново.

В области МП (машинного перевода) с естественных языков на естественные и информационные языки, а также в смежных областях — автоматического поиска информации, реферирования и т. п.— необходимость фундаментальных исследований была осознана у нас уже в начале работы. Правда, были попытки решения этих задач «в лоб»: составить правила МП «на случай», выводя их из подлежащих переводу текстов, без учета свойств и возможностей сопоставляемых языков, т. е. попытки «подхода... с точки зрения частотности, дистрибуции и пр., чтобы закладывать...». Но для советских исследований по автоматической обработке текстов характерно иное направление: рассматривать МП как часть кибернетической проблемы автоматизации мыслительных процессов. Эффективное осуществление идеи МП мыслилось у нас с самого начала как результат глубоких теоретических исследований. «Лингвистической задачей машинного перевода,— говорилось в первой научной статье по МП, напечатанной в нашей стране,—является выработка такой системы правил, которая позволила бы, имея некоторый текст на данном языке, однозначно определить, какой текст другого языка должен быть адекватен по с м ы с л у (разрядка наша. — *В. Р.*) данному тексту»[10].

Было еще одно обстоятельство, которое побуждало советских исследователей искать решения проблемы МП не эмпирически, а путем теоретического осмысления: исходным в работах по МП был (и остается) у нас, как правило, английский язык, а это исключает возможность строить правила синтеза русской фразы, опираясь на морфологическую информацию слов в исходном тексте. Сразу же встал, таким образом, вопрос о соотношении анализа и синтеза. Уже первые работы показали, что следует различать «пассивную» и «активную» грамматику — как это и предлагал в свое время

электронно-вычислительную машину и обрабатывать ее, представляется, видимо, малоинтересным. Лингвисту стоит, однако, задуматься над таким преобразованием устной речи в письменную.

[9] J. R. F i r t h, Linguistic analysis and translation, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 139.

[10] П. С. К у з н е ц о в, А. А. Л я п у н о в, А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, 5, стр. 109.

Л. В. Щерба, исходя из задач обучения неродным языкам[11]. Но тем самым и с этой стороны подтверждалась мысль о необходимости, в целях МП, имитировать на машине понимание текста человеком (разработать его «пассивную грамматику») и его умение выражать понятое на другом языке (разработать его «активную грамматику»). Применительно к английскому проводилась разработка правил синтаксического анализа, которые должны были позволить разложить английское предложение на синтагмы, а затем, сопоставив им соответствующие русские синтагмы, синтезировать при помощи англо-русского словаря русское предложение.

Сама идея синтагматического анализа была не нова в лингвистике. Тем не менее, приступив к разработке англо-русского алгоритма на синтаксической основе, Т. Н. Молошная не могла приложить существовавшие синтагматические теории, не проделав исследовательской работы по их «перестройке». Дело в том, что лингвистические описания, в данном случае синтаксические, предназначенные для использования в вычислительной машине, должны быть конструктивными, т. е. для задаваемой совокупности языковых объектов следует указывать элементы, из которых они состоят, и правила образования этих объектов из указанных элементов или же разложения объектов на соответствующие элементы, т. е. правила синтеза или анализа задаваемых объектов. Такое описание должно обладать по крайней мере двумя свойствами — адекватностью и полнотой. Синтаксические описания, основанные на синтагматической теории предложения, разработанные (применительно к русскому языку) школой Фортунатова и (применительно к английскому) Л. Блумфилдом и Ч. Фризом, не обладали этими свойствами. Смысл работы, проделанной Т. Н. Молошной в области синтаксиса, заключался в том, чтобы преобразовать указанные описания в конструктивные. Введенное ею понятие грамматической конфигурации — элементарного двух- или трехчленного сочетания представителей классов слов, определенным образом оформленных морфологически и синтаксически, составление полного списка конфигураций английского языка и списка соответствующих им русских конфигураций, разработка правил, обеспечивающих однозначное членение английского предложения на конфигурации, а затем переход от них к соответствующим русским конфигурациям и синтез русского предложения, не только продвинули идею синтаксического МП, но и теорию синтаксиса в целом.

Здесь не место излагать всю работу по морфологии и синтаксису, проделанную у нас в связи с МП, и полученные в результате общетеоретические выводы. Вышедшая недавно книга И. А. Мельчука «Автоматический синтаксический анализ» может быть рассмотрена как труд, характерный для всего этого направления работ. Посвященное общим принципам и внутрисегментному синтаксическому анализу[12], это описание является по существу действующей моделью русского языка (в аналитической ее части).

По работе И. А. Мельчука можно судить о том, как отчетливо осознанная и ясно сформулированная задача по автоматической обработке текстов, решение которой может быть проверено ее реализацией на вычисли-

[11] См.: И. И. Ревзин, «Активная» и «пассивная» грамматика Л. В. Щербы и проблемы машинного перевода, «Тезисы конференции по машинному переводу (15—21 мая 1958 года)», М., 1958. Показательно, что в Японии опыты по МП проводились по программе, которая соответствовала требованиям, предъявляемым к изучающим английский язык на первом этапе обучения.

[12] Под сегментом И. А. Мельчук понимает высказывания с полной или частичной предикативностью, т. е. простые предложения, деепричастные и обособленные определительные обороты (см. его «Автоматический синтаксический анализ», I, Новосибирск, 1964, стр. 27).

тельной машине, задача, представляющаяся на первый взгляд ограниченной прикладными рамками, по необходимости ведет к перестройке теории языка. В то же время синтаксическое описание И. А. Мельчука по сути дела не отличается от учебного пособия по синтаксису. Это и понятно, если учесть цель, которую ставит алгоритм синтаксического анализа — моделировать (имитировать) поведение школьника, «разбирающего» предложение на уроке русского языка. В этом смысле хорошее лингвистическое описание кибернетического характера продолжает добрую гуманитарную традицию школьной грамматики, которая в своей основе тоже не может не быть операционным описанием. Отличается же работа И. А. Мельчука от обычного учебного пособия по синтаксису тем, что для машины надо писать лучше — она ведь сама ни о чем догадаться не может. «Лучше» — в данном случае — значит: указать, какая именно обработка текста должна стать возможной в результате применения алгоритма, однозначно задать объекты, которые должны быть подвергнуты анализу, указать элементарные величины, на которые должны быть расчленены объекты операции, при помощи которых это членение должно быть проведено, и т. д.

Если верно, что морфологические и синтаксические модели, предназначенные для использования в кибернетических устройствах, требуют лучшего описания естественных языков, чем то, которое имеется в настоящее время, то это, очевидно, тем более верно в отношении моделей семантических. И в этой области цель исследования определяет поиск конструктивных описаний.

Такие описания уже разрабатываются, причем исходят из положения, что «...владение смыслом слов проявляется у говорящего в способности по-разному выразить одну и ту же мысль, а у слушающего — в понимании смыслового тождества или сходства внешне различных высказываний»[13]. Конечной целью работ по семантике оказывается моделирование этой стороны языкового поведения человека.

Замысел при этом следующий: по семантической записи каждой фразы входного текста получить как можно больше синонимичных выражений (в идеале — все) на переводящем языке, в данном случае — на русском[14]. Так как высказывания на разных языках расходятся по своей семантической структуре, и, следовательно, трудно получить адекватный по смыслу и идиоматичный по выражению перевод непосредственно в результате анализа, предпочтение отдается множественному синтезу с тем, чтобы из полученных «сырых» переводов отобрать по определенным правилам тот, который путем семантико-синтаксических операций по его преобразованию может быть доведен до заданной нормы.

Правила преобразования распадаются на две группы: семантические, обеспечивающие эквивалентное перефразирование выходных (русских) предложений, и семантико-синтаксические, указывающие на синтаксическое преобразование, которое диктуется появлением в ходе семантических преобразований нового слова или словосочетания с тем же смыслом (ср. *Теория должна направлять деятельность*; *теория должна указывать, как действовать*; *теория должна быть руководством к действию*).

---

[13] См.: [А. К. Жолковский], Предисловие к сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 8, М., 1964, в котором напечатаны сообщения о работах по семантике, проводимых в Лаборатории машинного перевода 1-го МГПИИЯ. Ср. также иной подход к моделированию семантики в работах Ю. Д. Апресяна. См. его «Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам управления)», ВЯ, 1965, 5.

[14] См.: А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, О возможном методе и инструментах семантического синтеза, «Научно-техническая информация», 1965, 6.

Для того чтобы такие правила могли работать, слово в русском словаре снабжается информацией, указывающей средства семантически эквивалентных замен данного слова — его синонимы, конверсив (способ выражения того же отношения, взятого в ином направлении, ср. *включать — входить в*), имя типового субъекта данного предиката (ср. *сочинять— автор*), имя типового объекта (ср. *сочинять — произведение*) и др., а также информацией, перечисляющей средства идиоматичного выражения при данном слове некоторых регулярных семантических категорий (параметров), таких как каузация (*вызвать конфликт*), ликвидация (*положить конец конфликту*), оперирование (ср. *употреблять термин*) и др.

Даже из этого весьма упрощенного пересказа предложенного метода семантического синтеза видно, что и семантическое моделирование близко примыкает к школьной практике — данные о лексико-фразеологических сочетаниях всегда сообщаются при обучении неродному языку. Вместе с тем следует подчеркнуть то принципиально новое, что вносится в семантику операционным описанием смысловых преобразований. Не будет преувеличением сказать, что семантику приходится не перестраивать, как синтаксис, а создавать заново. В самом деле, для чего до сих пор требовалось семантическое описание? Для обучения родному языку оно не нужно — по существу такое обучение сводится к указанию средств и правил перехода от устной формы речи к письменной, к нормированию речи. Смысл при этом считается заданным и служит опорой для определения морфологических и синтаксических категорий[15]. При обучении неродному языку семантика требуется для толкования значения лексико-фразеологических единиц этого языка (частично это достигается двуязычными словарями). Этой цели и служит в основном статическая классификация лексико-фразеологических единиц по синонимам и антонимам. Таких сведений о семантической структуре словаря явно не хватило бы для понимания смысла сколько-нибудь сложного высказывания или же для построения такого высказывания на неродном языке, не будь, во-первых, знания законов действительности, во-вторых, способности человека к умозаключению и, в-третьих, значительного сходства в семантической структуре языков. Ясно, что при моделировании для кибернетического устройства требуется явная формулировка навыков оперирования со смыслом, которыми владеет человек. Из предмета спекуляций на тему «язык и мышление» семантика становится теорией, основанной на наблюдениях и опытах.

Разумеется, путь построения теории языка, по которому следуют в работах по автоматическому анализу и синтезу текстов, не единственная возможность, даже если иметь в виду лишь лучшие из таких работ и не принимать во внимание доклады и статьи, в которых обилие новых терминов обратно пропорционально выясненным понятиям.

Вместо того чтобы пытаться любыми (лишь бы эффективными) методами с п е р в а с д е л а т ь алгоритмы анализа и (или) синтеза текстов — действующие модели речевой деятельности человека, а з а т е м о с м ы с л и т ь, как устроены эти модели, можно идти к той же цели дедуктивно, что и делают ученые, создающие математические модели языка. Такие модели возникли независимо от прикладных задач. С другой стороны, ни один лингвист не может отрицать, что математические модели, например, модели Н. Хомского, адекватно представляют некоторые свойства языка, имеют объясняющую силу и, следовательно, причастны к

[15] Показательно, что даже А. М. Пешковский, отказываясь дать отрицательную оценку ультраформализму последователей Ф. Ф. Фортунатова, отмечал неприменимость его в школьной практике, требовал преподавания грамматики с опорой на значение (см. его «Вопросы изучения языка в семилетке» в кн.: А. М. П е ш к о в с к и й, Избр. труды, М., 1959, стр. 228 и сл.).

«большой лингвистике». Но теоретики «гуманитарного сектора» не приемлют, как известно, и математическое моделирование — модели ведь не написаны на тему «язык и...» (общество, мышление и т. п.).

Нам важно отметить в связи с утверждением необходимой связи теории языка с развитием прикладных кибернетических задач, что научная ценность математической модели зависит от того, в какой мере в ней отражается речевое поведение человека [16]. Неудивительно поэтому, что обнаруживаются переходы от математической модели к алгоритму [17].

Сказанного должно быть достаточно, чтобы ответить тем, кто (искренне, вполне искренне) не может понять «в чем дело», «почему машина не переводит», недоумевают по поводу того, что слишком затянулись подготовительные работы, и, стремясь помочь поддержать «это важное направление», предлагают... организационные, административные меры.

2

Что можно ожидать от прикладных, кибернетических исследований в общем движении лингвистики? Вот вопрос, который хорошо бы рассмотреть, обсуждая состояние и задачи нашей лингвистики. Спор о методах — традиционных или структуральных — представляется многим спором вчерашнего дня. Неужели же хотят убедить лингвистов в том, что стоящие перед нашей наукой задачи могут быть решены без учета того, что достигнуто структурализмом — одним из важнейших направлений в лингвистике, во многом определившим развитие этой науки в течение полувека, органически связанным с развитием русской лингвистики? Неужели, с другой стороны, еще надо доказывать, что структурализм не предел, не последнее слово в лингвистике? Спорящие о «методах», право же, напоминают временами людей, спорящих о направлении, которое следует придать движущемуся вперед поезду, не замечая, что вагон, в котором они сидят, отцепили. В самом деле, в схоластическом споре о «методах» можно проглядеть главное — широкую языковую практику, потребности современного общества, возможности, которые оно предоставляет лингвистам; можно не заметить, что впервые в истории появилась возможность широкого, массового лингвистического эксперимента. Ибо в этом — пусть никто не заблуждается — в возможности строгой, объективной проверки наших знаний, положений, гипотез о языке — решающее значение кибернетических языковых моделей для развития лингвистики. Если верно, как мы пытались показать, что ни одна из серьезных прикладных задач по лингвистике не может быть должным образом поставлена, а тем более решена без предварительных исследований основных сторон языка, что решение этих задач предполагает моделирование языкового поведения человека, если это верно, то верно и обратное — не может быть в наше время теоретической лингвистики без значительного участия кибернетического направления.

Можно показать, что основные проблемы теории языка, выдвигаемые сейчас перед советскими лингвистами, целесообразно переформулировать и решать конструктивным путем. В своих «Заметках о состоянии и перспективах советского языкознания» Ф. П. Филин выделяет семь таких

[16] Ср. следующее заявление Р. О. Якобсона: «...попытки построить модели языка безотносительно к говорящему или слушающему... угрожают превратить язык в схоластическую фикцию» (R. Jakobson, Linguistics and communication theory, «Structure of language and its mathematical aspects» («Proceedings of Symposia in applied mathematics», XII), Providence, 1961, стр. 250.

[17] См.: B. Vauquois, G. Veillon, J. Veyrunes, Application des grammaires formelles aux modèles linguistiques en traduction automatique, «Kybernetika», 1, 3,1965.

проблем: 1) методологические основы советского языкознания; 2) нации и национальные языки; 3) внутриязыковые и внеязыковые факторы в развитии языка (язык и общество, или социология языка); 4) язык и мышление; 5) сравнительно-историческое изучение языков; 6) сравнительно-типологическая характеристика языков и проблемы исторической типологии; 7) прикладное языкознание. Рассмотрим, к примеру, вторую из этих проблем. «Проблемы двуязычия и многоязычия в СССР и в других странах,— пишет Ф. П. Филин,— типов языкового межнационального общения, языкового схождения и развития национальных особенностей, вопрос о судьбе языков малых народностей, о роли русского языка в обогащении языков народов СССР и многие другие актуальные вопросы этого круга проблем нуждаются в капитальных исследованиях»[18].

Спрашивается, в каком направлении вести исследования, призванные быть научной основой нормирования национальных литературных языков Советского Союза, сознательного воздействия на культуру речи и т. п.? Речь не может идти лишь об инвентаризации заимствованных научно-технических терминов, политической фразеологии, калькированных слов и синтаксических конструкций. Даже если вести подобную инвентаризацию в обе стороны, т. е. «заприходовать» не только лексические и грамматические явления русского языка, заимствованные другими национальными языками, но и слова и образные выражения, проникшие в русскую речь, говорить о взаимном обогащении, мы вряд ли выявим процесс, механизм воздействия языков и, конечно же, не установим специфики этого взаимодействия в нашей стране — «взаимное обогащение» контактирующих языков имело место уже в Римской империи.

Традиция генетического подхода к заимствованиям, как известно, была заложена в работах по сравнительно-историческому языкознанию. Но здесь такой подход связан был с поисками, направленными на реконструкцию древнейших состояний сопоставляемых языков. Сам механизм заимствования или калькирования, как и явление двуязычия, при этом или вовсе оставался вне поля зрения ученых, или же рассматривался лишь в связи с вопросом об исторической эволюции языка. Если же обратить внимание не на эту сторону дела, а стремиться выяснить, каким образом, при помощи каких элементов и правил индивид понимает (анализирует) и строит (синтезирует) речь на языке, не усвоенном в раннем детстве, и которому он обучается в ходе общения с носителями иного языка, то процесс языкового общения двуязычных коллективов и изменения языка в результате такого общения предстанут перед нами в ином свете. Заимствование и калькирование предстанут при таком моделировании языковых контактов не как одностороннее явление, относящееся лишь к «берущему» языку, а как явление взаимодействия контактирующих сторон.

Еще Г. Пауль, говоря о смешении языков, различал воздействие на внутреннюю форму слова, исходящее от лиц, для которых данный язык является чужим, и влияние чужой внутренней формы на родной язык. Первого вида кальки встречаются в областях, население которых говорит на двух языках, где подобные ошибки (Пауль имеет в виду перенос значения родного слова на слово неродного языка) легко могут стать узуальными. Второй вид усвоения чужой внутренней формы обычно отмечается в языке науки и техники при создании нового слова по чужому образцу[19].

Эта глубокая мысль, указывающая на различие между кальками при синтезе сообщения в процессе перехода от родного языка на неродной и кальками, возникающими при синтезе в процессе перехода от неродного языка к родному, представляется весьма важной для понимания взаимо-

[18] Ф. П. Филин, указ. соч., стр. 27.
[19] См.: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, § 283.

действия и взаимопроницаемости языков. К сожалению, она, как это часто бывает в истории науки, была забыта. И вот к чему это привело.

Г. А. Меновщиков сообщил об обнаруженных им в 1963 г. в языке медновских алеутов грамматических элементах русского языка, а именно, о глагольных словоизменительных формах, а также нескольких наречиях и вспомогательном глаголе *быть*, используемых для образования аналитических форм глагола. Сопоставление медновского и беринговского диалектов показало исследователю, что «в медновском диалекте глагол утратил алеутские показатели времени, наклонения, лица и числа и при полном сохранении исконной глагольной лексики стал изменяться по русской словоизменительной схеме»[20]. Как объяснить причины проникновения русских морфологических форм выражения важнейших категорий языка в другой язык и вытеснение соответствующих исконных форм? Интерпретация Г. А. Меновщикова представляется неубедительной. Если верно, как он утверждает, что русские глаголы не заимствовались медновскими алеутами, то непонятно, каким образом были заимствованы ими русские глагольные словоизменительные морфы. Такие фразы, как *Я ках'чаг'ил сул* «Я рыбу рукою взял», *Ты х'уганах анусал* «Ты камень бросил», *Я бы тин'айгачхал* «Я бы сам пошел», напоминающие известный пример Л. Щербы *Глокая куздра штеко бодланула бокрёнка*, автор считает чисто алеутскими, за исключением заимствованных русских глагольных форм. Но столь же, если не более правомерно видеть в них фразы русские по грамматической конструкции, но в которых используется заимствованная алеутская лексика[21]. Да и сам автор местами склонен видеть в рассматриваемых фразах результат речевой деятельности носителей русского языка.

Механизм взаимоприспособления носителей разных языков в целях наилучшего взаимопонимания и надлежит, видимо, исследовать лингвисту. Коль скоро мы лишены возможности непосредственно наблюдать, каким образом в процессе речевого общения между носителями двух разных языков происходит взаимное обучение неродному языку, в результате чего они, меняя эти языки, находят общий язык (ситуация «черный ящик»), нам остается для познания этого процесса один путь — моделирование.

Такой подход вовсе не означает игнорирование социально-исторических факторов языковых контактов, как полагают некоторые. Можно было бы показать, что моделирование механизма языковых контактов и экспериментальная реализация на машине позволяют учесть все факторы, в том числе экстралингвистические.

Мы пытались показать, что не может быть еще, строго говоря, прикладной лингвистики, но что в прикладных исследованиях, широко проверяемых экспериментально в кибернетических устройствах, заинтересована вся лингвистика. Достижения кибернетического направления весьма скромны, как скромны, впрочем, силы, работающие в этом направлении. В этих условиях требуется не такое размежевание «большой» и прикладной лингвистики, при котором первой предоставляется право на рассмотрение проблем, второй же вменяется в обязанность выдавать в ближайшее время практические результаты (автоматизировать мыслительные процессы вряд ли легче, чем управлять ядерными реакциями), а объединение людей, желающих и умеющих разрабатывать вопросы анализа и синтеза текстов. Любая работа в этом направлении, «традиционная» или структурная, продвинет лингвистику, теоретическую и прикладную.

---

[20] Г. А. Меновщиков, К вопросу о проницаемости грамматического строя языка, ВЯ, 1964, 5, стр. 102.

[21] См. о классификации креолизованных языков дискуссию между Д. Тейлором, Р. Холлом и У. Вайнрайхом в журн. «Word», 12, 3 (1956), 14, 2—3 (1958), 15, 3 (1959).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

О. А. ЛАПТЕВА

О НЕКОДИФИЦИРОВАННЫХ СФЕРАХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1

Как известно, чем более развитым является литературный язык, тем более сложен его состав, тем более продвинута его стилевая дифференциация[1]. Современный русский литературный язык обладает сложной и разветвленной системой стилей, находящихся в весьма различных взаимоотношениях и обнаруживающих многонаправленные связи. Эта система имеет тенденцию к дальнейшей дифференциации, к включению в свой состав новых членов. Система стилей охватывает по преимуществу книжно-письменный тип литературного языка, что вполне естественно и оправдывается всем ходом исторического развития русского литературного языка, который всегда существовал прежде всего как язык письменности[2].

Современная устно-литературная русская речь лишь отчасти отражает стилевые градации письменных форм литературной речи — в той мере, в какой может существовать потребность в устном произношении текстов, принадлежащих тому или иному стилю. В остальной массе своих проявлений устно-литературная речь не является проекцией письменных форм, представляя собой ныне еще не изученные самостоятельные системы, соотносимые с книжно-письменными формами литературной речи в пределах единого литературного языка и при этом обнаруживающие лишь им свойственные языковые характеристики, в своей совокупности составляющие известные категориальные показатели. Эта область устно-литературной речи развивается стихийно и не подвергается в своем становлении прямому воздействию нормализаторской деятельности[3], отличаясь этим от книж-

---

[1] Ср.: Fr. Daneš, Vývoj češtiny v období socialismu, сб. «Problémy marxistické jazykovědy», Praha, 1962, стр. 331.

[2] Устная форма литературного языка возникла лишь в эпоху становления нации (см.: В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 31). На более ранних этапах условия устного общения, по-видимому, не предполагали выработки сколько-нибудь строго кодифицированных норм (см.: В. В. Виноградов, Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи, М., 1963, стр. 26). Такая кодификация в это время была скорее не столько фактом развития некоей общенародной формы устного общения, сколько естественным, природным результатом существования и развития данного территориального диалекта. Именно поэтому весьма сложным и пока не поддающимся однозначному решению является вопрос о том, представляют ли собой факт литературного языка необработанные непосредственные фиксации древней разговорной речи типа новгородских берестяных грамот.

[3] Наличие периферийных, не регламентированных установлениями кодификации областей — имманентное свойство или по крайней мере тенденция развитого литературного языка. Форма реализации этого свойства зависит от конкретно-исторических условий становления и существования данного литературного языка. В своей основе это свойство связано с возрастающей и углубляющейся в процессе развития литературного языка функционально-стилевой дифференциацией. Сложные взаимоотношения между риксмолом и лансмолом в норвежском литературном языке, сопровождающиеся край-

но-письменных форм литературного языка, становление которых неразрывно связано с процессами их кодификации[4].

Обширную область устной периферии современной литературной речи можно было бы условно и предварительно назвать устно-разговорной разновидностью современного русского литературного языка, имея в виду в первую очередь форму ее речевого проявления и ее основную функциональную направленность. Складываясь на фоне укрепляющейся тенденции к стилевой дифференциации[5], устно-разговорная разновидность обнаруживает стремление войти в систему стилей современного русского литературного языка и вступить с ними в отношения соподчинения и взаимоисключаемости. Эта разновидность, формирующаяся на базе строго не нормированной устной речи, характеризуется языковыми средствами двух типов. Первые из них свойственны устной речи вообще и связаны со спецификой «говорения» как такового. Языковые средства второго типа, возникающие на базе языковых средств первого типа, являются в отличие от них типизированными, выстраивающимися в структурные ряды, обязательными к употреблению в речи в данных функциональных условиях. Именно они составляют ту материальную основу, которая дает возможность устно-разговорной разновидности стремиться занять свое место в системе стилей современного русского литературного языка и уподобиться им в своих ведущих характеристиках. Именно они наделяют устно-разговорную разновидность современного русского литературного языка свойством нормативности.

Ближайшую аналогию устно-разговорной разновидности русского литературного языка среди славянских языков составляет так называемый обиходно-разговорный чешский язык. Однако национальные и конкретно-исторические особенности обоих языков обусловили весьма существенные расхождения между этими двумя формами их существования.

1. Первое яркое расхождение состоит в различном их отношении к соответствующей диалектной основе. Чешский обиходно-разговорный язык, включающий в свой состав большое количество фонетических, морфологических, лексических и синтаксических диалектизмов, не утратил живой связи с народно-диалектным языком. Многие его носители — недавние носители диалекта. По существу он и до сих пор продолжает выполнять функции интердиалекта[6]. Устно-разговорная разновидность современного русского литературного языка, развиваясь на базе устно-разговорной речи, не обнаруживающей сколько-нибудь существенной территориальной вариативности в своих релевантных синтаксических характеристиках[7], с самого начала складывалась в пределах литературного языка. Это последнее обстоятельство определило собою характер ее веду-

---

не замедленным распространением устной национальной нормы; расширенно-ареальное распространение различных вариантов английского слэнга, функционирующих в совокупности с общелитературными языковыми средствами в качестве своего рода подструктур; так называемый обиходно-разговорный чешский язык (obecná čeština), находящийся в весьма сложных и полностью еще не изученных взаимоотношениях с нормированной разговорной формой чешского литературного языка (hovorová čeština) и занимающий все еще неясное положение по отношению к структуре литературного языка,— таковы некоторые весьма разнородные по своей природе, но наиболее яркие проявления национального своеобразия в существовании некодифицированных областей общенациональных языков. Эти области получили у американских лингвистов названия «substandard», «informal nonstandard».

[4] См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 7—8.

[5] См.: М. В. Панов, О развитии русского языка в советском обществе, ВЯ, 1962, 3, стр. 4—6.

[6] См.: П. Сгалл, Обиходно-разговорный чешский язык, ВЯ, 1960, 2, стр. 12.

[7] Ср.: А. Б. Шапиро, Очерки по синтаксису русских народных говоров, М., 1953, стр. 8 и сл.

щих структурных признаков, формирование которых шло по линии типизации отдельных приемов разговорного синтаксиса, являющихся естественным следствием самой природы говоримой речи[8].

2. Второе не менее яркое расхождение является прямым следствием первого. Если формирование основных явлений чешского обиходно-разговорного языка в силу его диалектного происхождения захватывает все области — и лексику, и словообразование, и синтаксис, и в еще большей мере — фонетику и морфологию, то в устно-разговорной разновидности русского литературного языка ее отличительные особенности складываются по преимуществу в области синтаксиса[9]. Именно область синтаксиса показывает определенную систему типизированных структур, вполне обязательных для употребления в заданном языковом и внеязыковом окружении.

Конечно, имеются и другие линии, по которым можно проследить несходство соответствующих явлений чешского и русского языков; вряд ли можно сейчас их назвать во всей полноте.

Устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка свойствен ряд признаков, которые, видимо, могут служить свидетельством вхождения ее в сложный и неоднородный конгломерат явлений, составляющих литературный язык, проникновения ее в систему его стилей, с которыми она стремится вступить в соотносительно-сопоставительные отношения[10]. В числе этих признаков можно назвать следующие.

1. Устно-разговорная разновидность имеет свои сферы функционирования. Вторжение в эти сферы языковых средств иной стилевой принадлежности создает различные стилистические эффекты, в обычной ситуации данным сферам языкового общения не свойственные. Иными словами, явления, входящие в состав устно-разговорной разновидности литературного языка, не поддаются замене в речи синонимическими явлениями иной стилевой принадлежности без нарушения стилистической окрашенности речи; они стилистически маркированы[11].

Сферы функционирования устно-разговорной разновидности охватываются по преимуществу диалогической речью в различных ее проявлениях, и в первую очередь краткими вопросно-ответными, побудительными и констатирующими репликами, преимущественно однофразового строения, в области которых основные конструктивные признаки этого стиля проявляются наиболее полно и отчетливо[12]. Устно-разговорной разно-

---

[8] Как показывают предварительные наблюдения, устно-разговорная форма современного диалектного языка в целом не обнаруживает этой типизации. Ср. приводимые нами далее примеры бессоюзных подчинительных структур литературной речи и соответствующие диалектные данные В. И. Трубинского («Об одной тенденции в развитии бессоюзного гипотаксиса в русских говорах Северо-Запада», «Тезисы докладов на X диалектологическом совещании 11—14 мая 1965 г.», М., 1965).

[9] Видимо, имеются и фонетические, и морфологические, и словообразовательные отличия от нормированного литературного языка; они еще не изучены. С.И. Ожегов в докладе «О структуре современного русского национального языка», прочитанном на Ученом совете Института русского языка 28 декабря 1961 г., высказал предположение о существовании «национально-обиходной речи» (значительно более нивелированной, чем прежние мещанские и другие городские речевые прослойки), исходя из данных словообразования. В лексике, конечно, также имеются излюбленные стилистические варианты и наиболее стандартный узус.

[10] Ср.: В. В. Виноградов, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963, стр. 5—6.

[11] «...развитой литературный язык,— писал Л. В. Щерба,— представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом» (Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 121).

[12] Ср. высказывания Л. П. Якубинского о «крайних случаях диалога» («О диалогической речи», сб. «Русская речь», 1, Пг., 1923, стр. 118), который для этой

видностью обслуживаются также и более пространные сообщения как диалогического, так и монологического характера. Для ее появления в речи важно наличие обиходно-бытовой обстановки, предполагающей конкретно-действенный характер речи и обусловливающей ее непринужденность. Всякое изменение этой обстановки, влекущее за собой и изменение целой речевой деятельности, неизбежно сопровождается переходом на иные речевые стили. Так, беседа с аудиторией, а не с единичным собеседником, выступление по радио, речь с трибуны и проч. может включать лишь элементы устно-разговорной разновидности литературного языка, строясь в основном по правилам иных стилевых разновидностей, более близких к книжным.

Яркая ситуативная прикрепленность (разумеется, в обобщенном плане) устно-разговорной разновидности литературного языка оказывается связанной и с более узкой ее прикрепленностью — ситуативно-тематической. В современном обмене репликами можно выделить в принципе исчислимое количество тематически идентичных высказываний, объединяемых по наиболее частотным темам. При этом, разумеется, складываются весьма благоприятные условия для возникновения и активизации конструкций-стереотипов[13], которые благодаря высокой частотности могут оказаться источником новых, доселе неизвестных строю языка структур. В качестве иллюстрации наиболее стандартных тем в области вопросных реплик можно назвать, например, вопросы о направлении и расположении улиц, о наличии того или иного товара, о нахождении чего-либо где-либо, о времени того или иного события и т. д. и т. п.

2. Устно-разговорная разновидность литературного языка, характеризуемая наличием определенных синтаксических структур, обязательных к употреблению в данной ситуации и в этом смысле обладающих качествами нормы[14], распространена в наше время в среде молодого и среднего поколений городского населения[15]. Предварительные наблюдения показывают, что более высокий уровень образованности ни в коей мере не снижает момента строгой нормативности этой формы. Скорее наоборот: чем ближе стоит данный носитель литературного языка к диалектной среде, тем меньше в его речи можно встретить специфических для устно-разговорной разновидности конструкций. В наиболее же «завершенном», «оформленном» виде и в наибольшем количестве они встречаются в речи людей, свободно владеющих несколькими стилями литературного языка. Старшее поколение носителей литературного языка, чьи речевые нормы складывались до Октябрьской революции, не показывает в этом отношении сколько-нибудь однородной картины: одни из принадлежащих к этому поколению совсем не употребляют специфических для устно-разговорной разновидности конструкций, другие употребляют лишь некоторые из них (причем любопытно, что обычно одни и те же), третьи ничем не отличаются в своей речи от молодого и среднего поколений.

формы речи подчеркивал момент отсутствия предварительного обдумывания. Видимо, этот момент не является определяющим при формировании реплик, в основе строения которых лежат определенные структурные модели.

[13] Е. А. Земская в статье «Заметки по русскому словообразованию» (ВЯ, 1965, 3, стр. 109) отмечала сходство разговорной и терминологической речи, проявляющееся в их общем стремлении к стереотипу. «О наличии огромного количества особого рода стабилизировавшихся построений» в разговорной речи говорит Н. Ю. Шведова («Очерки по синтаксису русской разговорной речи», М., 1960, стр. 6—7).

[14] См. об этом: Н. Ю. Шведова, указ. соч., стр. 366—367 и сл.

[15] Все эти данные носят по необходимости предварительный характер; для более определенных и дифференцированных утверждений необходимо было бы провести фронтальное обследование анкетного типа.

Видимо, здесь решающую роль играет индивидуальная восприимчивость к речевому окружению.

Создается впечатление, что с ростом кодификации «высшей формы» литературного языка, сопровождающейся его стилевой дифференциацией, растет тенденция противопоставить этой «высшей форме» своего рода «низшую» — в пределах литературного же языка[16]. Чем развитее литературный язык, тем сильнее «ножницы». В этом смысле весьма интересные результаты должно дать обследование диалектов, где колебания нормы значительно сильнее, чем в литературном языке, где само понятие нормы значительно менее строгое, чем в литературном языке с его кодификаторской традицией[17]. Здесь расхождение между «высшей» (т. е. предписываемой нормой данного диалекта) и «низшей» (т. е. допустимой в «сниженной» обстановке) формами, если его и удастся обнаружить, видимо, окажется гораздо менее значительным, чем в русском литературном языке на современном этапе его развития.

Таким образом, устно-разговорная разновидность литературного языка предстает как своего рода языковой урбанизм.

3. Явлениям, входящим в состав устно-разговорной разновидности литературного языка, свойственна системность. Обычно они выступают в совокупности, обусловливая друг друга в своем появлении в речи. Именно это их свойство позволяет изучать их в ограниченном составе. Системность явлений устно-разговорной разновидности позволяет им стать типовыми признаками стиля.

Возникает еще один вопрос — об отношении устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка к тому не вполне четко определяемому явлению, которое в русской языковедческой традиции получило название «просторечия».

Понятие просторечия, не имеющее единого комплексного определения со стороны своих функций, состава и места в общенародном языке, на протяжении XIX и XX вв. меняло свое содержание. К 20—30-м годам XX в. под ним обычно понимали некоторые, по преимуществу лексические, компоненты речи, выполняющие экспрессивно-эмоциональные функции и стоящие на грани литературного употребления[18]. При этом указывалось на их «грубоватость»[19]. У просторечных элементов речи нелексического характера (фонетические произносительные варианты, морфологические формы слов и пр.), как, впрочем, и у большинства лексических, обычно можно обнаружить диалектное происхождение; преимущественно это диалектизмы с широким ареалом распространения. Обычное указание на то, что просторечные элементы стоят «на грани» литературного речеупотребления, мало что говорит об их отношении к комплексу явлений, составляющих литературный язык. В самом деле, если часть явлений просторечия входит в литературный язык[20], то образует ли эта часть целостную подсистему? Если да, то в каких отношениях она находится к другим подсистемам литературного языка? С другой стороны, часть явлений просторечия признается не входящей в литературный язык[21].

---

[16] С. И. Ожегов предпочитал говорить о «национально-обиходной речи», противопоставляя ее «национально-литературной».

[17] Ср.: М. В. Панов, указ. соч., стр. 4.

[18] Ср. у Л. В. Щербы: «...слова, которые получили в нашей лексикографии название просторечных, т. е. характеризующих людей, не вполне овладевших литературным языком» (указ. соч., стр. 120).

[19] Ср.: «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, I, М., 1935, стр. XXVI.

[20] Ср.: А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1954, стр. 16.

[21] Ср. четырехтомный «Словарь русского языка», I, М., 1957, стр. IX.

Тогда какой характер носят эти явления? Общенародны ли они, или имеют регионально-территориальную прикрепленность, или обладают социально-групповыми ограничениями в своем функционировании и в этом смысле сближаются с жаргонами?

Вся эта совокупность вопросов не получила в нашей литературе сколько-нибудь полного и последовательного освещения. Внимание исследователей обыкновенно сосредоточивалось на выяснении функционально-стилистической роли просторечных элементов в различные периоды развития русского литературного языка.

Просторечие характеризуют по преимуществу лексические элементы. Оно никогда не имело тенденции оформиться как самостоятельный стиль литературного языка, ограничиваясь лишь приданием особой стилистической окраски тексту, включающему просторечные элементы, т. е. имея определенную функцию при литературном использовании[22].

Видимо, следует признать, что с широчайшим ростом образования, при котором городская молодежь обнаруживает, в сущности, одинаковый уровень владения литературным языком, с распространением различных средств массовой коммуникации на литературном языке, из которых в распространении литературных норм важнейшую роль играет радио[23], просторечие в реальном устном речеупотреблении все более оттесняется, уступая место устно-разговорной разновидности литературного языка и становясь категорией отживающей, рудиментарной[24].

Понять, какие же конструктивные особенности составляют характерологические признаки устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка в отличие от устной формы речи, помогает сравнение. Устная форма речи, существовавшая на всех этапах формирования и развития литературного языка, всегда характеризовалась относительной свободой правил своей синтаксической организации. Разного рода самоперебивы, незаконченные построения, эллипсисы, вольное расположение членов синтаксической конструкции, соответствующее «раскованному» ходу мысли — вот те наиболее показательные особенности синтаксиса, которые всегда были свойственны устной речи и которые, по словам Л. П. Якубинского, связаны с тем, что в устной (диалогической) речи момент предварительного обдумывания практически отсутствует. Впечатление «свободы» синтаксической организации устной речи складывалось у многих исследователей как древнерусского, так и современного русского синтаксиса[25]. При этом обычно считается, что какая-либо системность соответствующих явлений здесь отсутствует[26].

[22] Ю. С. Сорокин говорит о «литературном просторечии» как об «особом стилистическом круге слов» (Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90 годы XIX века, М.—Л., 1965, стр. 480). С. И. Ожегов в названном докладе говорит о том, что просторечие есть термин оценочный; по его мнению, им едва ли возможно называть целый пласт языка, и целесообразнее было бы сохранить его как стилистическое определение некоторых элементов литературной речи.

[23] О понятии массовой коммуникации в аспекте целенаправленной языковой деятельности см.: Н. И. Конрад, О «языковом существовании», «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 10 и сл.

[24] В имеющейся литературе явления современного просторечия и устно-разговорной разновидности литературного языка, а также общелитературного языка, обычно не получают должной дифференциации. См., например, автореф. канд. диссерт. О. А. Нечаевой «Разговорно-просторечные элементы современного русского языка» (М., 1955), в котором попытки выделения «развитой и устойчивой совокупности (синтаксических — *О. Л.*) приемов разговорной речи» заканчиваются произвольным перечнем общелитературных конструкций (стр. 16).

[25] Говоря о «всяких нарушениях синтаксических норм», Л. В. Щерба писал: «никакие отступления от нормы не страшны в разговорной речи» (указ. соч., стр. 115, 116).

[26] Из недавних диссертационных работ показательна в этом отношении работа М. Л. Михлиной «Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи» (Авто-

Действительно, можно приводить все новые и новые примеры «бесформенных» построений. Назовем несколько взятых наудачу[27]. *И я всегда охапки вот такие привозила оттуда цветов.* Здесь налицо ослабление синтаксической связи членов в группе *вот такие охапки цветов*, проявляющееся в беспорядочном словорасположении, обусловленном принципом ассоциативного присоединения слов по мере возникновения их в ходе мысли. *Не знаю, куда они его денут. Или отец куда поедет возьмет с матерью с собой.* Здесь расположение слова *с матерью* зависит от случайного для грамматической формы фразы фактора — от момента появления в мысли соответствующего представления. *Что касается групповщины, вот говорят что какая-то группа только; А чем больше человек сидит, ему опять сидеть хочется.* Последние две фразы действительно обязаны своим грамматически невыдержанным строением отсутствию предварительного обдумывания (заметим, что это последнее качество в равной мере свойственно и диалогической, и монологической форме речи, а не только диалогической, как думали Л. П. Якубинский и Л. В. Щерба). Не приходится доказывать, что подобные построения не обладают свойством обязательности для говорящего, у них отсутствует повторяемость, какая-либо частотность.

Совсем другое дело — те синтаксические разговорные конструкции, которые способствуют формированию устно-разговорной разновидности литературного языка как его особого стиля. Эти конструкции являются правильными стереотипами, они высоко частотны и обязательны для говорящего (при прочих равных условиях). Ими так насыщена современная разговорная речь, что она становится типизированной, далекой от индивидуального произвола говорящего (разумеется, речь идет лишь о выражении тех понятийных формул, которые передаются сейчас посредством синтаксических стереотипов).

Структурным контрастом произвольным индивидуальным обрывам фразы и самоперебивам служит, например, стереотипная вопросная конструкция с расположением вопросительного слова, несущая законченную интонацию вопроса, в средине фразы, с последующим ее продолжением за счет коммуникативно менее важной части (типа: — *А что, приехала, да? Иванова*; — *У вас тесьма есть? желтая*; — *Сколько туда? минут пятнадцать, да? ехать*; — *Ну и что? Она будет за свой счет, да? сидеть*)[28]. Структурным контрастом первой из приведенных выше фраз с ассоциативным нанизыванием слов служит двувершинный принцип словорасположения, основанный на разъединении слов, относящихся к коммуникативному центру сообщения, другими, менее коммуникативно значимыми словами, часто служебными; при этом разъединяемые слова выделяются и собственно произносительными средствами — интонацией, динамикой, темпом речи (типа: — *Я позвонил как раз тогда, когда у Сереги разгáр был болéзни*; — *Она óчень всем нрáвится*; — *Публика ревела и плакала от*

реф. канд. диссерт., Л., 1955), где на стр. 14 говорится о «присоединительных структурах», обусловленных «недостаточной сформированностью предложений», которая в свою очередь является «одной из наиболее характерных особенностей диалогической речи».

[27] Здесь и далее материалом для исследования служат непосредственные записи живой разговорной речи различных слоев населения Москвы (и отчасти других городов), выполненные автором в обстановке непринужденного бытового общения. Тире перед фразой означает ее принадлежность к диалогической речи, отсутствие тире — к монологической. Запятыми обозначается интонационно-ритмическое членение речи, в общем соответствующее обычному литературному. В случаях отсутствия ритмического членения запятые опускаются.

[28] Фразы этого типа более подробно описаны в статье: О. А. Лаптева, Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций в разговорной речи, сб. «Развитие синтаксиса современного русского языка» (в печати).

восторга. Стра́шно был весе́лый семинар. С местоимениями *такой, никакой*, играющими роль эмфатически-усилительного слова: — *Таки́е там запа́сы!; — Таки́х там не́т вещей; — Тако́й был шу́м; — Така́я была хоро́шая погода; — Смотрю — никаких там нет тарелок*). По тому же принципу двувершинности располагается предицируемое слово — обычно прилагательное или местоимение [типа: — *Там, между прочим, чуде́сное было перо́; — Статья была в «Неделе». Очень интере́сная была статья́; — Наро́ду было мно́го очень; — Мы старые с вами знакомые* (радио, передача «С добрым утром»); — *Метро́ там у вас поблизости како́е? — Что? — Метро́ поблизости како́е у вас?*).

Еще одним структурным контрастом этой же первой фразе, но уже в другом отношении, может служить так называемая конструкция добавления, где местоименное слово, играющее роль подлежащего, конкретизируется путем употребления замещаемого им существительного в последней части высказывания (типа: — *Она почем навага?; — Она где тарелка?; — Они все такие иголки; — Ты их положи пряники в общую вазу; Как в коридоре кому-нибудь звонит, и там звонит, они оба звонят телефоны; — Закройте дверь. — А кто ее держит дверь?* [29]).

Перечислим здесь еще некоторые структурные синтаксические признаки устно-разговорной разновидности литературного языка. Это широко употребляемый и многообразно оформляемый вынос в инициальное положение темы высказывания (типа: — *Маша и я, мы с ней ели рыбу; — Эти-то здоровые трубы, которые здесь были натянуты, мы их сняли все; — Вот в которой банке мы купили ветчину, она так удобна для кулича; — Внизу которая, она распечатана; — А вот у маминого брата у твоего, у него жена работала?; — Вот эта вот, которую я пересадил вишенка, она плохо идет*). Затем, это особый способ оформления вопроса путем расположения слова, относительно которого ставится вопрос, в самом начале фразы или непосредственно после части фразы, содержащей глагол в значении побудительного наклонения; часто это слово вопреки требованиям синтаксиса данного предложения имеет форму именительного падежа (типа: — *Вы не скажете, седьмая поликлиника?; — Вы не скажете, Пассаж — как мне пройти?* [30]; — *Клав, зеленая полоска есть у нас поплин?;* ср. еще: — *А вторую завалили палочку, да?; — А чем открыть там есть?*). Затем, это особый тип бессоюзного подчинения, особенно широко распространенный в однофразовых вопросных репликах (типа: — *Где авоська тут лежала?; — Куда девался карандаш она таскала?; — Он спал ты пришел?; — Мы сядем под дерево, дождь пойдет?; — У тебя есть мелочь ему дать?* [31]). Далее, это чрезвычайно распространенная в устной речи постпозиция согласованного определения-прилагательного, кстати, весьма широко представленная в русских памятниках XII—XV вв. (типа: — *А хлеба у нас черного совсем нет?; — Два сырка шоколадных пожалуйста; — Могли бы в вашем ресторане сделать торт заказной?; — Нина Иванов-*

[29] Эти конструкции описаны в статье: О. А. Лаптева, О структурных компонентах разговорной речи, «Р. яз. в нац. шк.», 1965, 5. Подобный же материал приводится в работе: А. А. Никольский, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, Душанбе, 1964, стр. 16.

[30] Эти конструкции были отмечены М. В. Пановым (указ. соч., стр. 8).

[31] Подробнее см. в указанной выше статье «Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций...». Некоторые из перечисленных здесь явлений, правда, без должной дифференциации и анализа, приводятся в статье: O. Kafková, K lineárnímu typu řadění větných členů a celků v mluvené ruštině («Československá rusistika», X, 1965, 2). Здесь же высказывается традиционная мысль о «слабой грамматической организации» приводимых конструкций (стр. 88). Впрочем это мнение находит известную поддержку в приводимом в статье материале, поскольку в ней в одном ряду называются и типизированные, и нетипизированные конструкции окказионального характера (см. хотя бы стр. 86).

на, у вас есть телефон домашний Антипова?; —Носочки, тапочки беленькие наденут;— Смотри, какими я ломтиками аккуратными себе делаю). Затем, это особый тип вопросных конструкций с выносом прилагательного в инициальную позицию и с характерным его интонированием на нисходящем тоне (типа:— *А ленинградские есть у вас краски?;— А у тебя чистой нет рубахи?)*. Здесь же следует отметить широко представленное в устной речи вообще повторение предлога при постпозитивном прилагательном (типа:— *Боря, я к тебе в следующий раз с хной со своей приду;— Там у них целый вообще угол и с елочками маленькими, ужас.— На коньках на фигурных какие-то есть у нее коньки;— Ты можешь разбавить вон, там есть в бутылке в большой;— За чем эта очередь?— За кофточками за шерстяными.* Ср. еще:— *Всю жизнь он был Свердлóв. Теперь почему-то переделали в Свéрдлова по аналогии со Свердлиным с артистом*[32]). Можно назвать еще некоторые широко употребляемые сейчас в устно-разговорной практике некодифицированные конструкции обращения, стоящие на грани с условными предложениями (типа:— *Кто не взял билеты опускайте в кассу;— Садитесь кто желающий; — Вон катушку сюда передайте кто там сможет это сделать;— Пять рублей разменяете кто-нибудь?*; — *Копеечку не опускайте у кого есть; У кого имеются гантели, возьмите их в руки* (радиозарядка)*; У кого были гантели, положите их* (там же);— *Кому Рижский вокзал выходите сейчас;— Аккуратно и правильно оплачивайте молодежь вошедшая!*;— *На задней площадке, проходите пожалуйста вперед;* и даже:— *На банках как фамилия*? (в поликлинике); — *С чемоданом опускайте монету! Гражданин! С чемоданом!*)

Следует заметить, что не все приведенные особенности в равной мере характеризуют устно-разговорную форму как особую разновидность современного литературного языка. Так, постпозиция прилагательного-определения, равно как и повторение предлога при нем, широко распространены в современных говорах и обильно представлены в древнерусских памятниках письменности. Мы привели их в числе структурных компонентов устно-разговорной разновидности литературного языка по причине весьма высокой частотности их употребления и связанным с ней свойством нормативности, а также из-за четкости их строевой организации.

Составляют ли перечисленные здесь явления «закрытый список»? Исчерпывается ли ими вся сумма синтаксических конструкций, употребляемых в устно-разговорной речи? Нет, конечно. Как и другие функциональные разновидности литературного языка, устно-разговорная речь располагает огромной массой средств стилистически нейтральных, немаркированных, не обладающих свойством синонимического варьирования по стилям. Именно это и позволяет различным стилям входить в общую для всех них единую систему систем — национальный литературный язык[33].

2

Каким образом на базе окказиональных, слабооформленных конструкций устной речи формируются структурно завершенные синтаксические конструкции, получающие широкое распространение и организующиеся в

---

[32] Подобный материал приводится в указ. работе А. А. Никольского.

[33] Описание стиля может строиться по двум различным принципам — либо путем фронтального описания всех входящих в него языковых средств, либо путем описания лишь его различительных признаков. В первом случае может быть достигнута известная полнота номенклатуры, зато останется без освещения момент синонимической соотносительности данного стиля с другими; во втором случае, напротив, будет заострен второй аспект. Здесь мы исходили из задач второго способа описания и из соответствующего круга вопросов.

структурно однотипные ряды[34], удобно показать на примере явления, которое можно было бы назвать экспансией именительного падежа[35].

Явление это имеет в современном языке широкие соответствия и за пределами тех конструкций, о которых пойдет речь, что создает для этих последних весьма благоприятный фон и способствует усилению их продуктивности. В целом вся относящаяся сюда сумма явлений уже получила название усиления агглютинативности[36], ослабления грамматической спаянности компонентов различных цельнооформленных языковых единиц. В литературе последних лет получили описание такие синтаксические структуры, как *партия Таль—Смыслов*, *счет три ноль*, *улица Чехова 10* и под., в которых не реализуются словоизменительные возможности членов словосочетания и которые строятся по принципу примыкания[37] (ср. еще: *это уже не 2.50 потолки*; *самый из них дешевый и тот 4.50 бутылка*). Обращалось внимание и на ослабление связей частей слова в некоторых словообразовательных моделях[38]. Ослабление словоизменительных возможностей слова проявляется и в чрезвычайно широко распространенном в современном реальном речеупотреблении отсутствии склонения у топонимических названий [ср.: *в Любляне или Сараево* (радио, последн. изв.)][39], чему способствует и распространение конструкций без родового наименования (ср.: *на Арбате рядом с Вахтангова; лежал на Ляпунова;— Вы на Ляпунова не пользовались питанием в клинике?— На Кирова и Богдана Хмельницкого;— Кирова 10*). Здесь же можно назвать расширение сферы употребления смыслового согласования сказуемого и подлежащего [ср.: *Между ними имеются* ***ряд*** *существенных различий* (из научной статьи); *Довольно большое* ***число*** *актуальных явлений обозначались глаголами* (из научной статьи); *были проведены* ***ряд*** *совещаний* (из выступления радиокомментатора); *В связи с изданием новых журналов возникли целый* ***ряд*** *трудностей* (из выступления на собрании)] и многие другие весьма различные по своей грамматической природе явления.

---

[34] Эти ряды могут включать в свой состав и такие конструкции, которые свойственны устной речи вообще. Таким образом, одна и та же конструкция может принадлежать и устной речи вообще, и формирующейся устно-разговорной разновидности литературного языка: в последнем случае существенно ее вхождение в ряд однотипных конструкций.

[35] А. А. Леонтьев предпочитает для явлений этого рода говорить о «частичном эллипсе» — «снятии падежных противопоставлений» (А. А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности, М., 1965, стр. 202). Нам представляется более удобным наше определение, поскольку эллиптичность (даже и в самом широком понимании, предложенном А. А. Леонтьевым) можно усматривать далеко не у всех структур данного ряда, а для «снятия падежных противопоставлений» следовало бы указать пути его осуществления.

[36] См.: «Русский язык и советское общество. Проспект», Алма-Ата, 1962.

[37] Н. Ю. Шведова, О некоторых активных процессах в современном русском синтаксисе (Наблюдения над языком газеты), ВЯ, 1964, 2, стр. 10—12; Н. А. Янко-Триницкая, Проблема номер один, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964.

[38] Е. А. Земская, указ. соч.; ее же, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964.

[39] Ср. из современного студенческого фольклора:

Так вышло, что в Измайлово
Живут мои друзья.
Так вышло, что Измайлово
Измайловым зовут.
В Измайлово, в Измайлово
Друзья мои живут.

Характерно, что стремление к слиянию с формой именительного падежа обнаруживают не все падежные формы (ср. в этом шестистишии формы творительного и предложного падежей).

Здесь мы рассмотрим более подробно, как тенденция к «склеиванию», к самостоятельности организованных в грамматическое целое синтаксических единиц проявляется в современной разговорной речи в сфере предложения, прежде всего простого.

Известно, что и в устной и в письменной речи, в различных стилях и жанрах литературного языка получил широкое распространение так называемый именительный темы (или «именительный представления», или «лекторский именительный») — конструкция, в которой главный член предложения в форме именительного падежа выносится в инициальную позицию, а продолжение предложения вводится через согласованное с ним личное местоимение (ср. пример из Гоголя, приводимый А. М. Пешковским: «Квартальный поручик, он высокого роста»). В современной разговорной речи в составе подобного именительного темы может выступать глагол-связка или — реже — глагольное сказуемое (ср.:— *У нас одна была старушка, она говорит:...;— У меня вот еще потом были розы, они все у меня...*). Эти мало отличающиеся от кодифицированных конструкции могут, однако, существенно препарироваться. Оформленная в виде именительного «самостоятельного» часть предложения приобретает способность быть не только грамматически главенствующим членом предложения, но и любым другим его членом. Часто она оказывается в позиции грамматического объекта действия и выполняет функцию сильноуправляемого члена. Ср.:— *Принеси под полой нашей палатки увидишь мыльница белая такая;— У Наташки шуба дед перестал носить отдали перебрали и выбрали.* Интонационное строение подобных предложений обычно характеризуется наличием двух отдельно интонируемых групп — именительного темы и остальной части предложения. При этом внутри этих групп интонирование может быть более или менее дробным — это зависит от коммуникативных задач сообщения, темпа речи, эмоционального отношения к собеседнику и других факторов; существенно наличие самих этих двух центров. (Впрочем при достаточно быстрой речи, если к тому же есть другие непременно интонационно выделенные группы — обращение, повтор и др.— интонационное выделение этих двух центров может затушевываться.)

В приведенных примерах именительный темы не имеет глагольного члена, однако потенциально глагольность в нем присутствует (в первом случае употреблено легко получающее сказуемость указательное местоимение, во втором — «бытийная» конструкция с родительным с предлогом *у*). Чаще встречаются конструкции с выраженным глагольным членом в составе именительного темы, т. е. еще дальше отстоящие от соответствующего кодифицированного типа. Ср.:— *Вот такая если тебе попадется клеенка, К., как у С., купи 4 метра; А я уж думала не купить ли мне такая полочка продается в «Детском мире»;— А., ты случайно не утащил никуда иголка тут у меня была с белой ниткой?;— Ой, А., я палочку забыла, дай-ка вон около тебя палочка лежит;— Она ушла.— Она не ушла, она отпускает, перед вами стоял товарищ.* Как видно, подобные конструкции легко утрачивают инициальность именительного темы, что объясняется утратой им функции главенствующего члена предложения.

Возможность служить объектным членом простирается у именительного темы еще дальше в конструкциях, построенных в отличие от рассмотренных с соблюдением основного принципа кодифицированных предложений с именительным представления, т. е. с употреблением коррелятивного личного местоимения (или другого коррелирующего слова), однако с нарушением другого принципа — согласования этого местоимения со словом в именительном падеже. Практически в таких конструкциях именительный темы может замещать собой любую падежную форму.

Ср.:— *А как еще братик у тебя есть зовут е г о?*;—*А вот это, брат тети Т., там у н е г о большая пушка была;* — *Она с пяти лет у них во дворе француженка жена повара она у н е е училась;*—*А ребята эти, которые играют в командах, сколько им лет?*;— *А деду, кажется, дадут квартиру там рядом строится еще один новый дом вот в н е м.* Ср. с коррелирующим субстантивом: *Мы там остановились в одном месте у ее з н а к о м о й вроде вашей М. эстонка.* С коррелирующим наречием:— *А вот наша перед этим стоянка которая, разве т а м было близко от берега?;* — *Ну, давайте 20 копеек.— Возьми у меня | кошелек во внутреннем кармане т а м найди 20 копеек.* Последнюю фразу в отрыве от реальных условий осуществления речи можно было бы понять как *Возьми у меня кошелек во внутреннем кармане, там найди 20 копеек*, однако на именительный темы здесь указывает пауза перед ним и интонирование начальной части фразы.

Именительный темы может выступать изолированно от остальной части предложения в ответной реплике, становясь таким образом аналогом предложения в составе сложного диалогического единства. При этом он также занимает позицию других падежных форм. Ср.:— *Она в информационном отделе работала.— В каком? — Информационный, есть такой отдел;— А где у вас вельвет?— За нами отдел;* — *А где находится агитпункт? — В издательстве около зеркала комната большая.*

Широко и регулярно употребляется именительный темы в однофразовых вопросных репликах. Кодифицированные конструкции типа — *Первое сентября, это какой день недели?* получают в устной речи расширительное употребление, выходя за рамки грамматической «правильности» синтаксической структуры. Здесь именительный темы регулярно употребляется и в функции главного члена, и в объектных позициях, причем это не нарушает единства модели. Ср. такой ряд:— *Скажите, Красная площадь пройти, где мне можно?;— Вы выходите дом обуви?;— Вы мне не скажете оптика большой магазин где мне сойти?;— Вы не скажете готовое платье где здесь магазин?;— Вы не скажете обувная мастерская?;— По ремонту приемников мастерская не знаете?;— Скажите, а где здесь министерство связи дом?* Конструкции подобного типа вполне стереотипизировались, они имеют четкое и всякий раз точно воспроизводимое строение: глагольное слово (но не в форме повелительного наклонения) интонируется на восходящем тоне, именительный темы — на нисходящем; глагольное слово и именительный темы находятся в непосредственном соседстве, порядок их взаимоследования может варьироваться; других слов во фразе обычно не бывает или бывает очень немного, поскольку основное содержание (рема) вопросной фразы выражается именительным «темы» (уже здесь видна вся условность этого термина). Именно эта структурная простота объединяемых здесь вопросных реплик, их шаблонизированный характер позволяет обойти вопрос о том, нет ли в некоторых из приведенных примеров «скрытых» сложных предложений, эллиптических структур (об этом говорит «классическая» по своей лаконичности конструкция — *По ремонту приемников мастерская не знаете?*), не употреблена ли в последнем примере из приведенного выше ряда форма родительного падежа и т. д. Их объединяет строгая организация в пределах ряда структурно близких единиц, каждая из приведенных конструкций укрепляет своим существованием стереотипность соседней. Вот еще два подобных примера с интонационной организацией, близкой к рассмотренным выше конструкциям с глаголом в форме повелительного наклонения:— *А маме какой размер рубашечку ты купил?;— Скажите, какой размер резиновые пояса у вас?* Здесь зачин фразы произносится на нисходящем тоне, остальная часть фразы (начиная со слова *какой*) — на восходящем, понижающемся к концу фразы.

Другая разновидность однофразовых вопросных реплик, включающих в своей состав «бытийное» глагольное слово, также имеет два интонационных варианта: с нисходящей интонацией на именительном темы, если он предшествует глагольному слову, и с плавно понижающейся интонацией на второй части фразы, включающей и именительный темы, если глагольное слово предшествует ему. При этом степень интонационного перепада, разрыва может быть различной. Ср.:— *А сахар большие пачки. У вас нету?;— Клав, зеленая полоска есть у нас поплин?* Ср. без глагольного слова:— *Вы не знаете, на Лужниках елка платный вход?* С другими глагольными словами:— *С добрым утром не пора радио включать?*; — *Пора любви вы смотрели кино?* Другой интонационный вариант: — *С., а сколько метров комната была твоя приблизительно?*;— *У тебя нет черного шнура кусочек?*. В свете сказанного ясно, что последняя из этих фраз членится на две части; граница между ними после слова *нет*.

Возможно и эллиптическое опущение глагольного слова (в случае, когда оно легко восстанавливается из контекста речи):— *С., чешская байдарка такая серебряная оболочка* (имеется в виду: как называется?). Экспансия именительного простирается даже на конструкции, где вопросительным словом является наречие.— *Университет здесь?*— такой вопрос можно услышать при входе в поезд у станции метро Дзержинская, он эквивалентен кодифицированному — *До (к) университета (-у) сюда?*

Актуализации именительного темы может способствовать употребление местоимения *который*, ср.:— *Т., где у вас который кофе в пакетиках?* При этом, даже если сохраняется общее строение сложноподчиненного предложения, падеж этого местоимения может быть именительным — в силу согласования с именительным темы, ср.:— *Это вторая приемщица, которая вы первый раз мерили костюм.*

Весьма интересна возможность употребления винительного на месте именительного темы. Ср.: — *Ю., а эту шапку теперь так и нельзя ушки спускать?*;— *И., вот такую баночку, как ты покупала, сколько на 8 человек надо?* Видимо, при употреблении конструкций с именительным темы еще не отпала окончательно потребность в словоизменении, в употреблении косвенного падежа. Избирается винительный — косвенный, но наиболее близкий к именительному по своей «абсолютивности» падеж[40].

По модели «раздельнооформленности», введенной в предложение расширительным употреблением именительного темы, начинают оформляться члены предложения, не являющиеся именительным темы. Экспансия именительного падежа распространяется на отдельные компоненты предложения, у которых нет какой-либо тенденции к обособленности, к выводу за пределы основной части фразы. В результате активизируются конструкции, где именительный падеж выступает в позиции различных косвенных падежей в рамках единого синтаксически тесно спаянного комплекса. В условиях такой тесной спаянности, а также простоты строения и высокой степени обязательности исходной синтаксической модели ослабление подлежащих морфологическому выражению связей ее членов при употреблении именительного падежа в несвойственной ему позиции проявляется наиболее отчетливо. Сейчас в устной речи высокочастотны такие, например, конструкции, где именительный падеж занимает положение сильноуправляемой формы:— *Вы не видели белая собака?*; —

[40] Близость винительного падежа к именительному подтверждается многими синтаксическими фактами. Из области принципов расположения древнерусского прилагательного см.: О. А. Лаптева, Расположение одиночного качественного прилагательного в составе атрибутивного словосочетания в русских текстах XI—XVIII вв. Автореф. канд. диссерт., М.,1963; ее же, О некоторых изменениях порядка слов в древнерусском языке, ФН, 1959, 3.

А вчера вы видели тут сестра-хозяйка?;— Вы мне дадите вот именно веточка и все;— Отгрохали домина какой;— Хочешь, я тебе куплю такую как вот у него голубая изогнутая?;—П., коса за сараем убрать?;—Вам не нужно Леонтьева книга «Слово в речевой деятельности»?;— Вы выходите Трифоновская?;— Следующая выходите?;— Я уже смотрела Война и мир;— А женщины которые хлопок и шелк собирают — авансируем (пример И. Н. Егоровой); *мы советуем вам посмотреть жемчужина наших гор это Эльбрус* (радиоинтервью с молодым туристом); с обстоятельственным значением:— *Они уже неделя стоят; — А я вот здесь у них беру черная. Кипячу и не отходит. Черная жидкость-то такая;— Подай вон сумка Анны Васильевны;— Что вам взять, батон?— Ну, батон, или хала будет если.* Последние три примера еще обнаруживают конструктивную связь с предложениями с именительным темы. В первом из них добавляется специальное разъяснение именительного, во втором употреблена актуализирующая указательная частица *вон*, в третьем употребление именительного падежа получает конструктивное оправдание последующим добавлением глагола-сказуемого и подчинительного союза. Подобное же устремление к подчинительной конструкции можно было бы усмотреть в примере — *Они уже неделя стоят* (≈ — *Они уже неделя как стоят*), однако подобное толкование за счет эллипсиса требовало бы для своего подтверждения существования иного структурного ряда.

Активизацию синтаксических связей, не получающих морфологического выражения (т. е. связей типа примыкания), за счет связей морфологически выраженных особенно интересно наблюдать в конструкциях, где сталкиваются две формы именительного падежа — одна в синтаксически независимой позиции, а другая в исходно от нее зависимой; независимость этой последней достигается уже в составе данных конструкций как путем употребления именно этой падежной формы, так и путем выноса ее в положение перед исходно независимой формой именительного падежа, в чем проявляется связь таких конструкций с конструкцией именительного темы. Ср.:— *У нас есть дома соломка коробка;— А чай у меня где пачка?;— У вас крабы не сохранились коробка?;— Там есть крабы баночка одна;— У нас газ уже последний баллончик.— Что? — Газ последний баллончик;— Ребята, имеется пшенная каша остаток;— А мужики большинство все-таки очень плохо одеваются.* Без глагола:— *Дядя К.! Сырая резина остатки;— Ташицкий у нас там, Роспонд статья.* Лишь в одном случае зарегистрировано постпозитивное расположение исходно зависимого именительного:— *Корова-то тут хорошая порода.*

Вполне идентичное строение имеют конструкции с двумя винительными падежами, из которых один соответствует своей исходной позиции, а другой замещает, как и в случае с двумя именительными, родительный падеж. «Зависимый» винительный здесь также препозитивен. В сущности эти конструкции отличаются от конструкций с двумя именительными лишь наличием сильноуправляющего глагола. Ср.:— *Подайте пожалуйста уксус бутылочку;— Шампанское бутылочку дайте пожалуйста;— Я достану молоко бидон!— Нембутал сегодня таблетку возьму;— Девочки, возьмите сатин остатки!; — Возьми два сырка и молоко пакетик.* Без глагола:— *Творог пачечку.*

В общем как будто можно утверждать, что именительный падеж единичного имени встречается в устной речи в любых предложных и беспредложных падежных позициях. В наших записях отсутствуют лишь ясные примеры на позицию дательного падежа — возможно, из-за его низкой частотности. Приведем некоторый материал.

Позиция винительного с предлогом. *Рубль восемьдесят яйца пожалуйста!;— Мне тонких тетрадочек. Сколько нужно*

пробить 5 штук?— Тонких? 10 копеек;— Это ВСХВ идет туда, да? (вопрос о том, куда идет троллейбус);— *Вон там повернете в конце и налево улица поедете;— У нас найдется пакетик?— Пять копеек купите пакет;— Шестнадцать, девятнадцать мороженое.— В вафлях, да? девятнадцать; — Очень давнишние. — Это какие давнишние: петли подымать или ремонт?; Мы тоже ребят уводили полтора километра от дома нашего деревня.*

Позиция родительного без предлога.— *Сколько мне надо шерсть купить на кофточку?— Шесть мотков пятирублевая пряжа; — Лук остался, салат немножечко; — Та-то ладно, та-то у нее есть экземпляр.*

Позиция родительного с предлогом.— *Справа стопка можно брать!* (т. е. бумагу из нее);— *Поедете дальше, там большой дом сойдете;— у Мишки это было и у моей подруги тоже сын; Сядете на площади Революции и доедете Автозаводская метро.*

Позиция творительного без предлога и с предлогом.— *Кто он? — А вот Наташа сидит наш стол, а за следующим столом физик сидит Павелинский;— Мы с ней вся семья ругаемся;— С А. тоже было. В прошлом году я с ним тоже ходила больной зуб* (ср.:— *Мне нужно глазное дно к врачу);— Помните, вот та женщина внематочная беременность* (ср.: *вот та женщина красный платок); у нас на первом этаже была квартира во двор окна.*

Позиция предложного падежа.— *Заколки невидимки есть?— Напротив отдел надо спрашивать;— Чего это?— Лодочка.— А где кататься-то лодочка-то?;—Где это ты купила?— У нас на работе магазин рядом*[41].

Как видно из примеров, рассматриваемая форма именительного падежа может иметь и приглагольный, и присубстантивный характер.

В дополнение к рассмотренным случаям отступления от связей управления приведем некоторые случаи нарушения согласования. Прежде всего отметим употребление указательного местоимения *это* именно в такой наиболее нейтральной к согласованию форме. Ср.:— *Это по 25 копеек мягкие батоны?;— Это тоньше гораздо капрон;— Это у нас давно фильм шел; И еще заставлял пиджак вот это что у меня висит делать.*

Принцип максимальной синтаксической сепаратизации и параллельного оформления синтаксически неоднородных единиц проявляется и в таких фактах:— *У меня у отца день рождения в пятницу;— У меня у девочек грипп* (ср. еще:— *Она обмелела Белая сейчас. Это надо в июле в начале. А в августе уже мало воды*).

*

Принцип ослабления морфологизма в выражении синтаксических отношений и соответствующей активизации связей типа примыкания, проиллюстрированный здесь на примере экспансии именительного падежа в сфере простого предложения, видимо, пронизывает самые различные области современного разговорного синтаксиса. Под его воздействием оказывается и сфера словосочетания, и сфера простого и сложного предложения, где возникают новые структурные модели, новые типы синтаксических отношений, варьируются и обогащаются способы соединения слов по типу примыкания. Из области словосочетаний назовем здесь ши-

[41] В следующих двух примерах именительный можно было бы рассматривать как занимающий позицию дательного падежа, однако здесь имеются признаки его обособления:— *Сейчас состоится лекция. Все желающие |надо сдать книги обязательно и пройти в третий подъезд;— И говорит моей соседке | Анна Ивановна вот напротив| мне срочно нужно 50 рублей.*

рокие возможности атрибуции по типу несогласованного определения, где в функции такого определения (resp. предиката в составе предложения) могут выступать как самые разнообразные словосочетания (ср. в таком споре:— *Ах, десять минут, это твоя зарядка десять минут, а моя пятнадцать и двадцать. — Десять минут зарядка!*), так и целые предложения (ср.: — *Вот этот домик маленький почтальонша наша живет*).

В сфере предложений возможность нанизывания типа — *Вчера передавали Здоровье журнал первый выпуск* не оставляет без последствий самые глубинные области организации предложения, затрагивает самый его костяк. При этом смещаются границы простого и сложного предложения [как, например, «разобрать» такое предложение:— *А теперь ей приехать ты занята в это время нельзя?;— Из своего или из нашего будете шить?— А из вашего вот интересно посмотреть какие есть расцветки* (радиорепортаж)], нарушается отчетливость взаимосвязей членов предложения (например, в предложении — *С левой стороны мамаша не давайте ребенку высовываться* словосочетание *с левой стороны* не обнаруживает отчетливой прикрепленности ни к одному из членов предложения, а также и к предложению в целом; в предложении — *Своевременно и правильно оплачивайте свой проезд четыре копейки* последние два слова тоже присоединяются к предложению по какому-то особому способу). С одной стороны, наблюдается явная ослабленность синтаксических связей (ср. также полную идентичность различных в структурном отношении вариантов типа *У кого нет разменной монеты, вы можете приобрести* [*приобретайте, у водителя имеются*] *абонементные книжечки*; ср. еще ослабление связей придаточного предложения с главным типа — *Вот я когда туда приехал, там есть такой институт, ведает международными отношениями*), с другой — возникновение самых различных, достаточно четко оформленных структур. Здесь назовем: употребление глагола непосредственно при объектном члене (ср.:— *Мы когда уезжали с Серегой, видели тоже один очень низко летел самолет;— Зина своего сына пристроила Асин муж поехал;— Он от вас-то куда ушел?— От нас он ушел у дяди жил;— Вот когда я пришла молодой специалист была...*), двойные связи инфинитива (ср.:— *Еще его можно настой заварить;— Девушка, сколько сюда войдет выбивать, а?;— Всякие глупости говорите, всякие пошлости вас слушать*), присоединение по типу примыкания слова в именительном падеже, превосходящего по своей синтаксической емкости отдельный член предложения (ср.:— *Это костры жгут дым;— Смотри-ка, какие силы — Саратовский театр!*), расширение способов предикации путем предицирования целого предложения (ср.:— *Они такие скошенные?— Нет, скошенные это я польские видела такие*), расширение способов согласования глагольных времен (ср.:— *Вот почему я в прошлом году ездил и поезд идет 48 часов?*) — и мн. др.

Давно известно, что многие и многие языковые инновации зарождаются в разговорной речи. В языке постоянно наблюдаются центростремительные тенденции, движение от подвижного и меняющегося к более консервативному и устойчивому. В этом аспекте представляется особенно существенным изучение периферийных областей функционирования современного литературного языка[42].

[42] Автор статьи очень признателен акад. В. В. Виноградову, Н. Ю. Шведовой, М. В. Панову, Е. А. Иванчиковой, В. Г. Костомарову, Т. Г. Винокур, Е. А. Земской, О. Б. Сиротининой, Н. И. Толстому, Ю. В. Рождественскому, Г. Ф. Благовой и М. М. Маковскому, которые прочли статью в рукописи и высказали ряд ценных и важных соображений.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

М. МОЛЛОВА

К ИСТОРИИ ТЮРКСКОГО ВОКАЛИЗМА

Многие тюркологи старались дать объяснение различиям, существующим в вокализме словарных соответствий в ряде тюркских языков. Отправным пунктом подобных объяснений служили обычно либо вокализм слов в древних письменных памятниках, либо общность системы гласных в тюркских языках, либо, наконец, сопоставление с другими алтайскими языками; недавно А. М. Щербак указал на роль, которую количество гласных и монофтонгизация дифтонгов играли в истории тюркского вокализма[1].

Произвольная интерпретация явлений вокализма нередко наблюдается особенно в диалектологических исследованиях, где подчас тот или иной диалект рассматривается как ответвление данного литературного языка и соответственно все различия в диалектах — как результат дробления литературного языка[2]. Именно исходя из данных литературного языка обычно говорят о лабиализации и делабиализации, о падении гласных и согласных, о метатезе и т. д.

Ясно, что подобный способ анализа тех значительных различий, которые существуют в вокализме тюркских языков и диалектов, не может привести к удовлетворительным выводам. Нет сомнения в том, что сравнивать различные языки и диалекты, а также различные древние памятники — весьма полезно. Однако нет никаких оснований считать данную гласную, наблюдаемую в определенной позиции в одном языке, прототипом другой гласной, встречаемой в той же позиции в другом тюркском языке. Все эти соображения обусловливают необходимость искать иные пути к рассмотрению проблемы тюркского вокализма; при этом учитываются гипотезы И. ван Гиннекена и И. Крамского, признающих тюркский вокализм диахронически зависимым от консонантизма.

И. ван Гиннекен усматривает в развитии человеческих языков одну общую черту: первоначальным видом звуков во всех языках были кликсы (clics), из кликсов впоследствии развились согласные, а затем и гласные. Для подтверждения этого тезиса на материале тюркских языков ван Гиннекен обращается к следующему высказыванию Г. Шарафа: «Наряду со сравнительно недавно появившимся именным типом с его вокалическими вариантами звукоподражательные слова и междометия сохранили еще старый тип слов-корней, которые содержали только определенную последовательность смягченных, лабиовеляризованных и других со-

---

[1] А. М. Щербак, О тюркском вокализме, «Тюркологические исследования», М., 1963, стр. 27—32.

[2] Например, форма *baratyry* «он идет» в таласском говоре киргизского языка возводится к литературной форме *barat* (см.: Г. Бакинова, О монографическом описании диалектов киргизского языка, «Вопросы диалектологии тюркских языков», Баку, 1960, стр. 93). Применительно к межъязыковым отношениям можно привести чуваш. *кăмăл* «сердце», которое А. М. Щербак (указ. соч., стр. 36) возводит к **köŋül*. Здесь чуваш. *ă* только соответствует общетюркским *ö* и *ü*. Мы находим здесь соответствие, а не переход или чередование.

гласных, но совсем не имели гласных». Отсюда ван Гиннекен заключает: «В древнем типе уралоалтайских языков вовсе не было гласных, а наличествовали только фонемы-согласные... В тюркских языках... в сравнительно недавний период корни содержали только согласные; все согласные корни принадлежали к одной из четырех групп следующего тембра: нейтральные, смягченные, лабиовеляризованные или одновременно смягченные и лабиовеляризованные, причем в суффиксах содержалась фонема, близкая к гласной: *v* или *ʒ*, т. е. максимальное или минимальное открытие рта. Под влиянием тембра согласных корня эти звуки, напоминающие гласные, получили четыре различные фонетические реализации: после корня, содержащего нейтральные согласные, *v* суффиксов превращалось в *a*, *ʒ* — в *y*; после корня, содержащего смягченные согласные, *v* суффиксов превращалось в *ä*, *ʒ* — в *i*; после корня, содержащего лабиовеляризованные, *v* переходило в *o*, *ʒ* — в *u*; после корня, содержащего одновременно мягкие и лабиовеляризованные, *v* переходило в *ö*, *ʒ* — в *ü*.

Таким образом был сделан первый шаг к возникновению гласных. В следующий период был сделан и второй шаг в этом направлении: на основе фонологической реинтерпретации удалось связать в каждом случае одну из двух ступеней открытости с одним из четырех тембров согласных. Так были получены восемь новых психических единиц, и тогда и возникла очень интересная система, характеризующаяся четырьмя различными тембрами:

a	*ä*	*o*	*ö*
y	*i*	*u*	*ü*

или

o	*a*	*ö*	*ä*
u	*y*	*ü*	*i*

В связи с тем, что в более поздние периоды именно такая система гласных является очень типичной не только для корней западных тюркских языков, но также для корней и суффиксов, встречаемых в тюркских языках Восточной Европы и Средней Азии (langues turques du Milieu) и в восточных тюркских языках (например, очень явно в койбальском и карагасском), можно без малейшего риска заключить, что все тюркские языки первоначально прошли одинаковый путь развития, а затем указанная система гласных стала применяться и в корнях»[3].

Согласно И. Крамскому, тот факт, что в рунических памятниках согласный встречается либо вместе с гласным, либо без гласного, т. е. согласный имеет две значимости (слоговую и неслоговую), доказывает существование согласных различного тембра.

По Крамскому, для указанного периода мы располагаем четырьмя знаками для гласных:

	широкие	узкие	широкие	узкие
Гласные: задние	*a*	*ɣ*	*o*	*u*
Гласные: передние	*e*	*i*	*ö*	*ü*

Различия между этими парными гласными в период рунического алфавита были фонологически слабо выражены, что и объясняет отсутствие

[3] J. van Ginneken, La réconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité, Amsterdam, 1939, стр. 50—51.

различных знаков их выражения в древних алфавитах, использовавшихся тюрками. Перенося это положение на анализ гармонии гласных, И. Крамский заключает: «Тем не менее с диахронической точки зрения мы должны предположить совершенно другое соотношение между гласными и согласными: слоговой сингармонизм является совершенно естественным следствием словообразования в период, когда согласные представляли собой важнейшие компоненты слова; гласные же развились из мнимых гласных (Scheinvokalen), и, естественно, имеют тембр согласных, на основе которых они развились»[4]. Гипотеза И. Крамского сближается с теорией ван Гиннекена.

Различные гипотезы о причинах изменения или колебания (исходя из первоначально существовавших базовых слогов) гласных, наблюдаемые в различных современных тюркских языках, их диалектах и даже в словах одного и того же языка отвергаются М. А. Черкасским. Он отрицает, например, объяснение, основывающееся на свободном переходе одного гласного в другой, а также на лабиализации и делабиализации, на перекрытии гласных одного диалекта гласными другого, и предполагает, что в алтайских языках наряду с гармонией гласных, наряду с лабиальным сингармонизмом, существовала гармония по подъему и что эта последняя, вероятно, не носила фонологического характера. Именно этими лингвистическими причинами Черкасский объясняет существующие в настоящее время сингармонические вариации (например, в казахском: *šaqyr-šuqyr* «шум»); базы вариантов, использовавшиеся для дифференциации смысла, породили сингармонические параллелизмы; например, в казахском: *qara-* «смотреть» /*kör-* «видеть»/ *qor-* «охранять» /*qyraγy* «бдительный», а также *köz* «глаз»/ *küzet-* «охранять»[5].

В другой своей статье Черкасский показывает поляризацию тюркских гласных, выступающих в первом слоге в качестве смыслоразличительных фонем — *a*, *ä*, *o*, *ö*, *y*, *i*, *u*, *ü*, и гласных, употребляемых в непервом слоге в качестве смыслонеразличительных фонем, это:

(«широкая»)		(«узкая»)[6]	
a	*ä*	*y*	*i*
o	*ö*	*u*	*ü*

В вопросе о вокализме непервых слогов и в частности аффиксов М. А. Черкасский, однако, не учитывает некоторых деталей, которые можно сгруппировать следующим образом: 1) гласные верхнего и нижнего подъема могут сосуществовать в одной и той же морфеме (например, в турецком языке:

-ğak -ğäk -ğuk -ğük -ğyk -ğik
-čak -čäk -čuk -čük -čyk -čik);

2) если подходить к вопросу в сравнительном плане, то следует заметить, что в одном тюркском языке может наблюдаться функциональная морфе-

[4] J. Krámsky, Über den Ursprung und die Funktion der Vokalharmonie in den ural-altaischen Sprachen, ZDMG, 106 (N. F. 31), 1956, стр. 126, 127, 128.

[5] М. А. Черкасский, К вопросу о генезисе сингармонических вариантов и параллелизмов в тюркских языках, ВЯ, 1960, 4, стр. 59—61.

[6] М. А. Черкасский, Об особенностях фонологического строения тюркского вокализма, «Народы Азии и Африки», 1962, 5, стр. 145—148.

ма, содержащая гласные низкого подъема, а в другом тюркском языке та же функциональная морфема может содержать гласные высокого подъема, например, в турецком языке: *attan* «от лошади» (исходный пад.), в староузбекском: *atdin*; в турецком: *eti* «его мясо», в якутском: *ete*.

Указанные выше исследования, как нам представляется, позволяют полагать, что тюркский вокализм должен был пройти длинный путь формирования и дифференциации[7], прежде чем достичь современного состояния.

В эпоху существования тюркского праязыка или еще более отдаленную эпоху фонологической единицей был слог. Лексические единицы состояли из силлабофонем, где гласные и согласные фонологически не различались [8]. И если придерживаться теории сторонников генетической моносиллабичности тюркского слова, то следует принять, что в эту эпоху оно состояло из одной силлабофонемы.

Позднее образовались согласные. С этого времени именно согласные становятся основными фонологическими дифференциаторами. Гласные же еще не были фонемами, и обособление гласных как фонем происходит не одновременно с согласными, а после них.

Подтверждения этому можно найти, анализируя: 1) экспрессивно-стилистические и семантические параллелизмы; 2) гласные в рунической письменности; 3) явления сингармонизма; 4) нейтральные гласные.

1. Экспрессивно-стилистические и семантические параллелизмы. Термин этот не совсем удачен; тем не менее мы предпочли его «спонтанному чередованию» (Т. А. Бертагаев) или сингармоническим параллелизмам (Й. Балаша, Дж. Г. Киекбаев и М. А. Черкасский). Сингармонические параллелизмы и варианты, как правильно отмечает Бертагаев, не охватывают проблему в целом; кроме того, это не только фонетический вопрос. Спонтанное же чередование, хотя и уточнено Бертагаевым — «обычно это соответствие одной фонемы другой фонеме, а не взаимозаменяемость вариантов фонемы»[9],— касается скорее сегодняшнего состояния гласных в корне или основе, чем их генезиса, в то время как для нас это результат исторической нефонологичности гласных. Сравнительная стабильность согласных (которые тоже изменяются в зависимости от собственно лингвистических и экстралингвистических факторов) вместе с подвижностью их тембра благоприятствует употреблению различных гласных (например, архифонема [ɣ] может реализоваться или как [q], и тогда следующая за ней гласная будет велярной, или как [k], и тогда следующая за ней гласная будет палатальной). Возможно также, что благодаря свободному употреблению тембра существовало большое разнообразие в произношении гласных одного и того же слова [например, чагатайск. *tuča/tüčä* «член тела, оконечность, нога» (Rad., IV, 2200, 2224)]. Позднее в данной лингвистической среде тюркские слова начинают употребляться только с константными гласными. Утверждается тот гласный, который наиболее часто употребляется в данном слове. Наверное, так возникло, в общих чертах, различие систем гласных в отдельных тюркских языках. Конечно, фреквентность не единственный фактор при стабилизации гласных, но она один из самых ведущих факторов.

---

[7] А. М. Щербак (указ. соч., стр. 33), основываясь на предположении Радлова о том, что общетюркский язык-основа располагал восемью гласными (*а*, *о*, *и*, *у*, *ö*, *ä*, *ü*, *i*), утверждает, что, за исключением чувашского языка, эволюция тюркских гласных в общем «незначительна».

[8] Ср.: Г. С. Клычков, Типологическая гипотеза реконструкции индоевропейского праязыка, ВЯ, 1963, 5, стр. 5; В. К. Журавлев, Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода, ВЯ, 1963, 2, стр. 8—9.

[9] Т. А. Бертагаев, Чередование фонем и сингармонизм в агглютинативных языках, «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 139.

Процесс дифференциации тюркских гласных как фонем длился долго, причем в один из его периодов одно и то же слово уже реализовалось при помощи гласных с известными дифференциальными признаками. Эта особенность, длительное время существовавшая в тюркских языках, впоследствии стала служить для экспрессивно-стилистических и семантических целей. Следы этого можно найти в современных живых тюркских языках, как и в их письменных памятниках. Например, в турецком языке во взаимоотношении между *patyrdy* «шум; треск» и *pytyrdy* «слабый шум» Л. Базэн усматривает чередование[10], в то время как эти слова, вероятно, являются реликтом слабой фонологической дифференциации гласных. К группе таких слов надо причислить и так называемые парные слова (например, в казахском языке: *šaqyr-šuqyr* «шум», в которых согласные — одинаковы, а гласные — различны). В этих словах запечатлелась фонологическая несостоятельность гласных на том этапе их развития, когда гласные различались уже физически и физиологически, но их смыслоразличительная (дистинктивная) функция была еще слабой, т. е. тогда, когда гласные были не фонемами, а фонемоидами. Именно на этом этапе развития фонемоиды гласных начинают использоваться для филиации значения, в результате чего создаются семантические параллелизмы (например, в турецком языке: *kač-* «убегать», *göč-* «уезжать с квартиры», *geč-* «проходить»[11]).

2. Гласные в рунической письменности. В руническом письме в известной мере отразилась автономия согласных по отношению к гласным. Как известно, рунический алфавит состоит из палатальных и велярных согласных (*b — b'*, *g — g'*, *d — d'*, *j — j'*, *k — k'*, *l — l'*, *n — n'*, *r — r'*, *s — s'*, *t — t'*) и из «подвижных» согласных — *z*, *m*, *ñ*, *p*, *č*, *š*, которые могли произноситься мягко или твердо в зависимости от окружения. Исходя из приведенного состояния консонантизма, И. А. Батманов предполагает в орхонско-енисейских памятниках существование не восьми, а четырех гласных, зависящих от согласных, и признает тем самым доминирующими фонемами согласные, а не гласные[12]. Факт этот чрезвычайно важен тем, что оправдывает внефонологическую оппозицию палатальных и велярных гласных, постулируемую Крамским.

В период рунических памятников существовало всего лишь четыре гласные-архифонемы, а фонологическая дифференциация имелась между

a	*ä*	и	*o*	*ö*	, между	*a*	*ä*	и	*y*	*i*

и т. д. В функциональных морфемах продолжала существовать фонологическая нестабильность гласных.

3. Сингармонизм. Дальнейшим этапом развития гласных, видимо, была полная фонологическая дифференциация гласных в первых слогах слов. Эта дифференциация неокончательна в различных тюркских языках и диалектах, что свидетельствует о неравномерности развития тюркского вокализма в различных языковых ареалах. Эта неравномерность

---

[10] L. Bazin, Y a-t-il en turc des alternances vocaliques?, UAJb, XXXIII, 1—2, 1961, стр. 14—15.

[11] A. C. Emre, Samih Rifat'in dilbilginde mevkii ve nazariyesi, «Türk dili», 1933, стр. 13—18.

[12] Исходя, однако, далее из современных тюркологических работ, И. А. Батманов заключает, что согласные в языке енисейской письменности могли звучать «твердо» или «мягко» в зависимости от соседних гласных (И. А. Батманов, Язык енисейских памятников древнетюркской письменности, Фрунзе, 1955, стр. 32, 33).

особенно бросается в глаза при изучении сингармонизма и гармонии гласных.

Ж. Дени не делает различия между терминами «гармония гласных» и «сингармонизм», считая последний специфичным для русской лингвистики. Согласно Дени, это явление состоит в ассимиляции между гласными одного и того же слова, причем «эта ассимиляция является очень гармоничной, т. е. осуществляется на расстоянии, как бы над согласным»[13]. Ван Гиннекен различает гармонию гласных и сингармонизм в диахроническом плане. По его мнению, в тюркских языках восточной группы (алтайский, телеутский, диалект барабинских татар, кюэрикский, урянхайский и карагасский) еще не развилась гармония гласных в собственном смысле слова; в этих языках еще существует сингармонизм, т. е. гласные и согласные, видимо, взаимно гармонируют. «Однако,— пишет ван Гиннекен,— для носителей этих языков дело обстоит иначе. Для них гласные — нейтральны, а согласные корня являются единственными носителями смягченного, лабиовеляризованного и других тембров; гласные же играют роль зависимых вариантов»[14]. По мнению В. А. Богородицкого, Ф. Кязимова и др., основную роль здесь играет именно гармония гласных; при сингармонизме согласные зависят от гласных[15].

Признавая существование сингармонизма во всех тюркских языках, мы полагаем, что именно в связи с наличием сингармонизма можно говорить о гармонии гласных. Гармония гласных не осуществляется на расстоянии — «над согласными», как это утверждал Ж. Дени; напротив, она зависит от палатального, велярно-палатального или велярного тембра, который в равной степени характеризует как гласные, так и согласные. Следовательно, сингармонизм не тождествен гармонии гласных. Сингармонизм — это единство тембра, которое касается в равной степени гласных и согласных в слове. Здесь нет приоритета гласных перед согласными, как обычно допускают. Гласные и согласные в слове одновременно являются или палатальными, или велярно-палатальными, или велярными. Единство тембра, по-видимому, существовало и до формирования согласных и гласных как фонем. Тембр был существенным признаком силлабофонемы (силлабофонема, как уже говорилось, предшествовала фонологизации согласных и гласных). Теперь согласные и гласные в отношении палатальности, велярно-палатальности и велярности стали взаимозависимыми. Палатальный гласный следует за палатальным согласным, а велярный или велярно-палатальный гласные следуют соответственно за велярным или велярно-палатальным согласным. То же самое относится и к согласным. В заимствованиях отклонение от гармонии гласных может проявиться, например, вследствие изменения в тембре согласного. Турецк. *zevk* «вкус; удовольствие», заимствованное из арабского, образует вин. падеж *zevky* (а не *zevki*) в связи с велярно-палатальным характером *k* (хотя новое поколение произносит это слово как *zevk'* и resp. *zevki* — слово, таким образом, уже потеряло связь со своим прототипом).

Сингармонизм наличествует в любом сочетании гласного с согласным, образуя слово; для проявления сингармонизма не требуется существования двух или более слогов. Следовательно, сингармонизм характерен не только для функциональных морфем. Наверное, он не представляет собой «явление более позднее, чем чередование звуков» в односложных

---

[13] См. в кн.: «Les langues du monde», Paris, 1952, стр. 322.

[14] J. van Ginneken, указ. соч., стр. 50.

[15] См. об этом, например: В. А. Богородицкий, Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию, Казань, 1933, стр. 59; Ф. Кязимов, Принципы сингармонизма в азербайджанском языке, ИАН ОЛЯ, 1954, 1, стр. 92.

корнях[16]. Трудно согласиться также и с тем, что «возникновение сингармонизма вызвано ассимиляцией гласных звуков аффиксальных морфем, агглютинирующихся односложным корнем»[17]. В противном случае получается так, что сингармонизм начинается после завершения «чередования» гласных в односложных словах, т. е. после формирования гласных как фонем. По нашему мнению, возникновение фонетических вариантов функциональных морфем стало возможным благодаря существованию недифференцированных гласных и благодаря тембровому единству, необходимому для лексического и грамматического оформления слова. Это был не простой результат ассимиляции. Фонетические варианты функциональных морфем, по нашему убеждению, являются доказательством нефонологичности тюркских гласных (и согласных) в прошлом.

Вокализм современных тюркских языков имеет два подразделения: вокализм корня (или основы) и вокализм функциональной морфемы. Именно вокализм корня представлен наиболее полным набором фонем. Гласные же, выступающие в функциональных морфемах, являются слабым отражением вокализма корня. В фонологической системе данного тюркского языка эти гласные, в зависимости от характера морфем, в которые они входят, группируются в «архиморфонемы»[18]. В большинстве тюркских языков гласные *о*, *ö* не являются морфонемами (даже *u*, *ü* лишь в незначительной степени можно признать таковыми). То, что обычно называется вторым законом гармонии гласных,— гармония по принципу губного притяжения (считается, что ее реализация относится к более позднему периоду, чем возникновение велярно-палатального притяжения) — нельзя считать вполне отстоявшимся и последовательно проводимым явлением. Проявление гармонии гласных по принципу губного притяжения в большой мере наблюдается в киргизском, якутском, алтайском, башкирском языках, в языке лобнорцев. Однако в большинстве тюркских языков этот вид гармонии гласных подтверждается лишь наличием гласных *u*, *ü*, которые тем не менее являются нестойкими и могут заменяться соответственно посредством *y*, *i*. В татарском говоре Рязани только *о*, *ö* первого слога могут воздействовать на гласные последующих ближайших слогов; причем это явление реализуется не полностью, будучи факультативным. В чувашском, казахском, ногайском, каракалпакском губная гармония гласных действует только в рамках двух соседних слогов; в уйгурском проводится непоследовательно и нерегулярно, в частности в суффиксах это явление не реализуется. В узбекском, казахском губная гармония распространяется только на гласные высокого подъема в неразложимых основах. С точки зрения действия губной гармонии гласных Исхаков выделяет две группы тюркских языков: первая группа (киргизский, якутский, алтайский, азербайджанский, кумыкский, тувинский, турецкий, шорский, башкирский), где губная гармония проводится последовательно «за исключением лишь алтайского, в котором огубление узких гласных под влиянием губных (как широких, так и узких) предыдущего слога, во-первых, носит факультативный характер, во-вторых, не распространяется за предел неразложимой основы»; вторая группа (узбекский, хакасский, туркменский, уйгурский, татарский, чувашский, казахский, ногайский, каракалпакский), где проявления губной гармонии ограничены, а иногда и факультативны[19].

[16] Т. А. Бертагаев, указ. соч., стр. 137.

[17] Там же, стр. 140.

[18] Под архиморфонемой здесь понимается набор всех гласных, которые возможны в фонетических вариантах данной функциональной морфемы (например, *i*, *y*, *u*, *ü* в морфеме *-li/ -ly/ -lu/ -lü*— реализации одной гласной морфонемы).

[19] Ф. Г. Исхаков, Гармония гласных в тюркских языках, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 1— Фонетика, М., 1955, стр. 156—

Каждый тюркский язык или диалект в его современном состоянии располагает уже стабилизованными моделями фонетических вариантов функциональных морфем, используемыми при морфологизации новых лексем. Морфологизация новых лексем реализовалась в связи с фонологическим составом данной лексемы, соответствующей определенной модели.

Исчезновение семантической и фонетической связи между морфемой и лексемой обусловливается продолжительностью развития морфем из лексем. Чем древнее морфема, тем слабее или совсем утрачена ее связь с прототипом. Кроме того, чем древнее морфема, тем больше возможностей для развития фонетических вариантов. Варьирование морфемы зависит также от фреквентности ее употребления [например, турецкий послелог *ile* «с», претерпевая эволюцию *ile* > *-(j)le*, обрел велярный вариант *-(j)la* (ср. *parajla* «с деньгами» — ранее *parajle*), в то время как для *-(j)ken* еще не существует велярного варианта, хотя он уже представлен в турецком разговорном языке (ср. разг. диалектн. *okurkan* при литерат. *okurken*)]; при этом следует также учитывать консервативную роль письменного языка, роль «образцового» произношения.

4. Нейтральные гласные. Ни в одном тюркском языке не представленный в полном виде сингармонизм проявляется, видимо, во-первых, в наличии нейтральных гласных и, во-вторых, в наличии нейтральных согласных, т. е. вообще нейтральных фонем (фонем, не реагирующих на изменения палатального и велярного тембров). Такой нейтральной гласной фонемой является *ï* (средняя между *i* и *y*) — в караимском языке Т. Ковальский определяет ее как результат определенного «видоизменения *i* с задней артикуляцией» («eine nach neigende Abart des *i*»), наблюдаемого в произношении отдельных лиц после согласных *r*, *š*, *ž*, *č*, *ǧ* под влиянием польского языка[20].

Ж. Дени признавал существование в турецком языке *ï* («*ï* закрытого»), которое, по его словам, является «смешанным гласным, промежуточным между *i* с передней и *i* с задней артикуляцией» и фонологически принадлежит классу гласных с передней артикуляцией (*geldï* «он пришел», *evïm* «мой дом»)[21]. В некоторых татарских говорах на Балканах *i* вообще не существует. В связи с этим мнение Катанова, который признает существование *ï*, оказывается более оправданным, чем мнение Радлова, который признает одно лишь *i*. В узбекском и уйгурском языках гласная *y* не существует, а вместо *y*, типичного для других тюркских языков, в этих языках используется *i*, который в качественном отношении иногда слышится как *ï*, а иногда как звук, очень близкий к русскому *ы*. (Можно ли здесь принять факультативную альтернацию или корреляцию *i* ∞ *ы*?) В хакасском языке *i* считается нейтральным.

В туркменском языке и его диалектах *ï* употребляется, помимо конечных открытых слогов слов заднего ряда в позиции после любых согласных (за исключением задненебных и гортанных), также и в словах переднего ряда в соседстве с *ñ* (*gidïñ* «идите»); вероятно, *ï* представлено в односложных корневых словах, из-за чего при аффиксации происходят колебания в выборе переднего или заднего варианта: *dïʒden/dÿʒdan* «от колена»[22].

157. Гармония гласных в тюркских языках изучена структурально М. А. Черкасским в ст. «Опыт формального описания гармонии гласных в тюркских языках», ВЯ, 1961, 5, стр. 94—102.

[20] T. Kowalski, Karaimische Texte in Dialekte von Troki, Krakowie, 1929, стр. XXIX.

[21] J. Deny, Principes de grammaire turque («turk» de Turquie), Paris, 1955, стр.26.

[22] А. П. Поцелуевський, Диалекты туркменского языка, Ашхабад, 1936, стр. 43; его же, Фонетика туркменского языка, Ашхабад, 1936, стр. 30.

В караимском языке, распространенном в Троках, Т. Ковальский указывал на «выделение из гласных переднего ряда *e*, *ö*, *ü* палатального элемента; в результате явная палатализация влияет на окружающие (особенно на предшествующие и в несколько меньшей степени на последующие) согласные, а также на соответствующие гласные заднего ряда; *e*⩾*'a*,*ö*⩾*'o*, *ü*⩾*'u*. Примеры: *t'ug'al* (⩽*tügel*) «полностью», *k'oz'umdá* (⩽*közümde*) «в моих глазах»[23]. В татарском, башкирском, казахском и ногайском языках мы находим не *ö*, *ü*, а *ȣ*, *ȯ*. Замечая, что лингвистическая классификация может не совпадать с физиолого-фонетической, У. Ш. Байчура указывает к примеру, что *ȣ* в казанско-татарском языке фонологически относится к классу палатальных, а с физиолого-фонетической точки зрения — это гласный заднего ряда, продвинутый вперед. Байчура констатирует, что основное в гармонии палатальных — это не палатализация, а «движение спинки языка вперед»[24]. Именно такие гласные мы называем велярно-палатальными.

Можно спросить: что такое нейтральные гласные и согласные? Не являются ли они первыми фонемами, которые нарушают сингармонизм? Или же они пережитки исторической нефонологичности гласных и согласных? В тех языках и диалектах, которые попали в чуждую лингвистическую среду, нарушение или исчезновение сингармонизма может явиться следствием иноязычного влияния. Э. Р. Тенишев сообщает о наличии такого чрезвычайно слабого состояния гармонии звуков в саларском и сарыг-югурском языках, чему способствовало изолированное положение этих языков, длительное время развивавшихся в иноязычной среде[25].

Современный фонологический состав западнорумелийских турецких говоров (по классификации Ю. Немета[26]) почти таков же, как и фонологический состав болгарского языка. Между произношением турецких заимствований в болгарском языке и турецким произношением западнорумелийских турок почти нет разницы. Здесь функциональные морфемы не имеют или почти не имеют фонетических вариантов. Истолковывая это явление, следует, однако, иметь в виду не только конформацию западнорумелийско-турецких фонем по типу болгарских; по-видимому, допустимо рассматривать это и как свидетельство известной нейтральности гласных, исторически свойственной турецкому вокализму. Например, если в *almiš* «он взял» (турецк. литерат. *almyš*) представлено *i* и *ă* в *eḷăn* «твоя рука» (турецк. литерат. *elin*), это стало возможным только потому, что в говорах западнорумелийских турок произошло ослабление присущей турецкому языку гармонии гласных. Мы склонны искать здесь не *y* в прототипе слова *almiš*, не *i* в прототипе слова *eḷăn*, а общий нейтральный гласный *ï*. Прототипом слова *almiš*, вероятно, был **almïš* в соответствии с нейтральнопалатальным характером шипящих согласных, а прототипом слова *eḷăn* был **elïn* в зависимости от нейтральновелярного характера сонантов в этих говорах.

С другой стороны, отсутствие в западнорумелийских турецких говорах лабиальных вариантов некоторых функциональных морфем, в которых принимают участие и шипящие согласные, еще не доказывает перехода лабиальных гласных в нелабиальное константное *i*. (Известно, что в балканских турецких диалектах лабиальная вокальная гармония развита

---

[23] T. Kowalski, указ. соч., стр. XXIX.

[24] У. Ш. Байчура, Звуковой строй татарского языка, [Казань], 1959, стр. 32, 40.

[25] Э. Р. Тенишев, О связи гармонии гласных с агглютинацией в тюркских языках, «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965, стр. 129.

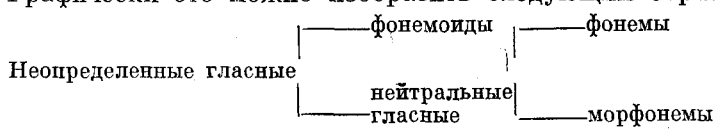
[26] J. Németh, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956, стр. 10, 11.

слабо.) Например, в западнорумелийских турецких говорах функциональные морфемы *-miš*, *-ğik/-čik* не имеют вариантов *-muš/-müš* (не *olmuš* «произошло», как в турецк. литерат. языке, а *olmiš*), *-ğuk/-ğük/-čuk/-čük* (не *koruğuk* «маленькая роща», как в турецк. литерат. языке, а *kuruğik*). Вероятно, и здесь это объясняется тем, что в прототипе в морфеме был представлен гласный *ï* (**olmïš*, **koruğïk*). В таких тюркских языках и диалектах, как западнорумелийские турецкие говоры, саларский, сарыг-югурский языки, сингармонизм очень слабо выражен или иногда вообще отсутствует. В то же время вокализм морфем стабилен — нет или почти нет фонетических вариантов (с точки зрения гласных) морфем. Например, в западнорум. турецк. говорах: *verdi* «он дал»; *oldi* «он стал»; *g'ordi* «он видел»; *aldi* «он взял» — *-di* остается неизменным; в саларском языке родительный падеж от всех основ образуется посредством одного и того же аффикса *-nigi*: *avunigi* «юноши»; *kišnigi* «человек»[27].

Что касается вокализма других тюркских языков, мало подвергшихся иноязычному влиянию, картина вырисовывается не одинаковая. Корреляция на основе оппозиции палатальных и велярных гласных наиболее последовательно (хотя и не всегда) выражена в огузских языках (*o*∞*ö*; *u*∞*ü*; *a*∞*e/ä*; *y*∞*i/ï*). В кыпчакских языках корреляция слабее; она основана на оппозиции велярных и велярно-палатальных (палатальных) гласных (*o*∞*ȯ*; *u*∞*u̇*; *a/ȧ*∞*e/ė*; *y*∞*ï/i*). Иногда корреляция даже сводится к нулю (например, в караимском языке в Троках: *kȯžumd' a* «в моих глазах»). Кроме того, оппозиция велярности и палатальности (или велярности и велярно-палатальности) не охватывает в одинаковой степени явно все гласные. Например, корреляция *a*∞*e* четче выражена в татарских диалектах на Балканах (*bar-* «идти» ∞ *ber-* «давать»), чем в турецком (*var-*∞ *ver-/ /vär-/vár-*)[28]. Напротив, корреляция *o*∞*ö*; *u*∞*ü*; *y*∞*i/ï* четче выражена в турецком языке, чем корреляция *o*∞*ȯ*; *u*∞*u̇*; *y*∞*ï* в татарских диалектах на Балканах (турецк. *kul* «раб»∞*kül'* «пепел»— татар. *qul*∞*kül'/kul'*; турецк. *synyr* «граница»∞*sinir* «нерв» — татар. *synyr*∞*sïnïr/śyńyŕ*).

Итак, палатальность, велярно-палатальность, велярность гласных на современном этапе развития тюркских языков и диалектов выражаются не одинаково четко. Там, где оппозиция гласных (и согласных) четка, сингармонизм получает свое наиболее последовательное выражение.

Наконец, можно говорить о нейтральных гласных только с точки зрения сингармонизма. Там, где нет сингармонизма, гласные константны. Нейтральные гласные, видимо, рудименты неопределенных гласных. Неопределенные гласные в одних случаях развились в фонемоиды (гласные со слабо дифференцированными признаками), а затем — в фонемы (в корне или основе) и в морфонемы (в функциональных морфемах). В других случаях неопределенные гласные (или некоторые из них) не получили своего развития в отдельных тюркских языках и превратились в нейтральные гласные. Графически это можно изобразить следующим образом:



Предложенная гипотеза об истории тюркского вокализма предполагает пересмотр методов изучения истории тюркских языков и диалектов.

Перевел с французского *М. М. Маковский*

[27] Э. Р. Тенишев, указ. соч., стр. 129.

[28] См.: G. Bergsträßer, Zur Phonetik des Türkischen nach gebildeter Konstantinopler Aussprache, ZDMG, 72, 1918, стр. 240.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

К ТЕОРИИ ЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

«Буквенные переходы», приведенные в 1818 г. Раском в его знаменитом «Исследовании о происхождении древнего северного или исландского языка»[1] и получившие впоследствии название германского передвижения согласных, были первым звуковым изменением, которое стало известным науке. С открытием звуковых изменений возникла новая область науки — историческое языкознание. То, что первым звуковым изменением, которое стало известным науке, было германское передвижение согласных, не обусловлено природой именно этого звукового изменения. Хотя оно и впоследствии очень много привлекало к себе внимание исследователей, никак нельзя сказать, что оно наиболее типичное из всех известных звуковых изменений. Но то, что историческое языкознание возникло с открытием звуковых изменений, что расцвет исторического языкознания в XIX в. был расцветом исторической фонетики, т. е. науки о звуковых изменениях, что изучение звуковых изменений всегда было основной и ведущей областью исторического языкознания,— это несомненно обусловлено природой звуковых изменений вообще. Звуковые изменения — это наиболее типичные языковые изменения. Изменчивость языка, то, что он не может не иметь истории, всего очевиднее проявляется в звуковых изменениях и особенно в тех, которые находят отражение в письме.

Под «буквами» Раск понимал, если верить Бьеррум, «различающиеся между собой элементы языкового выражения, которые отчасти могут писаться определенным образом, отчасти произносятся определенным образом»[2], т. е. в сущности нечто более близкое к фонемам в современном понимании, чем звуки в понимании классической фонетики, т. е. бесконечное число конкретных звуков речи и их слуховых ощущений и мнемонических образов, индивидуальных артикуляций и их моторных ощущений. А под «переходами» Раск понимал то, что в сравнительном языкознании называется соответствиями. Следовательно, его «буквенные переходы» были фонемными соответствиями между родственными языками, и он констатировал не звуковые изменения сами по себе, а только результаты определенного типа звуковых изменений, а именно дивергентных изменений в родственных языках. Современная наука и в этом отношении ушла не так уж далеко от Раска. Звуковые изменения и до сих пор констатируются, как правило, по их результатам. Можно сказать вообще, что, как ни велик был тот прогресс, который имел место со времен Раска в изучении звуковых изменений, он едва ли может сравниться по своему значению с тем колоссальным прогрессом, каким было открытие звуковых изменений и возникновение исторического языкознания. Историческая точка зрения возникала тогда во всех науках, и даже не только в науках,

---

[1] R. Rask, Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske sprogs oprindelse, «Udvalgte Afhandlinger», 1, København, 1932, стр. 188.

[2] M. Bjerrum, Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog, København, 1959, стр. 58.

но и в искусстве, как об этом свидетельствует возникновение исторического романа в ту эпоху. Открытие звуковых изменений и возникновение исторического языкознания было, таким образом, одним из проявлений сдвига в истории человеческой мысли, не многим менее крупного, чем тот, который в свое время привел к возникновению науки как формы общественного сознания.

Знаменитая соссюровская антиномия не была открытием синхронической и диахронической точек зрения в языкознании. Возникновение исторического языкознания неизбежно должно было привести к обособлению синхронической и диахронической точек зрения. Развитие синхронического языкознания в XIX и XX вв. было неизбежным следствием развития диахронического языкознания. Значение соссюровской антиномии в том, что она была первой попыткой вскрыть специфику синхронической и диахронической точек зрения в языкознании. Однако в эпоху Соссюра диахроническое языкознание было представлено в основном исторической фонетикой — наукой, занимавшейся исключительно частными фактами, которые «системе не только чужды, но и сами изолированы и между собой не образуют системы»[3]. Говоря о диахроническом языкознании, Соссюр говорил в сущности о традиционной исторической фонетике, и это было совершенно закономерно. Но также закономерно было то, что уже в первом структуралистском манифесте соссюровская формулировка была отвергнута. «Антиномия синхронической фонологии и диахронической фонетики, — говорилось в нем, — окажется снятой с того момента, когда фонетические изменения будут рассматриваться в их зависимости от фонологической системы, которая их претерпевает»[4]. Так возникла диахроническая фонология — наука, рассматривающая звуковые изменения с фонологической точки зрения. Отождествление диахронического языкознания с традиционной исторической фонетикой стало анахронизмом.

Развитие науки подразумевает дифференциацию ее различных областей и их противопоставление друг другу. Ужас по поводу того, что Соссюр «оторвал синхронию от диахронии», долго владевший нашими лингвистами, был одним из проявлений отставания нашего языкознания. В период марризма историческая фонетика была у нас фактически ликвидирована как наука «формалистическая» и, следовательно — «буржуазная», а диахроническая фонология не получила признания как наука «структуралистская» и, следовательно, тоже «буржуазная». В период сталинского языкознания диахроническое языкознание сводилось в основном к догматическому повторению общих фраз о пресловутых «внутренних законах развития языка». Недостаток соссюровской антиномии не в том, что она «оторвала синхронию от диахронии», а в том, что с возникновением фонологии этот «отрыв» уже не соответствовал состоянию синхронического и диахронического языкознания, т. е. был недостаточным.

Синхроническое исследование никогда не имеет своей предпосылкой диахроническое исследование. Мало того, всякое синхроническое исследование подразумевает отвлечение от того, что не является состоянием языка, т. е. от диахронии. Неудивительно поэтому, что развитие синхронического языкознания влечет за собой оттеснение диахронического языкознания на второй план, а последовательное проведение синхронической точки зрения в языкознании может привести к полному отрицанию диахронического языкознания. Примером этому может служить отношение к диа-

---

[3] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 99.

[4] «Actes du Premier congrès international de linguistique à La Haye, du 10—15 avril, 1928», Leiden, стр. 33

хроническому языкознанию глоссематики и ее разновидностей, а также дескриптивной лингвистики в некоторых ее проявлениях.

Между тем диахроническое языкознание стоит в совершенно другом отношении к синхроническому языкознанию. Всякое диахроническое исследование подразумевает существование синхронных срезов и их сравнение. Другими словами, диахроническая точка зрения подразумевает синхроническую как первую ступень исследования, как свою необходимую предпосылку [5]. Таким образом, синхроническая точка зрения возможна и там, где она не сопоставлена с диахронической; напротив, диахроническая точка зрения возможна только там, где она сопоставлена с синхронической. В известном смысле современное синхрониче*сое* языкознание — это возвращение к пониманию языка, существовавшему до возникновения исторического языкознания. Не случайно находят сходство между современным синхроническим языкознанием и древнеиндийской грамматикой [6].

Отсюда следует, что синхроническое языкознание по сравнению с диахроническим в известном смысле односторонне. Если оно последовательно, оно отвлекается от очень существенного свойства языка: от его изменчивости, от того, что он существует во времени. Тем самым оно схематизирует язык и уподобляет его математическому объекту. Синхроническое языкознание изучает статические связи между языковыми элементами, т. е. те связи, наличие которых делает язык «системой», в наиболее широком смысле этого неясного слова. Однако в языке существуют и более сложные связи, а именно — связи языковых изменений между собой и с различными внутренними и внешними факторами, т. е. те динамические связи, которые не только создают, но и разрушают то, что принято называть «системой». Поэтому если для современного синхронического языкознания лозунгом является «язык есть система», то для современного диахронического языкознания лозунгом должно бы быть «язык — это и система, и не система».

Развитие синхронического языкознания может приводить не только к оттеснению диахронического языкознания на второй план или к его отрицанию, но также и к его подмене синхроническим языкознанием. Так, история звуковых изменений может быть сведена (и в ряде современных работ так и делается) к ряду последовательных синхронных описаний системы фонем данного языка. Но синхронные срезы, относящиеся к разным периодам одного языка,— это синхроническое языкознание. Различие в методе получения материала — непосредственное наблюдение, свидетельства современников, анализ текстов и т. д.— в принципе не влечет за собой различия в методе описания материала. Идет ли речь о языке древнем или современном, языке десятого или двадцатого века, метод описания может быть тем же. Синхронное описание современного языка не отличается в принципе от синхронного описания его прошлого состояния хотя бы уже потому, что сама граница между современным и прошлым состоянием языка условна. То, что было его современным состоянием, когда собирался материал, могло стать его прошлым состоянием, когда этот материал был опубликован. Таким образом, если история языка ограничивается описанием последовательных синхронных срезов, она — синхроническое языкознание. Изучение звуковых изменений — наука диахроническая только

[5] Ср.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», 3, М., 1963, стр. 341.

[6] См., например: В. Н. Топоров, О некоторых аналогиях к проблемам и методам современного языкознания в трудах древнеиндийских грамматиков, «Краткие сообщения Института народов Азии», 57 — Сборник памяти Ю. Н. Рериха, М., 1961; B. Collinder, Les origines du structuralisme, Stockholm, 1962.

в том случае, если описание синхронных срезов не самоцель, а предпосылка для изучения самих звуковых изменний и их связей.

Специфика синхронической точки зрения особенно отчетливо проявляется в тех случаях, когда история звуковых изменений сводится к ряду строго симметричных схем, изображающих последовательные этапы развития системы фонем данного языка. Предполагается как бы, что с каждым изменением состава фонем происходит автоматическая перестройка всей системы в направлении новой симметрии. Изменение системы фонем происходит как бы абсолютно «правильно», в результате действия некой структурной тенденции, которая не встречает никакого сопротивления и всегда достигает своего предела — заполнения всех мыслимых «пустых клеток» и строго симметричного расположения фонем. Концепция такого симметричного развития очень соблазнительна своей простотой. Строить симметричные фонологические схемы в сущности легче, чем решать кроссворды, так как если добиваться только симметрии, то количество фонологических схем, которые можно построить, неограниченно, между тем кроссворд обычно имеет только одно решение. Многие, занимавшиеся диахронической фонологией, следовали концепции симметричного развития [7].

Однако симметрия и простота характерны для фонологических схем в основном постольку, поскольку в этих схемах предел, в направлении к которому должно было бы идти развитие (если бы оно было абсолютно «правильным» и не встречало никакого сопротивления), принимается за достигнутое. В действительности такой предел никогда не достигается. Симметрия в системе фонем не только все время создается, но и все время разрушается, т. е. фактически никогда не бывает полной.

Но если, с одной стороны, синхроническая фонология оттесняет и подменяет диахроническую, то, с другой стороны, диахроническая фонология обязана синхронической своей основой, а именно — представлениями о фонеме и ее аллофонах (или комбинаторных вариантах), и основное, что дало применение фонологической точки зрения к звуковым изменениям,— это различение аллофонных (или субфонемных) и фонемных изменений, а в последних — синтагматических и парадигматических изменений.

Аллофонное изменение — это изменение в реализации фонемы, или изменение аллофона этой фонемы. В зародыше понятие аллофонных изменений есть уже у Бодуэна де Куртенэ в его «дивергенциях»[8]. В более развитой форме оно есть у Поливанова [9]. С возникновением фонологии оно встречается у многих авторов, хотя эти изменения по-разному называются (то «внефонологическими»[10], то «фоническими»[11] и т. д.) или вообще никак не называются. Аллофонное изменение — это, конечно, совсем не то же самое, что аллофоническое варьирование фонемы, или варьирование в реализации фонемы в зависимости от ее положения в синтагматической цепи, т. е. наличие у нее аллофонов. Аллофонное изменение — это изменение в аллофоническом варьировании фонемы, появление у нее нового аллофона или исчезновение старого. Аллофоническое варьирование фоне-

---

[7] Например, автор этой статьи в одной из своих прошлых работ, см.: M. Steblin-Kamenskij, A contribution to the history of the Old Icelandic vowel system, «Philologica pragensia», 1, 3, 1958.

[8] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Опыт теории фонетических альтернаций, «Избр. труды по общему языкознанию», 1, М., 1963, стр. 295 и сл.

[9] Е. Д. Поливанов, Фонетические конвергенции, ВЯ, 1957, 3, стр. 77 (впервые опубликовано в 1923 г. в «Сборнике Туркестанского восточного института в честь проф. А. Э. Шмидта»).

[10] R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, TCLP, IV, 1931, стр. 249.

[11] E. Dieth, Vademekum der Phonetik, Bern, 1950, стр. 257. Ср.: A. Hill, Phonetic and phonemic change, «Language», XII, 1936, стр. 17.

мы — это явление синхронии. Аллофонное изменение — явление диахронии.

Аллофонное изменение— это всегда физическое изменение звука речи. Как правило, оно предшествует фонемному изменению. В ряде случаев оно — его необходимая предпосылка. Например, когда аллофон фонемы в силу определенных условий становится самостоятельной фонемой. В этом случае именно аллофонное, а не фонемное изменение является физическим изменением звука речи. Тем не менее аллофонное изменение, как правило, не находит никакого отражения в письменности, поскольку оно не осознается говорящими, так же как не осознается ими и само наличие аллофонов. И поскольку традиционная историческая фонетика занималась исключительно теми звуковыми изменениями, отражения которых прослеживаются в текстах, аллофонные изменения она в сущности вообще игнорировала.

Правда, сложившееся еще в прошлом веке представление о том, что звуковое изменение постепенно и проходит бесконечное число промежуточных стадий, как будто близко к представлению об аллофонном изменении в диахронической фонологии. Но в том то и дело, что с фонетической точки зрения постепенны звуковые изменения вообще (за некоторыми исключениями). Между тем с фонологической точки зрения постепенным может быть только аллофонное изменение (но, по-видимому, и в этом случае постепенность необязательна). Что же касается фонемного изменения, то поскольку фонемы дискретные единицы, оно подразумевает качественный скачок от одной фонемы к другой. Другими словами, ни в какой момент своего существования фонема не может быть чем-то промежуточным между двумя фонемами. Это, однако, отнюдь не значит, что фонемное изменение представляет собой мгновенный и единичный акт. Наоборот, это значит, что фонемное изменение должно состоять из бесчисленных единичных актов и продолжаться известное (иногда — очень долгое) время. В продолжении этого времени должно иметь место колебание между двумя фонемами. Так, когда фонема сливается парадигматически с другой фонемой, т. е. перестает существовать как самостоятельная единица, эта сливающаяся фонема становится факультативной: в одном и том же слове она то замещается фонемой, с которой она сливается, то остается незамещенной. Только когда первый случай берет верх, сливающаяся фонема исчезает и слияние завершается. В продолжении этого процесса сливающаяся фонема становится так сказать двуликой, т. е. фонемой / x/y /, где x — сливающаяся фонема, а y — фонема, с которой она сливается. [x] — это факультативный вариант двуликой фонемы, тогда как [y]—и ее другой факультативный вариант, и самостоятельная фонема. Таким образом, противопоставление между [x] и [y] в продолжении данного процесса очень специфично.

Различение аллофонных и фонемных изменений позволяет по-новому решить пресловутый вопрос о том, есть ли исключения у так называемых «фонетических законов». Как известно, в течение первого полустолетия после того, как были открыты звуковые изменения, основным направлением, в котором развивалось их изучение, было все большее осознание их последовательности и закономерности. Бопп еще очень свободно трактовал звуковые изменения и допускал всевозможные исключения из устанавливаемых им правил. Курциус наряду с регулярными звуковыми изменениями признавал и спорадические. Шлейхер формулировал «фонетические законы» очень широко и не пытался объяснять исключений из них. Развитие завершилось только в середине семидесятых годов прошлого века в работах младограмматиков, когда был сформулирован знаменитый тезис о том, что «звуковое изменение, поскольку оно происходит механи-

чески, совершается по законам, не знающим исключений»[12]. Во время «спора о звуковых законах», продолжавшегося долгие годы после этого, было неоднократно доказано, что тезис младограмматиков ложен: «фонетический закон» — это не закон, а только описание того, что произошло, всякое звуковое изменение на известном этапе или в известном смысле является спорадическим.

По-видимому, однако, утверждение, что дважды два пять, в известных случаях может оказаться прогрессивнее утверждения, что дважды два четыре. Во всяком случае, даже если признавать, что тезис младограмматиков ложен, очевидно, что он сыграл чрезвычайно прогрессивную роль в развитии языкознания и тем самым был крупным достижением науки. Тезис об отсутствии исключений из «фонетического закона» обязывал исследователя объяснять все исключения законами, ограничивающими действие данного закона. Тем самым с провозглашением младограмматического тезиса чрезвычайно повысились требования в отношении точности и строгости исследования. Важнейшие открытия периода, непосредственно последовавшего за провозглашением знаменитого тезиса (а это был, как известно, период крупнейших открытий в исторической фонетике), возникали из попыток объяснить то или иное исключение из «фонетического закона» действием других законов. Блестящим примером такого открытия является закон, сформулированный К. Вернером в статье под названием «Об одном исключении из первого передвижения согласных»[13]. Никогда ни в одной области языкознания исследования не велись с такой строгостью и точностью, как в младограмматических исследованиях по исторической фонетике. Ни в одной области языкознания не было накоплено такого огромного количества фактов, сохраняющих свое значение и до сих пор, как в исторической фонетике, разрабатывавшейся в младограмматических традициях. Нет ни одной области языкознания, в которой было бы сделано так много, как в младограмматической исторической фонетике.

Что же касается вопроса о том, есть ли исключения из «фонетических законов», то в свете фонологии оказывается, что младограмматики были не так уж далеки от истины или во всяком случае они были к ней настолько близки, насколько это позволяло состояние науки в их время. Тезис младограмматиков справедлив только в отношении аллофонных изменений, но зато в отношении этих изменений он даже более справедлив, чем полагали сами его авторы. Аллофоническое варьирование совершенно автоматично, аллофоны не осознаются и не замечаются говорящими. Поэтому аллофоны не могут сменять друг друга по смысловым ассоциациям, в частности по грамматической аналогии[14]. Следовательно, аллофонные изменения не могут иметь исключений, обусловленных действием этих факторов. Между тем младограмматики допускали возможность грамматической аналогии для звуковых изменений вообще.

Аллофоны не являются дискретными единицами и не образуют для данного языка того, что можно было бы назвать «системой». Поэтому для них различение синтагматических и парадигматических изменений не имеет значения. Напротив, для фонем как дискретных единиц это различение чрезвычайно важно. Естественно, что с возникновением фонологической точки зрения эти два типа фонемных изменений стали различать под тем или другим названием или никак не называя их. Синтагматические фонемные изменения — это изменения в распределении фонем в синтагматиче-

[12] H. Osthoff, K. Brugmann, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, 1, 1878, Leipzig, стр. XIII.

[13] K. Verner, Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung, KZ, 23, 1877.

[14] Насколько мне известно, формулировка этого бесспорного положения — заслуга Б. Трнки (B. Trnka, O analogii v strukturálním jazykozpytu, SaS, 2, 1938).

ской цепи, т. е. не в общем составе фонем в языке, а только в фонемном составе отдельных слов. Именно этими изменениями и в сущности только этими изменениями занималась классическая историческая фонетика, так как до возникновения понятий аллофона и фонемы ни аллофонные изменения, ни парадигматические фонемные изменения не могли привлечь к себе внимания. Напротив, синтагматические фонемные изменения не могли не привлекать к себе внимания хотя бы уже потому, что они, как правило, находят отражение в письме, т. е. являются «буквенными переходами» в собственном смысле слова.

Синтагматическое фонемное изменение происходит в отдельных словах, и обычно — в тех словах, в которых есть условия для данного изменения, т. е., где произошло соответствующее аллофонное изменение. Но оно может происходить не во всех этих словах. Оно может произойти даже только в одном слове. Синтагматические фонемные изменения — это как раз та область, в которой младограмматический тезис об отсутствии исключений в звуковом изменении не находит подтверждения. Но то, что младограмматики называли «фонетическим законом», как правило, и было синтагматическим фонемным изменением. Формула «$x > y$ в таких-то условиях» означала, что фонема / x / сменила фонему / y / в таких-то условиях. Но она ничего не говорила о том, изменились ли аллофоны этих фонем и изменился ли состав фонем в языке. Законы германского умлаута, устанавливавшиеся в классической исторической фонетике, касались не возникновения умлаутных аллофонов и умлаутных фонем, а только изменения фонемного состава отдельных слов, отклонений от регулярности в этом изменении, так называемого умлаута по аналогии, отсутствия умлаута по аналогии и т. п. Впрочем, в тех случаях, когда умлаут заключался в изменении фонемного состава слова, он действительно был синтагматическим фонемным изменением. Такими умлаутами были, например, скандинавские «младшие» умлауты, т. е. умлауты, которые происходили после того, как умлаутные фонемы уже возникли, и древневерхненемецкий, или «примарный», умлаут, т. е. умлаут, который происходил до того, как стали возникать умлаутные фонемы.

Парадигматическое фонемное изменение — это изменение в общем составе фонем в языке, т. е. возникновение новых фонем или исчезновение старых фонем. Возникновение новой фонемы может быть вместе с тем возникновением нового различительного признака. Однако новая фонема может быть лишь новым сочетанием различительных признаков, существовавших в языке и раньше. Возникновение таких фонем — это так называемое «заполнение пустых клеток»,— процесс, который с возникновением диахронической фонологии стал особенно часто привлекать к себе внимание. Наконец, возникновение новой фонемы — это не обязательно увеличение общего числа фонем. Если в фонеме произошла смена различительных признаков, то это было вместе с тем возникновением новой фонемы и исчезновением старой. Исчезновение фонемы тоже может либо сопровождаться исчезновением различительного признака, либо быть только исчезновением определенного сочетания различительных признаков, существовавших в языке и раньше, и тоже не обязательно означает уменьшение общего числа фонем. Таким образом, всякое парадигматическое фонемное изменение — это изменение либо в составе различительных признаков, либо в их распределении.

Изменение в с о с т а в е различительных признаков, т. е. тех элементов, из которых слагаются единицы (фонемы), которые, сочетаясь синтагматически друг с другом, образуют бесконечное многообразие значащих единиц (морфем, слов и т. д.),— это наиболее общее, наиболее объемлющее изменение из всех, которые вообще могут произойти в языке.

Однако до недавнего времени они вообще игнорировались. Дело в том, что в письме выражаются, как правило, фонемы, а не различительные признаки. Поэтому в письме изменения различительных признаков либо совсем не отражаются, либо отражаются только косвенно. Изменения в распределении различительных признаков являются настолько же более частными, чем изменения в их составе, насколько синтагматические фонемные изменения являются более частными, чем парадигматические. Наиболее частное из возможных звуковых изменений — это изменение, которое произошло только в одном слове.

Парадигматическому фонемному изменению обычно предшествует аллофонное изменение. Когда аллофон фонемы превращается в самостоятельную фонему, то этот аллофон должен был предварительно возникнуть. Его возникновение и было физическим изменением. Превращение аллофона в самостоятельную фонему — это лишь функциональное, но не физическое изменение. Сущность этого изменения всего чаще заключается в следующем. Два аллофона одной фонемы, обусловленные двумя разными окружениями (например, ассимилирующим воздействием двух разных фонем), оказываются в одинаковом окружении в результате исчезновения различия между этими окружениями (например, в результате того, что ассимилирующие фонемы перестают различаться в данных положениях). Тем самым эти аллофоны уже не аллофоны, а самостоятельные фонемы, хотя физически они сами не претерпели никакого изменения. Обе возникшие таким образом фонемы — новые, так как их различительные признаки, не те, что были у фонемы, из аллофонов которой они возникли. Произошло парадигматическое расщепление фонемы. Таким образом, исчезновение различия между двумя окружениями, или их парадигматическое слияние,— это как бы обратная сторона парадигматического расщепления фонем. Процесс такого превращения аллофонов фонемы в две самостоятельные фонемы был неоднократно описан в связи с фонологическим толкованием германского умлаута[15]. В этом случае исчезновение различия между двумя окружениями — это редукция безударных гласных. В сущности, однако, мы знаем процесс возникновения умлаутных фонем только по его результатам и поэтому, вероятно, упрощаем его. Судя по случаям, когда становление новых фонем продолжается и в современном языке, процесс этот может быть чрезвычайно длительным и сложным.

Классификации звуковых изменений, предлагавшиеся до возникновения диахронической фонологии, охватывали только синтагматические фонемные изменения и во всяком случае не выделяли парадигматических фонемных изменений. Однако не всегда выделяют их и те, кто стоит на фонологической точке зрения. Это характерно особенно для американской диахронической фонологии. Так, в классификации звуковых изменений, предложенной Пенцлем, фонемные изменения разбиты на шесть групп, но в некоторые из этих групп входят и синтагматические и парадигматические изменения[16]. Нет последовательного различения синтагматических и парадигматических изменений и в книге Хёнигсвальда, посвященной языковым изменениям и, в частности, звуковым изменениям[17].

[15] О связи исчезновения ассимилирующего гласного с возникновением нового различия в ассимилируемом гласном впервые говорил, насколько мне известно, О. Бреннер (O. Brenner, Altnordisches Handbuch, Leipzig, 1882, стр. 55). Первую последовательную фонологическую трактовку умлаута дал Туоддэлл (W. F. Twaddell, A note on Old High German umlaut, «Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur», 30, 1938). Позднее она встречается у очень многих авторов.

[16] H. Penzl, The evidence for phonemic change, сб. «Studies presented to J. Whatmough on his sixtieth birthday», The Hague, 1957, стр. 194 и сл.

[17] H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, Chicago, 1960, стр. 86 и сл.

Хёнигсвальд классифицирует звуковые изменения с точки зрения того, как они повлияли на распределение фонем и их аллофонов, но при этом в выделяемых им типах изменений оказываются и синтагматические и парадигматические изменения.

Неразличение синтагматических и парадигматических изменений имеет особенно серьезные последствия, когда речь идет о слиянии и расщеплении фонем. Слияние и расщепление фонем в парадигматическом плане отнюдь не совпадают с их слиянием и расщеплением в синтагматическом плане. Превращение монофтонга /х/ в определенных положениях в дифтонг /у/ — это синтагматическое расщепление, но, если при этом /х/ исчезает совсем из языка, а /у/ существовал и раньше, то это вместе с тем парадигматическое слияние. Наоборот, превращение дифтонга /у/ в определенных положениях в монофтонг /х/ — это синтагматическое слияние, но, если при этом /у/ не исчезает совсем из языка, а /х/ не существовал раньше, то это вместе с тем парадигматическое расщепление.

Неразличение синтагматического и парадигматического аспекта фонемных изменений лежит, например, в основе опровержений фонологического толкования германского умлаута. Указывая на необозначенность умлаута в слове, в котором произошла редукция безударного гласного, долженствовавшего обусловить фонологизацию умлаутного аллофона, или на его обозначенность в слове, в котором такая редукция не произошла, противники фонологического толкования умлаута утверждают, что эти факты опровергают связь возникновения умлаутных фонем с редукцией безударных гласных[18]. Но дело в том, что возникновение умлаутных фонем это процесс парадигматический, а не синтагматический. Он происходил в результате множества случаев редукции ассимилирующего гласного, а отнюдь не в отдельном слове. В отдельных словах происходило не возникновение умлаутных фонем, а только изменение фонемного состава слов, которое, как всякое синтагматическое фонемное изменение, не обязательно было регулярным.

Теория звуковых изменений не может обойти молчанием пресловутый вопрос об их причинах. Сформулируем прежде всего два постулата: 1) у всех протекающих во времени явлений природы и общества, а следовательно и у звуковых изменений, есть причинно-следственные связи, т. е. те связи, которые мы выражаем словами «причина» и «следствие», «условие» и «то, что им обусловлено», «фактор» и «то, чему он способствовал», «то, что порождает» и «то, что порождено» и т. п. и которым невозможно дать другое определение, кроме тавтологического; 2) никакая наука, изучающая явления, протекающие во времени, не может игнорировать причинно-следственные связи тех явлений, которые она изучает, и, следовательно, их не может игнорировать и диахроническая фонология.

Причинно-следственные связи звуковых изменений — это, очевидно, их связи с различными языковыми или неязыковыми явлениями и, в частности, их связи между собой. Эти связи и должна изучать диахроническая фонология, если она действительно наука диахроническая. Правда, как некоторая подготовительная ступень возможно изучение отдельных звуковых изменений самих по себе, независимо от их связей, и классическая историческая фонетика в сущности так и занималась звуковыми изменениями. Но она именно потому так и занималась ими, что она была фоне-

[18] См.: H. Andersen, Urnordisk *gestum R* og dens betydning for i-omlyden, «Festskrift til P. Skautrup», Aarhus, 1959, H. Kratz, The phonemic approach to umlaut in Old High German and Old Norse, JEGPh, LIX, 3, 1963; K. M. Nielsen, Mutation, breaking, and syncope, «Acta philologica scandinavica», 25, 2, 1962, особенно стр. 98; A. Szulc, Umlaut und Brechung, Poznań, 1964, стр. 64, 80.

тикой, а не фонологией: отдельные звуковые изменения сами по себе были для исторической фонетики такими же самодовлеющими, какими для классической фонетики были отдельные звуки речи. Возможно также как некоторая подготовительная ступень к изучению звуковых изменений данного языка исследование его синхронных срезов, игнорирующее сами эти изменения и их связи. Но, как уже говорилось (стр. 68), такое исследование будет синхроническим языкознанием, а не диахроническим.

Но доступны ли исследованию причинно-следственные связи звуковых изменений? Многие ученые сомневались в этом. «Ни одному ученому,— говорит Блумфилд,— не удалось установить связь между звуковым изменением и каким-либо предшествующим явлением»[19]. По-видимому, однако, это сильное преувеличение. Известно множество случаев, когда звуковое изменение явно обусловлено. Я имею в виду явные случаи иноязычного влияния, воздействия соседних звуков и т. п. Неслучайно традиционная историческая фонетика делила звуковые изменения на комбинаторные, или явно обусловленные окружением данного звука, и спонтанные, или не обусловленные явно его окружением. Другое дело, что причинно-следственные связи в звуковых изменениях очень сложны и, по-видимому, более сложны, чем в явлениях, которые имеют только социальную или только физическую сторону. Причина, на которую указывают в тех случаях, когда звуковое изменение как будто явно обусловлено, это всегда только одна из причин. Для того чтобы данное изменение произошло, требуется еще наличие ряда условий, причем некоторые из этих условий могут быть настолько частными, что они не поддаются учету. Кроме того, всякая причина звукового изменения имеет свою причину, и в этом смысле причинно-следственные связи звуковых изменений бесконечны и не могут быть раскрыты до конца. Поэтому всякое причинное объяснение звукового изменения может быть только приближением к истине, только ее частью, точно так же, как всякое объяснение звукового изменения одной универсальной причиной не может не быть ошибочным.

Объяснение звуковых изменений какой-то одной универсальной причиной не может быть правильным, в частности, потому, что звуковые изменения бесконечно разнообразны. Постоянно действующая и тождественная себе причина могла бы объяснить разве что саму изменчивость звуковой стороны языка, но не ее конкретные изменения [20]. Но, как правило, она не объясняет и этого. Все выдвигавшиеся до сих пор универсальные причины звуковых изменений: удобство произношения, несовершенное усвоение младшим поколением языка старшего поколения, варьирование произношения, смешение языков и диалектов и т. д.— все это в лучшем случае констатация какого-то общего свойства языка или его функционирования. Такое общее свойство, естественно, оказывается связанным и с изменчивостью языка, которая тоже является его общим свойством.

Всего чаще в качестве универсальной причины звуковых изменений выдвигалось удобство произношения или — в более современной формулировке — принцип экономии, т. е. принятие более экономного произношения, в той мере, в какой это не препятствует пониманию речи. До Мартине, который развил принцип экономии в ряде блестящих работ [21], прин-

[19] L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 385. Примерно такую же скептическую позицию занимал и Сепир. «Гораздо лучше признать,— говорит он,— что мы до сих пор не поняли первичной причины или первичных причин медленного исторического движения звуков речи, хотя зачастую мы и можем определить некоторые сопутствующие ему факторы» (Э. Сепир, Язык, М., 1934, стр. 144).

[20] Ср.: Э. Косериу, указ. соч., стр. 268.

[21] Всего полнее в кн.: A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Berne, 1955 (русск. перевод: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960).

цип этот выдвигался многими лингвистами. Его высказывали в девяностых годах Бодуэн де Куртенэ[22], Пасси[23], Кокк[24], позднее Есперсен[25] и др. Но в любой формулировке этот принцип в сущности не содержит большего, чем утверждение, что языковая деятельность — это деятельность целесообразная и экономная, и это, конечно, не подлежит сомнению. Кроме того, поскольку этот принцип подразумевает существование двух взаимодействующих факторов — стремление к более удобному произношению и стремление быть понятым,— он тем самым является признанием того, что ни один из этих факторов ни в одном случае не является единственным и что, следовательно, универсальной причины звуковых изменений нет.

Что касается конкретных звуковых изменений, то здесь часто приводится в качестве причины то, что вообще ни в каком смысле не причина. Так, «объяснением причины» звукового изменения (также его «физиологической» или «фонетической причины») называют нередко описание перехода от одной артикуляции к другой. Например, переход [rn > rdn] «объясняют» тем, что при переходе от [r] к [n] язык перестает вибрировать за некоторое время до того, как опускается мягкое небо, в результате чего возникает имплозивный смычный [d] и т. д.[26]. Такое описание, как бы оно ни было обстоятельно, не раскрывает абсолютно никаких причинно-следственных связей. В частности, из него, конечно, отнюдь не следует, что переход [rn > rdn] является физиологической необходимостью. Оно только устанавливает наиболее вероятные промежуточные этапы при переходе от одной артикуляции к другой. Иногда такое описание используется как доказательство того, что данное звуковое изменение физиологически возможно, и в подтверждение его возможности приводятся физиологически аналогичные изменения из других языков. Однако промежуточные этапы могут быть найдены для любого звукового изменения, и доказывать, что то или иное звуковое изменение возможно, едва ли целесообразно: в сущности любое звуковое изменение возможно. Что касается физиологических аналогий из других языков, то они недоказательны, так как то, что в разных языках физиологически аналогично, может быть функционально совсем не аналогично.

«Причиной» появления того или иного элемента языка называют также то, что на самом деле есть просто его прошлое. Особенно часто это имеет место, когда данный элемент языка является исключением с точки зрения данного состояния языка. Есперсен, например, говорит: «Историческая грамматика не только описывает явления, но и объясняет их... Там, где мы прежде видели произвольные правила и необъяснимые исключения, теперь во многих случаях мы видим причины явлений»[27]. Дальше он рассказывает историю множественного числа *feet* в английском и заключает: «Неправильные образования на одной стадии оказываются во многих случаях пережитками правильных образований более ранних стадий; таким образом, явления, ранее окутанные тьмой, освещаются ярким светом»[28]. В действительности речь идет в подобных случаях вовсе не о причинах данного элемента, а просто о его прошлом. Такие «объяснения» ничего не

---

[22] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Об общих причинах звуковых изменений, «Избр. труды по общему языкознанию», 1, стр. 228, 231, 247.

[23] P. Passy, Études sur les changements phonétiques et leurs caractères généraux, Paris, 1890, стр. 229—230.

[24] A. Kock, Om språkets förändring, Göteborg, 1896, стр. 145.

[25] O. Jespersen, Efficiency in linguistic change, «Selected writings», London—Tokyo [1962], стр. 391 (впервые опубликована в 1949 г.).

[26] Ср., например, объяснение такого перехода в фарерском языке в статье: P. Naert, Ur min färöiska kortlåda, «Arkiv för nordisk filologi», 61, 1946, стр. 139.

[27] О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 29.

[28] Там же, стр. 30.

объясняют в данном состоянии языка и меньше всего, когда речь идет об исключениях, так как в этом случае особое внимание обращается на пережитки, т. е. то, что не актуально для языка, и тем самым, с точки зрения синхронической, на него дается как бы карикатура[29]. В описании состояния языка вообще не может быть речи о причинах.

Наконец, в качестве возможных причин звуковых изменений приводят иногда факты индивидуальной речи: дефект органов речи, недостаток слуха и т. п. То, что характерно только для отдельного говорящего на данном языке, разумеется,—не факт языка и не может быть причиной звукового изменения в данном языке, разве что произношение какого-то отдельного лица было усвоено всеми говорящими на данном языке. Но возможность таких случаев сомнительна и, во всяком случае, не доказана. Можно ли доказать, например, что шепелявое произношение Карла V было причиной появления глухого межзубного в испанском?

Признание того, что никакая причина звукового изменения не может быть его единственной причиной, означает, что у звукового изменения может быть множество различных причинных связей, т. е. связей как с другими фактами того же языка или других языков, с которыми данный язык контактирует, так и с различными фактами в жизни народа — носителя данного языка. В принципе поэтому нельзя считать исключенной возможность таких неязыковых факторов звукового изменения, как географические условия, климат, среда, образ жизни, обычаи, национальный характер и т. п. Утверждают, например, что обычай калечить губы украшением, распространенный у некоторых народов, мог привести к потере способности произносить губной смычный[30]. Такую возможность действительно трудно отрицать. Однако, по-видимому, влияние подобных неязыковых факторов звукового изменения, как правило, настолько опосредствованно, что не может быть установлено с какой-либо долей достоверности. Поэтому объяснение звукового изменения подобными неязыковыми фактами обычно лишь курьез.

Некоторые языковые факторы звукового изменения — прежде всего влияние звукового окружения — лежат на поверхности и не могли не привлекать к себе внимания и раньше. Но естественно, что с возникновением диахронической фонологии стали привлекать внимание те связи, существование которых обнаруживается с фонологической точки зрения.

Аллофонные изменения — предпосылка фонемных изменений, как синтагматических, так и парадигматических. Однако фонемные изменения в свою очередь предпосылка аллофонных изменений, так как с возникновением нового распределения фонем в словах, так же как с изменением в общем составе фонем в языке, меняются и условия аллофонического варьирования и, следовательно, могут произойти аллофонные изменения. Уже из этого очевидно, что языковые связи у аллофонных изменений не те, что у фонемных, а у фонемных синтагматических изменений не те, что у парадигматических.

Как правило, аллофонные изменения — это результат взаимодействия звуков в синтагматической цепи, т. е. результат того или иного вида ассимиляции. Однако такое причинное объяснение далеко не исчерпывающее. Хотя ассимиляции обусловлены физиологически, в фонетически тождественных сочетаниях направление, характер и степень ассимиляции могуть быть в разных языках или в разные периоды одного и того же языка различными. Другими словами, физиологические возможности оставляют

---

[29] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 32.

[30] A. Noreen, Vårt språk, 3, Lund, 1905, стр. 19—20.

известную свободу для контактирующих звуков. В ряде случаев фонологическая точка зрения дает возможность объяснить, почему ассимиляция происходит или не происходит и почему она происходит в том, а не другом направлении. При ассимиляции по какому-либо признаку и прочих равных условиях ассимилируется та фонема, в которой данный признак не является различительным, и наоборот. Другими словами, наличие и направление ассимиляции в ряде случаев регулируется фонологическими факторами[31].

Фонологическая точка зрения помогает также объяснить кое-что в механизме взаимодействия языков. Даже те, кто считают, что всякое звуковое изменение — это в сущности заимствование, признают, что такое понимание звукового изменения не решает вопроса о его причинах[32]. С одной стороны, аллофонные изменения могут быть обусловлены тем, что благодаря лексическим заимствованиям в языке появились новые сочетания фонем; но, с другой стороны, парадигматические фонемные изменения могут быть обусловлены взаимодействием фонологических систем контактирующих языков без посредства лексических заимствований.

Но основное, что принесла с собой диахроническая фонология — это исследование различного рода «системных», или «структурных», факторов звукового изменения и в первую очередь различных случаев «давления системы». В зачатке понятие «давление системы» можно обнаружить, правда, еще у Сиверса[33] и Пауля[34]. Но только с развитием диахронической фонологии структурные факторы получили всеобщее признание. Открытие так называемых «цепей притяжения» и «цепей отталкивания», «принципа максимальной дифференциации фонем», «пустых клеток», влияние степени включения в систему, влияние того, насколько разные артикуляции благоприятны для использования в качестве различительных признаков, влияние функциональной нагрузки фонем и т. д.[35] было несомненно большим прогрессом в исследовании звуковых изменений, или вернее — в исследовании парадигматических фонемных изменений, так как все это — факторы именно этих изменений.

Естественно, что исключительное внимание, которое привлекли к себе структурные факторы, привело к некоторому преувеличению их роли. Некоторым исследователям начало казаться, что найти какой-либо структурный фактор данного парадигматического фонемного изменения — значит дать его исчерпывающее причинное объяснение. Как правило, такой фактор можно найти у всякого парадигматического фонемного изменения. Однако нетрудно доказать, что этот фактор не обусловил сам по себе данного изменения, не был единственным фактором данного изменения. Всегда можно указать на случаи, когда тот же фактор в другом языке или в другой период истории данного языка не вызвал аналогичного изменения или когда аналогичное изменение произошло, несмотря на отсутствие данного фактора. Особенно очевидно это в случае дивергентного развития фонологических систем в родственных языках, в которых, несмотря на первоначальное наличие тех же структурных факторов, развитие пошло в разных направлениях[36].

---

[31] Ср.: Л. Р. Зиндер, Общая фонетика, Л., 1960, стр. 228.
[32] H. M. Hoenigswald, указ. соч., стр. 55.
[33] E. Sievers, Grundzüge der Lautphysiologie, Leipzig, 1876, стр. 127.
[34] Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 76, 79 (примеч.).
[35] См. особенно: А. Мартине, указ. соч.
[36] Ср.: K. Togeby, Les explications phonologiques historiques sont-elles possibles?, «Romance philology», XIII, 4, 1960, где опровергаются причинные объяснения, даваемые в кн.: H. Weinreich, Phonologische Studien zur romanischen Sprachgeschichte, Münster, 1958.

Но раз никакой структурный фактор звукового изменения не обусловливает его сам по себе, то очевидно, что действие этих факторов не может быть представлено в виде причинно-следственных законов типа «если имеется такое-то явление, то должно произойти такое-то другое явление». Действие этих факторов может быть представлено только в виде утверждений типа «если имеется такое-то явление, то может произойти такое-то другое явление, но может и не произойти». Несомненно, что даже в такой форме утверждения о действии структурных факторов помогают понять причинно-следственные связи звуковых изменений. Впрочем, некоторые утверждают, что в диахронической фонологии универсалии, т. е. общие утверждения, вообще могут быть только вероятностными[37]. Такие вероятностные утверждения едва ли являются законами в большей мере, чем так называемые «фонетические законы», так как и те и другие не имеют обязательного характера. Законами диахронической фонологии следовало бы считать скорее те обобщения, которые можно сделать, исходя из фонологической точки зрения, о характере протекания звуковых изменений. Некоторые из таких законов уже были сформулированы выше, другие обосновываются в других работах. Я имею в виду, например, следующие положения: 1) постепенными могут быть только аллофонные изменения; 2) аллофонные изменения регулярны, и их регулярность не может быть нарушена действием смысловых ассоциаций, в частности — грамматической аналогией; 3) синтагматические фонемные изменения, напротив, не обязательно регулярны; 4) при ассимиляции по определенному признаку ассимилируется та фонема, для которой данный признак иррелевантен, и наоборот; 5) аллофоны одной фонемы, оказавшись в одинаковом окружении в результате исчезновения различия между двумя различными окружениями, становятся разными фонемами, не претерпевая никакого физического изменения; 6) возникновение нового различительного признака сопровождается исчезновением какого-то другого существенного различия; 7) одновременно не изменяется больше одного различительного признака данной фонемы[38]; 8) число различительных признаков не увеличивается, если одновременно не увеличивается число фонем.

Все эти положения, с одной стороны, обобщают факты, наблюдаемые в конкретных языках, а с другой стороны, вытекают из применения фонологической точки зрения к звуковым изменениям. В этом смысле — они законы диахронической фонологии. Однако законы эти не могут быть проверены экспериментально, и для их установления не были обследованы все языки, которые существовали в прошлом, существуют или будут существовать в будущем. Поэтому законы эти — гипотезы. Впрочем, как справедливо говорит Бодуэн де Куртенэ, «всякое научное объяснение, всякий закон естественных наук, хотя бы взятые в виде самой точной математической формулы, являются только научными предположениями, или гипотезой»[39]. Вполне возможно, что эти законы будут опровергнуты, подобно тому как другие законы, устанавливаемые наукой, опровергаются с ее развитием. Теория не может ограничиваться чисто терминологическими задачами, т. е. придумыванием названий, к чему лингвистические теории, к сожалению, слишком часто сводятся. Называть — это только одна из побочных функций теории. Основная задача ее в том, чтобы вскрывать существенное и общее, т. е. устанавливать законы.

---

[37] J. H. Greenberg, Ch. Osgood, J. Jenkins, Memorandum concerning language universals, в кн.: «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963, стр. 261—262.

[38] M. I. Steblin-Kamenskij, The Scandinavian rhotacism and laws governing the change of distinctive features, «Philologica pragensia», I, 4, 1963, стр. 364 и сл.

[39] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Об общих причинах звуковых изменений, стр. 225.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

Ю. В. СОЛОНИЦЫН

О ЦИФРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ «СИЛУ» УПРАВЛЕНИЯ

В проблеме разграничения сильного и слабого управления определился поворот от интуитивных, в высшей мере приблизительных характеристик к поискам строго объективных, математически обоснованных оценок, о чем свидетельствует, в частности, интересная статья Ю. Д. Апресяна «О сильном и слабом управлении»[1]. В статье подвергнуты тщательной обработке данные «Частотного словаря современного русского литературного языка» Э. А. Штейнфельдт, касающиеся управления нескольких сот русских глаголов, и предлагается методика определения пограничной точки между основными классами управления.

Автор неоднократно подчеркивает, что полученные в работе результаты недостаточно надежны, главным образом вследствие ограниченности материала, почерпнутого из частотного словаря. Соглашаясь с этой оценкой, попытаемся представить, каким требованиям должны удовлетворять исходные статистические данные, обеспечивающие бóльшую точность показателей «силы» управления[2].

1. Как известно, посредством одной и той же зависимой (падежной или предложно-падежной) формы могут передаваться различные синтаксические отношения. Ср.: *стрелять из винтовки* (объектные отношения — указание на орудие действия); *стрелять из кустов* (чисто пространственные отношения — указание на исходную точку действия). Сила управления каждой из этих конструкций со стороны глагола *стрелять*, по-видимому, различна и требует дифференцированных количественных характеристик. Суммарный же показатель не дает возможности правильно оценить ни того, ни другого сочетания. Ср. аналогичные примеры: *приехать из-за океана — приехать из-за жалобы*; *упасть со столба — упасть со страху*; *брать с покупателя — брать с полки*; *ехать от райкома* I (указание на исходную точку) — *ехать от райкома* II (указание на то, по чьему поручению совершается действие)[3].

По-видимому, нельзя оценивать «оптом» управление глагола также конструкцией «*с*+ творительный» в известном анекдоте о трех гостях, один из которых пил чай *с сахаром*, другой — *с подстаканником*, а третий — *с удовольствием*.

Таким образом, данные, характеризующие управление того или иного глагола, должны распределяться не только по падежам и предлогам, но и по характеру выражаемых синтаксических отношений.

---

[1] ВЯ, 1964, 3.

[2] Как и Ю. Д. Апресян, мы считаем «Частотный словарь» Э. А. Штейнфельдт весьма ценной работой, хотя и не лишенной известных недостатков, впрочем, неизбежных при отсутствии какой-либо традиции создания подобных словарей.

[3] Это же значение конструкции «*от* + родительный» видим в следующих примерах: «Терентий... ездил от Стоднева в извоз» (Гладков, Повесть о детстве): «Мы не от подрядчицы работаем» (Гладков, Вольница); «А я, оказывается, остаюсь от энкаведе» (Фадеев, Молодая гвардия); «От норвежцев идет... Бренден» («Советский спорт» 20 I 65).

2. Среди зависимых форм, возможных при данном глаголе, различаются одноплановые и разноплановые формы. Так, сопоставляя сочетания *ехать на лошади*, *ехать в Москву*, *ехать из леса*, *ехать с поля*, *ехать от берега*, в трех последних отмечаем наличие зависимых форм одного плана — указание на исходную точку движения. Ср. также: *узнать у товарища — узнать от товарища* (указание на источник информации); *голосовать за предложение — голосовать против предложения* (указание на мнение, выраженное голосованием).

Выбор в определенном контексте той или иной зависимой формы (из ряда одноплановых) от семантики глагола зачастую не зависит. Семантикой глагола в таких случаях определяется не степень обязательности конкретной зависимой формы, а степень обязательности пояснения данного плана, т. е. дизъюнкции всех одноплановых форм.

Наличие показателя, оценивающего силу управления глагола по отношению к такой дизъюнкции,— непременное условие правильной характеристики валентности глагола.

3. Разные лексико-фразеологические варианты полисемантичного глагола обладают неодинаковыми сочетательными возможностями. Больше того, именно дистрибутивные различия с большой точностью диагностируют разные значения глагола[4]. Следовательно, управление каждого лексико-фразеологического варианта многозначного глагола должно описываться и оцениваться отдельно. В первую очередь это относится к вариантам, резко различающимся своей сочетаемостью с зависимыми формами.

4. На управляющую способность глагола нередко влияет его вид. Как известно, многие глаголы совершенного вида легко сочетаются с родительным неопределенного количества (иначе — партитивным), чего нельзя сказать о глаголах несовершенного вида. Вид глагола несколько влияет на выбор падежа прямого объекта при отрицании[5]. Отсутствие прямого объекта при переходных глаголах совершенного вида наблюдается значительно реже, чем при соответствующих глаголах несовершенного вида.

Таким образом, «оптовая» оценка управляющей силы глаголов[6], образующих видовую пару, не всегда оправдана.

*

Проиллюстрируем сказанное выше цифровыми показателями, характеризующими сочетательные возможности глагола *стрелять*, использовав для этого текст общим объемом порядка 1,8 миллиона слов (50 номеров газеты «Известия», 22 номера «Огонька» и 2 тома романа Горького «Жизнь Клима Самгина»). Глагол *стрелять* в наших текстах встретился 84 раза[7]. Это количество слишком невелико для того, чтобы делать особо точные выводы. К тому же общий объем текста определен приблизительно — на основании выборочных подсчетов. Данные в таблицах приводятся лишь по одному значению глагола *стрелять* «производить выстрелы из какого-либо оружия» (всего 79 раз), так как другие значения представлены единичными примерами или не встретились вовсе.

---

[4] См.: Ю. Д. Апресян. О понятиях и методах структурной лексикологии, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 151—152.

[5] См. об этом: Ю. В. Солоницын, Некоторые лексико-грамматические факторы, обусловливающие выбор падежа прямого дополнения при отрицании, сб.«Очерки по русскому языку», Киров, 1962, стр. 108—109.

[6] Такая оценка дается в упомянутой статье Ю. Д. Апресяна «О сильном и слабом управлении».

[7] В «Частотном словаре» Э. А. Штейнфельдт — 19 из текста объемом 400 тысяч слов.

Таблица 1

Характер пояснений («план»)	Наличие зависимых форм, дающих пояснение данного плана	
Указание на «цель» [1] — 30 (38%)	*в* + винительный	— 23
	по + дательный	— 7
Указание на оружие — 13 (16,5%)	*из* + родительный	— 13
Указание на исходную точку — 9 (11,4%)	*с* + родительный	— 7
	из + родительный	— 1
	наречие	— 1
Указание на время — 5 (6,34%)	наречие	— 2
	через + винительный	— 1
	в + винительный	— 1
	придат. предлож.	— 1
Указание на образ действия — 4 (5,06%)	наречие	— 3
	без + родительный	— 1
Указание на «заряд» — 3 (3,8%)	творительный беспредложный	— 3[2]
Указание на причину — 3 (3,8%)	*за* + винительный	— 1
	из-за + родительный	— 1
	наречие	— 1
Указание на направление выстрела (без обозначения цели) — 3 (3,8%)	*в* + винительный	— 2[3]
	вдоль + родительный	— 1
Указание на место — 2 (2,53%)	*в* + предложный	— 1
	наречие	— 1

[1] Имеется в виду не обстоятельство цели, а объект (мишень) стрельбы: *стрелять в волка*.
[2] Например: *стрелять картечью*.
[3] Например: «...*стреляли* в Победоносцева, с улицы, *в окно*» (М. Горький, Жизнь Клима Самгина).

Все это в данном случае не имеет большого значения, поскольку мы хотим показать лишь принцип распределения цифрового материала (см. табл. 1).

Вероятно, есть смысл иметь также данные, характеризующие возможные комбинации разноплановых конструкций при данном глаголе. Приведем их по глаголу *стрелять* (в том же значении; см. табл. 2).

Как бы ни были точны статистические данные, характеризующие лишь «наличие — отсутствие» тех или иных зависимых форм, они все-таки дают неполное, одностороннее представление о силе управления глагола, поскольку не принимают во внимание возмещающую роль контекста. Ограничимся одним примером.

Глагол *отказаться*, зарегистрированный в наших текстах 182 раза, в 113 случаях сочетается с конструкцией «*от* + родительный», обозначающей так называемый «отрицательный объект», и в 48 — с инфинитивом, выполняющим по отношению к данному глаголу аналогичную функцию. В 21 случае (11,5%) указание на «отрицательный объект» отсутствует[8]. Однако во всех этих случаях отсутствие конструкции «*от* + + родительный» или инфинитива возмещается контекстом. Например: «Она предложила Климу чаю, Клим вежливо отказался» (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); «Рогов тоже хотел что-нибудь купить на память пану Станиславу, но пан Станислав отказался» («Огонек», 1964, 11); «Можно взять такси... Старик отказался» (там же). Отсутствие зависимой формы в подоб-

[8] При *отказываться* — «*от* + родительный» и инфинитив употреблены по 23 раза. Отсутствие зависимой формы наблюдается в 4 случаях.

Таблица 2

Количество зависимых форм	Характер пояснений («план»)	Зависимые формы, дающие эти пояснения
Глагол употреблен без зависимых форм — 32 (40,5%)	—	—
Одна — 28 (35,5%)	«цель» — 15	*в* + винительный — 12
		по + дательный — 3
	оружие — 6	*из* + родительный — 6
	исходная точка — 2	*с* + родительный — 2
	образ действия — 2	*без* + родительный — 1
		наречие — 1
	причина — 1	*за* + винительный — 1
	направление выстрела — 1	*вдоль* + родительный — 1
	место — 1	наречие — 1
Две — 16 (20,2%)	«цель» и оружие — 4	*в* + винительный и *из* + родительный — 3
		по + дательный и *из* + родительный — 1
	«цель» и образ действия — 2	*в* + винительный и наречие — 1
		по + дательный и наречие — 1
	«цель» и время — 2	*в* + винительный и наречие — 1
		по + дательный и придат. предлож. — 1
	«цель» и причина — 2	*в* + винительный и *из-за* + родительный — 1
		в + винительный и наречие — 1
	исходная точка и «цель» — 2	*с* + родительный и *в* + винительный — 1
		наречие и *в* + винительный — 1
	исходная точка и направление выстрела — 1	*с* + родительный и *в* + винительный — 1
	«заряд» и оружие — 1	творительный беспредложный и *из* + родительный — 1
	исходная точка и оружие — 1	*с* + родительный и *из* + родительный — 1
	оружие и время — 1	*из* + родительный и *в* + винительный — 1
Три — 1 (1,27%)	«цель», исходная точка, направление выстрела — 1	*в* + винительный, *с* + родительный, *в* + винительный — 1
Четыре — 1 (1,27%)	время, «цель», исходная точка, «заряд» — 1	наречие, *по* + дательный, *с* + родительный, творительный беспредложный — 1
Пять — 1 (1,27)	время, место, исходная точка, «заряд», «цель» — 1	*через* + винительный, *в* + предложный, *из* + родительный, творительный беспредложный, *в* + винительный — 1

ных ситуациях, по-видимому, нельзя приравнивать к отсутствию, не возмещенному контекстом. Возмещающая роль контекста проявляется в разнообразных формах, которые должны стать предметом специального исследования.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. С. БАЕВСКИЙ

О ЧИСЛОВОЙ ОЦЕНКЕ СИЛЫ СЛОГОВ В СТИХЕ АЛЬТЕРНИРУЮЩЕГО РИТМА

Стих альтернирующего ритма обычно рассматривается как сочетание ударных и безударных слогов[1]. Для более точного моделирования хорея и ямба можно учитывать и определять с помощью чисел реальную силу слогов.

Такой подход к исследованию русского стиха впервые был осуществлен В. М. Жирмунским. Традиционному различению ударных и безударных слогов он противопоставил по возможности точное определение реальной силы слога. Принимая минимальную «силу» за 0, а максимальную за 1, он отмечает промежуточные градации ($0; {}^1/_4; {}^1/_2; {}^3/_4; 1$) и указывает на возможность еще большей их детализации, например по восьмым долям [2]. Сохраняя общий принцип такого анализа, можно вместе с тем оперировать градациями, установленными фонетистами. Как правило, при таком подходе сила ударного слога оценивается в 3, первого предударного — в 2, остальных — в 1, промежуточные формы оцениваются как $1^1/_2$ и $2^1/_2$. Поскольку сила слога есть функция не только его места по отношению к ударению, но и других факторов (словораздел, пауза, структура слога, степень знаменательности слова), его числовое выражение в известной мере представляет все эти языковые категории.

Исследователи силы слога в английских, немецких и французских стихах различали примерно девять ступеней ударности[3]. По этому поводу В. М. Жирмунский пишет: «Конечно, далеко не все оттенки, улавливаемые при таком субтильном фонетическом анализе, имеют реальное значение при восприятии ритма стиха»[4]. Против фетишизации цифр неоднократно предостерегали математики — Б. В. Томашевский, А. Н. Колмогоров[5]. Важная в этом отношении мысль содержится в последней книге Н. Винера. Он пишет, что «одна из основных обязанностей математика, приглашенного учеными, занимающимися менее точными науками, в качестве консультанта, состоит в том, чтобы убедить их не ждать слишком многого от математики. Они должны были постигнуть, что нет никакой научной заслуги (и есть очень большой научный порок) в том, чтобы упо-

---

[1] Из последних работ см., например: Ю. М. Лотман, Лекции по структуральной поэтике, вып. 1 (Введение, теория стиха), «Уч. зап. Тартуск. ун-та», 1960. Труды по знаковым системам, 1, 1964, стр. 95—96.

[2] В. М. Жирмунский, Введение в метрику, Л., 1925, стр. 126—130, 161—167.

[3] См. там же, стр. 161—165 и 275—276.

[4] Там же, стр. 163.

[5] Б. В. Томашевский, О стихе, Л., 1929, стр. 35—36, 183, 275—276; А. Н. Колмогоров, Замечания по поводу анализа ритма «Стихов о советском паспорте» Маяковского, ВЯ, 1965, 3, стр. 75.

треблять трехзначное число, когда для соображений точности вполне достаточно однозначного»[6].

Изучая трудности акцентуации, В. М. Жирмунский выработал свод правил[7]. С ними отчасти совпадают просодические замечания А. Белого[8]. Для уточнения некоторых трудных случаев определения силы слога полезно было бы обратить внимание и на качество гласного. Оно имеет при этом чисто вспомогательное значение как показатель силы слога[9].

Предлагаемые нами уточнения сводятся к следующему.

«Местоимения личные и притяжательные (*я*, *он*, *мой*...) могут быть использованы в стихе различным образом в зависимости от своего положения в метрической схеме. На метрически неударном месте они являются неударными, атонируясь благодаря соседнему ударению...»[10]. Первый пример к этому положению

Мой дядя самых честных правил.

Обратим, однако, внимание на то, что в слове-слоге *мой* гласный слышен так же отчетливо, как «под ударением», когда сила его равна 3, почти как в *занемог*. В то же время в первом предударном слоге, оцениваемом в 2, нормально этот звук редуцируется в [ʌ] ,как в слове *когда* следующего стиха. Эта разница вызвана неполнотой проклизы, относительной «самостоятельностью» местоимения *мой*, и реально ощущается на слух. Можно условно считать, что сила слова-слога *мой* приблизительно равна $2^1/_2$.

Другое уточнение относится к метрически двойственным двусложным словам. Согласно В. М. Жирмунскому, ударение в них заметно более слабое, чем в соседних, к нему применяется термин «полуударение»[11]. Ср. первые слова в примерах:

Когда не в шутку занемог;
Его пример другим наука.

Однако в этих и подобных случаях относительная слабость ударения по сравнению с другими ударениями зависит больше от общей структуры предложения, чем от собственно фонетических закономерностей. Стихи можно прочитать и так, что логическое ударение придется именно на выделенные слова, которые окажутся в этом случае сильнее соседних. Для этого во втором стихе стоит, например, подчеркнуть противопоставление:

Его пример — *другим* наука.

---

[6] Н. Винер, Я — математик, М., 1964, стр. 274.
[7] В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 95—130.
[8] А. Белый, Ритм как диалектика и «Медный всадник», М., 1929, стр. 237—245.
[9] М. Л. Гаспаров, исследуя место вольного стиха в стихотворной системе Маяковского, занимает следующую позицию: «В извечном вопросе о тонировании и атонировании ударений мы следовали установившейся в русском стиховедении системе: максимум тонирования на метрически сильных местах, минимум — на метрически слабых» («Вольный хорей и вольный ямб Маяковского», ВЯ, 1965, 3, стр. 77). В соответствии с этим в стихе

Это слово крепче клятв солдатом поднятой руки

автор считает безусловно ударной стопу, образуемую указательным местоимением *это*; в стихе

Он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид

автор считает безусловно ударными личные местоимения *он* (стр. 81). Сознавая приблизительность такого подхода, автор, когда считает нужным, производит подсчет отдельно по случаям максимальной и минимальной ударности. Для его целей — сравнения хорея с дольником и акцентным стихом — этого оказывается достаточно (см. стр. 78). Однако при изучении ритмики хорея и ямба желательна большая точность.
[10] В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 106.
[11] Там же, стр. 116—117.

В. М. Жирмунский указывает, что выведенные им правила акцентуации допускают исключения под воздействием логического или эмфатического ударения[12].

Видимо, следует решительно различать ударение собственно фонетическое — с одной стороны, и логическое и эмфатическое — с другой. Если для русского словесного ударения наиболее характерно повышение голоса, увеличение силы, то смысловое ударение часто достигается понижением голоса, замедлением или ускорением темпа произнесения слова, паузой перед словом и другими средствами. В частности, в стихах

И я любила вас, и что же?
Что в сердце вашем я нашла?

слово-слог *что* в начале второй строки, несущее фразовое ударение, вполне может быть выделено понижением голоса. Здесь необходимо учитывать стиль исполнения стихов, в данном случае пушкинских. Можно принять за некую норму чтение самого поэта, как оно восстанавливается современными исследователями: его особенности выражаются формулой «напевность и простота»[13].

В связи со сказанным специально следует рассмотреть знаменитые пушкинские строки

Швед, русский колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет...

Они обычно приводятся как классический пример появления полновесного внеметрического ударения. Между тем ясно, что сила слов-слогов *швед* и *бой* не была бы равна 3, если бы не фразовое ударение. В первом стихе действует перечисление с оттенком противопоставления *швед*, *русский*, которое требует одинакового выделения обоих слов; во втором тот же эффект вызван перечислением *бой*, *клики*, *скрежет* (которое продолжается еще в последующих стихах). Если бы в первом случае было, допустим,

Швед быстро колет, рубит, режет,

а во втором

Бой барабанный всюду слышен,

то слова-слоги *швед* и *бой* имели бы силу не 3, а $2^1/_2$.

Отсюда важный вывод. Без влияния эмоционально-логического фактора на метрически слабых местах не может быть максимального ударения[14]. Именно это давно позволило Л. В. Щербе заметить, что он разумеет под ямбом «лишь факт отсутствия ударения на нечетных слогах»[15]. Данное определение учитывает все пропуски метрических ударений, но не отражает случаев появления внеметрических (ослабленных), а также логических и эмфатических ударений. Так же следует понимать Б. В. Томашевского, когда он говорит, что в ямбе ударные слоги приходятся только на четные места[16].

[12] В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 105—106.

[13] См.: Г. В. Артоболевский, Очерки по художественному чтению, М., 1959, стр. 176—186. О стилях исполнения ямбических и хореических стихов см.: Б. В. Томашевский, Стих и язык, М.—Л., 1959, стр. 59 и 65—69.

[14] «...добросовестный статистический и качественный анализ,— говорит Б. В. Томашевский о ямбе,— приводит меня решительно к выводу об особой природе нечетных ударений, не имеющей ничего общего с ударениями четных слогов» (О стихе, Л., 1929, стр. 195, примеч.).

[15] Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихотворений. 1. «Воспоминание» Пушкина, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 37.

[16] Б. В. Томашевский, Стих и язык, М.—Л., 1959, стр. 41.

Л. В. Щерба дал непревзойденные образцы лингвистического толкования поэтических произведений. Его разбор пушкинского «Воспоминания» следует признать классическим. И все же здесь, сделав несколько замечаний о ритмическом движении, образуемом строфами и сочетанием стихов разной длины, он почти ничего не мог сказать о метрике. Видимо, сам удивленный, он пишет: «Замечательно, что этим для меня и исчерпывается ритмичность стихотворения, если не считать того, что они написаны (sic!) правильным ямбом...»[17]. И он в своей разметке одинаковым знаком [◡] характеризует слоги разного качества. Рассмотрим, например, 1, 5, 11 и 12 стихи.

(1) *Ко*гда для смерт*ного* умолкнет шумный день
(5) *В то* время для меня *вла*чат*ся* в тишине
(11) *Воспо*минание безмолв*но* пре*до* мной
(12) *Свой* длинный *раз*вивает сви*ток*

Все выделенные слоги отмечены Л. В. Щербой как безударные. Это верно, но это и обедняет картину ритмического разнообразия стиха, нивелируя все «слабые» слоги. Между тем, в первом стихе первый слог по силе совершенно отличен от второго слога слова *смертного*, и оба они не такие, как первый слог пятого стиха. В пятом же стихе над словом *влачатся* знаки расставлены следующим образом: [◡ — ◡], что соответствует графическому изображению движения голоса на рис. 1.

В действительности заударный слог в данном случае значительно слабее предударного, и движение голоса здесь точнее должно быть показано на рис. 2.

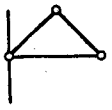


Рис. 1

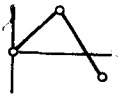


Рис. 2

Рассмотрим теперь ритм двух первых стихов первой главы «Евгения Онегина». Так как сила слога зависит от его места в речевом потоке не только относительно ударения, но и относительно паузы, будем все паузы (каковы бы ни были их смысл и длительность) отмечать чертой [/]:

2 1/2 3 2 3 1 3 1 3 1 1/2
Мой дядя /самых честных правил/
2 3 2 3 1 1 2 3
Когда не в шутку занемог/

Изобразим теперь графически эту метрическую схему в сравнении с «традиционной», основанной на противопоставлении «ударных» и «безударных» слогов (см. рис. 3).

Только числовая нотация позволяет придать точкам определенный количественный смысл и построить простейший график. Направление движения ритма на левом и на правом чертеже, естественно, одно и то же, но ритмический рисунок, характеризуемый правым чертежом, богаче. Он показывает, в частности, что первый слог первого стиха почти равен по силе второму; что от четвертого до девятого слогов стих состоит из трех «хореических» слов, с первым слогом ударным, вторым — безударным (об

[17] Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 36.

этом говорит падение от 3 до 1). Показательна разница в характеристике шестого-восьмого слогов второго стиха на обоих чертежах. Левый представляет дело так, что шестой и седьмой слоги равны пятому и между собою, а на восьмом следует усиление. Правый же рисует гораздо более

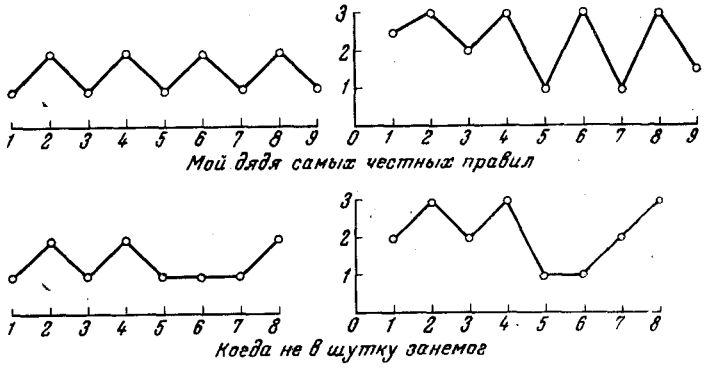


Рис. 3

живой ритмический ход: после четвертого, максимально сильного слога — максимальное падение силы на пятом и шестом, затем возрастание на седьмом и снова достижение верхнего предела на восьмом. Это устремление вверх, это постепенное нарастание силы конечного слова второго стиха
1 2 3
занемог сообщает ему особое качество, особую энергичность, которая отлично видна на графике справа и совершенно пропадает на левом чертеже.

Важный пример недостаточности «традиционного» восприятия слогов в стихе как сильных и слабых, а самого стиха как состоящего из ямбов и пиррихиев демонстрирует Б. В. Томашевский: «... иной раз стих при одинаковом расположении пиррихиев может давать разные варианты ритмико-интонационного характера. Вот, например, два варианта одного стиха Пушкина:

Сатиры смелый властелин...
Сатиры смелой властелин...

Оба варианта содержат одинаковые звуки, в обоих одинаковые словоразделы и одинаковое положение пиррихия на третьей стопе. Однако первый дает основное сечение после первого слова:

Сатиры / смелый властелин...

Во втором:

Сатиры смелой / властелин...» [18]

Б. В. Томашевский ведет речь не о том, разумеется, что филологи не обращают внимания на паузы — это элементарно, и это делается. Но пауза — реальное явление речи и стопа — условность суть категории разных планов, несовместимые одна с другой. В то же время пауза и сила слога — одинаково реальные, непосредственно взаимосвязанные факты устной речи. Поэтому точное определение силы слогов может характеризовать разницу между приведенными Б. В. Томашевским вариантами стиха о Фонвизине, которую никак не улавливают счет ударных и безударных слогов и наблюдения над «пиррихическими ходами». Покажем это графически на рис. 4. На традиционной схеме (слева) оба случая выглядят,

[18] Б. В. Томашевский, Стих и язык, стр. 47.

понятно, одинаково. Графики справа дают различия: в первом варианте открытый третий слог перед паузой сильнее, чем во втором, где он приходится в середине речевого такта; пятый слог сильнее перед паузой во втором случае.

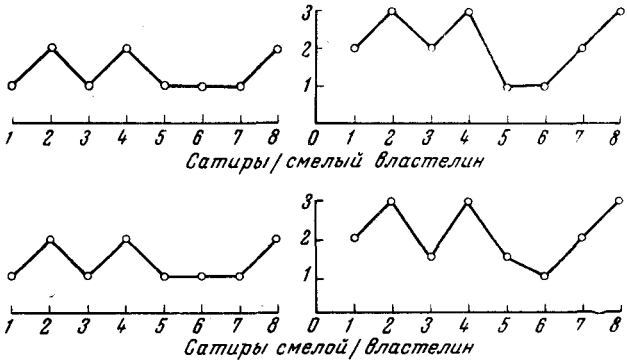


Рис. 4

Таким образом, предложенный здесь метод числовой оценки силы слогов дает возможность более точно, чем это делалось до сих пор, моделировать стих альтернирующего ритма.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

Р. М. ФРУМКИНА

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СЛОВ

В цикле исследований, начатых в 50-х годах работами Д. Хауэса и Р. Соломона[1], было установлено, что некоторые существенные аспекты речевого поведения человека связаны со статистическими характеристиками элементов речи (текста). В частности, было показано, что если с помощью тахистоскопа предъявлять испытуемым слова на короткий промежуток времени, то чем чаще слово, тем меньше время экспозиции, которое требуется для его распознавания[2]. Аналогичные результаты были получены при изучении восприятия слов на слух в условиях белого шума: более частые слова хорошо распознавались при высоких уровнях шума, а для распознавания редких слов требовалось значительно уменьшить уровень шума.

В общем виде результаты этих работ можно сформулировать так: пороги распознавания слова при чтении его в тахистоскопе и при восприятии в условиях белого шума являются линейной функцией логарифма частоты слова. Коэффициенты корреляции между логарифмами частоты слова и соответствующими порогами распознавания слова имели незначительный разброс и в среднем лежали в интервале 0,7 — 0,8. Эти наблюдения послужили основанием для предположения о том, что в механизмах, связанных с восприятием и воспроизведением речи, слова́ (и другие элементы речи) кодируются и декодируются с учетом их вероятностей[3]. В экспериментах с тахистоскопом временно́й порог распознавания слова косвенно указывает на тот, условно выражаясь, «аналог» частоты слова, который имеется в речевых механизмах испытуемого, а сравнительно малый разброс индивидуальных значений коэффициентов корреляции свидетельствует о большой общности этих «аналогов» для отдельных испытуемых. Было предложено несколько моделей, интерпретирующих этот «аналог», как, например, концепция «исходной вероятности слова» (base probability) Хауэса, гипотеза Дж. Мортона[4] и др.

Известно, что поведение человека — и в том числе речевое поведение — во многом основывается на вероятностном прогнозировании возникающих в процессе жизненной практики ситуаций. Чтобы обеспечить адекватность поведения, прогноз должен быть адекватным, а точность прогноза, очевидно, зависит от того, насколько тонко различаются вероятности соот-

---

[1] См., например: D. H. Howes, R. L. Solomon, Visual duration threshold as a function of word-probability, «Journal of experimental psychology», 41, 6, 1951.

[2] Сведения о частотах слов в большинстве экспериментов брались из частотных словарей.

[3] Ср. гипотезу, высказанную Б. Мандельбротом в 1955 г. в связи с публикацией результатов Хауэса и Соломона (Б. Мандельброт, О рекуррентном кодировании, ограничивающем влияние помех, в кн.: «Теория передачи сообщений», М., 1957).

[4] D. Howes, On the interpretation of word frequency as a variable affecting speed of recognition, «Journal of experimental psychology», 48, 2, 1954; J. Morton, A model for continuous language behaviour, «Language and speech», 7, pt. 1, 1964.

ветствующих ситуаций. В рамках этой общей проблемы данные о вероятностной структуре речи и соответствующих особенностях речевого поведения представляют существенный интерес.

Результаты экспериментов с тахистоскопом и распознаванием слов на слух позволяют судить о том, что вероятности слов влияют на распознавание слов и, следовательно, различаются испытуемыми. Другой аспект задачи заключается в том, чтобы выяснить, как человек может решать задачу о распознавании самих вероятностей слов в том случае, когда перед ним ставится именно эта задача в прямой форме, например, когда испытуемым предлагается указать, каковы частоты тех или иных слов, или указать, какие слова, по их мнению, относятся к более частым, какие — к более редким. Существенный интерес представляли бы данные о соотношении прямых оценок и косвенных оценок (т. е. тех, о которых свидетельствуют пороги восприятия), а также сопоставление тех и других с данными частотных словарей.

Вопрос о соотношении прямых оценок вероятностей некоторых событий и непосредственно подсчитанных частиц осуществления событий был исследован Ф. Эттнивом[5]. Он рассматривал оценки вероятностей «psychological probability») встречаемости букв английского алфавита, которые давались испытуемыми, и исследовал корреляцию этих оценок с частотами букв, подсчитанными с достаточно малой погрешностью по текстам газет и журналов. Эти вопросы интересовали Эттнива в рамках общей проблематики адекватности вероятностного прогнозирования. Буквы были для него удобным материалом для постановки эксперимента, поскольку их частоты в текстах очень стабильны, а, кроме того, потому, что естественно было предположить, что все взрослые грамотные индивиды имеют одинаковый опыт в отношении восприятия частот букв. Эксперимент проводился по двум методикам. В первом случае испытуемые получали листок с английским алфавитом, и им предлагалось против каждой буквы записать, сколько раз она в среднем встречается на 1000 букв английского текста (для ориентировки сообщалось, что при одинаковой частоте букв каждая буква появлялась бы 38 раз на 1000 букв текста, и значит, одни буквы должны получить оценку более 38, другие — менее 38).

Вторая методика заключалась в том, что группа испытуемых была разбита на три подгруппы, которые получили одинаковое задание, но разные ориентировочные инструкции. Экспериментатор выдал каждому испытуемому по 100 карточек типа игральных карт, повернутых «рубашкой» вверх, и объявил, что на каждой карте написана буква английского алфавита (на самом деле карты были пустыми). Предлагалось, не заглядывая в карты, последовательно угадывать, какая буква написана на каждой из них, и записывать отгаданное на отдельном листе в виде столбика букв. Первая подгруппа не получила ориентировочной инструкции; второй подгруппе было сказано, что буквы расположены на карточках в совершенно случайном порядке; а третьей подгруппе было сообщено, что буквы на карточках повторяются так же, как это происходит в тексте. Поскольку корреляция между частотами оказалась несколько криволинейной, Эттнив вычислил коэффициент корреляции не для самих частот и «оценочных частот», а для их логарифмов[6]. Наилучшая корреляция — 0,79 — была получена между истинными частотами и оценками по первой методике, представлявшими собой прямые оценки, а также между этими последними и результатами третьей подгруппы (вторая методика), получившей инструк-

[5] F. Attneave, Psychological probability as a function of experienced frequency, «Journal of experimental psychology», 46, 2, 1953.

[6] Ср. ниже, стр. 92, примеч. 11.

цию, приближающую задачу к прямой оценке (0,88). Любопытно, что алфавитный порядок не повлиял на оценку частот испытуемыми. Эттнив отметил, что у большинства испытуемых наблюдались общие ошибки — тенденция завышать при оценке малые частоты и занижать большие, хотя в целом испытуемые вполне справляются с задачей прямой оценки частот букв.

В отношении частот слов интересные эксперименты по прямой оценке частот были проведены Д. Хауэсом[7]. Ниже мы ограничимся обсуждением методики его эксперимента. Нам приходилось отмечать, что прямые оценки частот слов бывают, как правило, завышены для редких слов[8]; при этом имелось в виду, что задание, предлагаемое испытуемому, аналогично тому, что было сделано в первом эксперименте Эттнива: требовалось, например, указать, сколько раз в среднем на 1000 слов текста встречается слово *так*. Хауэс избрал другую методику: он предлагал испытуемым давать словам из предложенного списка относительные оценки, ранжировать их соответственно своим индивидуальным представлениям о частоте их встречаемости. Очевидно, что о способности испытуемых давать оценки частотам слов можно судить, сравнивая ранги, приписанные словам испытуемыми («оценочные» ранги), и «истинные» ранги, которые экспериментатор приписывает словам на основе данных частотного словаря. Для подобного суждения естественно использовать коэффициент ранговой корреляции[9].

Приведем в качестве примера данные, полученные в одном из экспериментов Хауэса[10]. Из частотного словаря Торндайка и Лорджа было выбрано 15 слов, отстоящих друг от друга на равные интервалы логарифма частоты слова (порядка 0,3000)[11]. Эти 15 слов были предъявлены 14 испытуемым с тем, чтобы каждый из них приписал слову определенный ранг (от 1 до 15), отражающий частоту слова. Затем экспериментатор усреднил «оценочные» ранги (подсчитав их среднее арифметическое) и приписал каждому слову его «средний оценочный» ранг. Далее, с помощью коэффициента ранговой корреляции было проведено сравнение «истинных» и «оценочных» рангов по формуле $\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n^3 - n}$, где d_i — разность между парой рангов, n — число сравниваемых пар. Для данного примера $\rho = 0{,}87$, что означает: между прямыми оценками испытуемых и частотами слов в частотном словаре Торндайка несомненно существует корреляция.

Результаты такого рода были получены Хауэсом в нескольких экспериментах. Качественно это означает, что субъективные представления испытуемых о частоте слов явно коррелированы с объективными данными, полученными из письменных источников. Однако надо иметь в виду, что и данные частотных словарей являются не абсолютной шкалой отсчета (по сравнению с которой оценки испытуемых могут рассматриваться как более или менее верные), а всего лишь статистическими оценками. Следует, ви-

---

[7] D. Howes, указ. соч.

[8] Р. М. Фрумкина, Статистические методы изучения лексики, М., 1964, стр. 14.

[9] О содержательном смысле коэффициента ранговой корреляции и способе его вычисления см.: Р. М. Фрумкина, указ. соч., стр. 55—78.

[10] D. Howes, указ. соч., стр. 106—112.

[11] В большинстве экспериментов, проводимых с частотами слов, имеет смысл рассматривать не сами частоты, а их логарифмы. В данном случае, в частности, это разумно потому, что условием применения коэффициента ρ является прямолинейность корреляции между рассматриваемыми признаками, а переход от частот к их логарифмам обеспечивает прямолинейность корреляции.

димо, полагать, что данные прямых оценок и данные частотных словарей коррелированы потому, что они отражают некоторую статистическую среднюю, характеризующую вероятность слова в совокупности лингвистической деятельности индивида. Если в эксперименте будет наблюдаться отсутствие корреляции между данными словарей и субъективными оценками некоторой группы испытуемых, то это, по-видимому, должно указывать на то, что данные словаря и данные прямых оценок относятся к разным (в статистическом смысле) совокупностям[12].

Большой интерес представляло бы получить соответствующие данные о словаре современного русского языка Э. А. Штейнфельдт[13]. В отношении словаря Штейнфельдт не раз высказывались опасения, что поскольку в нем преобладающую долю выборки составляют тексты детской и юношеской литературы, то его данные не могут быть основанием для суждения о средней встречаемости слов в современном общелитературном русском языке. Эти сомнения не могут быть рассеяны только на основе того, что, как это было показано Э. А. Штейнфельдт и проверено нами на ином материале[14], 2500 слов словаря устойчиво покрывают 75—80% словоупотреблений в самых разнообразных литературных текстах: такой же результат может быть достигнут при различном распределении слов по частоте в пределах указанных 2500. Так, можно предположить, что слово, указанное у Штейнфельдт под № 2500, при обследовании иной группы текстов окажется под № 1000, а слово № 1000 передвинется на № 1800 и т. д. Поэтому мы решили исследовать, как коррелированы частоты слов по словарю Штейнфельдт и прямые оценки взрослых испытуемых.

Методика эксперимента 1. Подбор слов. Для эксперимента следовало отобрать группу слов, представляющую различные частотные интервалы словаря Штейнфельдт. Желательно было, чтобы интервал между каждыми двумя соседними по частоте словами, измеряемый в логарифмах частоты, не был слишком мал, поскольку неизвестно, насколько тонко различаются частоты слов испытуемыми при необходимости дать им прямую оценку. Единственное, что было в данном случае известно,— это что при интервале в $\log f = 0{,}3000$, который был выбран в эксперименте Хауэса, испытуемые хорошо справляются с задачей прямой оценки. Можно предполагать, что существует некоторый нижний предел интервала, при котором слова еще отчетливо квалифицируются как разные по частоте. При выходе за этот предел восприятие разницы между частотами существенно ухудшается, и потому нельзя ожидать, что полученные в таких условиях оценки могут быть коррелированы с данными частотного словаря. Поскольку численная величина этого предела нам пока неизвестна, желательно было бы поставить испытуемых в условия, близкие к эксперименту Хауэса, т. е. взять такой же интервал $\log f$. Однако размеры словаря Штейнфельдт таковы, что при интервале порядка $\log f = 0{,}3000$ мы могли бы выбрать из него только 6 слов: самое частое полнозначное слово *сказать* имеет частоту 1419 ($\log f = 3{,}1523$), а самые редкие слова имеют частоту 14 ($\log f =$

[12] Такое предположение высказывалось, когда при сравнении зрительного порога распознавания немецких слов и данных о частоте этих слов по словарю Кединга была получена значительно меньшая корреляция, чем во всех аналогичных экспериментах со словами английского и французского языка. В этом эксперименте испытуемыми были подростки, а словарь Кединга был издан в 1898 г.; естественно думать, что за истекшие с того времени 60 лет в языке произошли определенные сдвиги в распределении слов (см.: K. Riegel, R. Riegel, Prediction of word recognition thresholds on the basis of stimulus parameters, «Language and speech», 4, pt. 3, 1961.

[13] Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

[14] Р. М. Фрумкина, Понимание текста в условиях ограниченного знания словаря, «Научно-техническая информация», 1965, 4.

= 1,1401). Ограничить экспериментальный материал таким небольшим числом слов было бы нежелательно по ряду причин (о них см. ниже), и потому было решено несколько уменьшить интервал между словами, ограничившись интервалом $\log f = 0{,}2000$. Это дало возможность разделить 2500 слов словаря Штейнфельдт на 9 разрядов, соответствующих значениям логарифма частоты от 3,15 до 1,15. Из каждого разряда частот, кроме первого, было произвольно выбрано по пять знаменательных слов, а из первого разряда только два слова — *говорить* и *сказать*, так как остальные слова в нем являются служебными. Поскольку для слов с частотой менее 40 словарь Штейнфельдт дает сведения с довольно большой погрешностью, то интервал между девятым и десятым разрядами был увеличен до $\log f = 0{,}4000$. Последним, десятым разрядом условно считались слова, не включенные в опубликованную часть словаря, т. е. имеющие частоту менее 14. Из отобранных таким образом слов было образовано пять наборов, содержащих по одному слову-представителю из каждого разряда, всего по десять слов. Поскольку в первом разряде было всего два слова, то по этим самым частым словам наборы пересекались, остальные же слова во всех наборах были разными. При подборе слов мы стремились к тому, чтобы в пределах набора были представлены разные грамматические классы слов и чтобы между словами не было особо сильных ассоциативных или словообразовательных связей типа *писать* — *письмо* и т. п.

2. Статистическая методика. Следует иметь в виду, что при оценке корреляции между некоторыми признаками с помощью коэффициента ранговой корреляции мы можем получить только качественную оценку, т. е. утверждать (с определенной вероятностью, задаваемой уровнем значимости), что наблюденное в выборке значение коэффициента получилось не за счет случайных причин, а потому, что рассматриваемые признаки действительно коррелированы. Наблюденное значение коэффициента признается, таким образом, статистически существенным. Противоположная ситуация возникает тогда, когда проверка по определенным критериям показывает, что наблюденное в выборке значение ρ таково, что оно могло появиться за счет чисто случайных причин в выборке из некоррелированной совокупности, т. е. что на самом деле рассматриваемые признаки не коррелированы, не связаны между собой, независимы. В этом случае принято говорить, что значение ρ статистически не существенно (при выбранном уровне значимости), т. е. что нет оснований отвергать гипотезу о независимости, некоррелированности рассматриваемых признаков. При этом очень важно, что при маленькой выборке для одного лишь утверждения о существенности корреляции необходимо, чтобы выборочное значение ρ, т. е. то значение, которое мы непосредственно получаем в эксперименте, было довольно велико. Например, при выборке в шесть единиц и уровне значимости 5% полученное в эксперименте значение $\rho = 0{,}85$ статистически не значимо, оно могло получиться за счет случайных причин и не дает основания отвергнуть гипотезу о независимости. Увеличение же выборки, допустим, до десяти единиц при том же уровне значимости позволяет отвергнуть гипотезу о независимости (в нашем случае — о некоррелированности «оценочных» и «истинных» рангов) уже при выборочном значении $\rho = 0{,}64$. Поэтому имело смысл увеличить выборку до десяти единиц в наборе, хотя это пришлось сделать за счет уменьшения интервалов логарифма частоты.

В нашем эксперименте каждый набор слов предъявлялся группе из шести испытуемых, причем каждая группа работала только с одним набором слов. Для каждой группы следовало подсчитать коэффициент ранговой корреляции между оценками испытуемых и рангами слов по словарю Штейнфельдт. Для решения подобной задачи Хауэс сводил N последова-

тельностей «оценочных» рангов (полученных от N испытуемых) к одной усредненной последовательности, подсчитывая для каждого слова «средний оценочный» ранг, и далее сравнивал эту усредненную последовательность с рангами по словарю Торндайка, т. е. с последовательностью «истинных» рангов. Мы сочли более целесообразным воспользоваться модификацией коэффициента ранговой корреляции, предложенной С. Лайерли для задачи, весьма сходной с нашей[15].

Допустим, имеется группа объектов, ранжированных соответственно их признакам, так, что эти ранги в определенном смысле можно считать истинными, отражающими некоторые объективные соотношения. Примером могут служить оценки, данные нескольким произведениям искусства опытным экспертом. Имеются, кроме того, оценки тех же предметов, данные группой любителей. Требуется выяснить, как соотносятся оценки эксперта и оценки «непосвященных». Средний коэффициент ранговой корреляции, предложенный Лайерли, позволяет оперировать непосредственно со всеми N последовательностями рангов, полученными от N испытуемых, не производя предварительного осреднения:

$$\rho_{\text{ср.}} = 1 - \frac{2(2n+1)}{n-1} + 12\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(y_i \sum\limits_{j=1}^{N} x_{ij}\right)}{N(n^3-n)},$$

где n — число сравниваемых объектов, N — число испытуемых в группе, y — оценки эксперта («истинные» ранги), x — оценки испытуемых.

Коэффициент Лайерли удобен еще в одном отношении. Выше уже говорилось о том, что при небольшой выборке для признания существенности коэффициента ранговой корреляции его выборочное значение должно быть довольно велико. Для оценки существенности ρ применяется следующий критерий: вычисляется величина $R_\beta = \frac{\psi(1-\beta)}{\sqrt{n-1}}$ [16], где n — число сравниваемых объектов, β — уровень значимости (1%, 2,5% и т. п.), $\psi(1-\beta)$ — функция, которая табулирована: например, для $2\beta = 5\%$ находим в таблице $\psi(1-2\beta) = 1{,}96$.

Выборочное значение ρ должно быть больше R_β, и тогда признается, что наблюденная корреляция существенна, т. е. что в выборке в n единиц из некоррелированной совокупности (для нашего случая это означает, что оценки испытуемых и ранги соответствующих слов по словарю Штейнфельдт не коррелированы) подобное значение ρ могло случайно появиться не более чем в 2β случаев из 100.

Выражение $\sqrt{n-1}$, входящее в эту формулу, является средним квадратичным отклонением ρ, а это означает: критерий образован в предположении, что коэффициент ρ имеет нормальное распределение. Грубо говоря, согласно этому критерию, чтобы быть существенным, выборочное значение ρ при пятипроцентном уровне значимости должно почти в два раза превзойти свое среднее квадратичное отклонение. Для коэффициента Лайерли, где имеются не две последовательности рангов, а N последовательностей, среднее квадратичное отклонение будет выражаться величиной $\frac{1}{\sqrt{N(n-1)}}$, т. е. будет в $\sqrt{N}$ раз меньше.

[15] S. B. Lyerly, The average Spearman ranc correlation coefficient, «Psychometrica», 17, 4, 1952.

[16] Мы приводим эту формулу в том виде, как она дана в кн.: Б. Л. ван дер Варден, Математическая статистика, М., 1960, стр. 387. Там же приведены таблицы функции $\psi(1-\beta)$. Те же таблицы используются для определения константы в упрощенной формуле относительной ошибки (см.: Р. М. Фрумкина, Статистические методы..., стр. 91).

Следовательно, для того же числа сравниваемых объектов и того же уровня значимости достаточно меньшего численного значения коэффициента, чтобы признать корреляцию существенной[17].

Проведение эксперимента и результаты. Эксперимент проводился среди студентов-филологов московских вузов[18]; в эксперименте участвовало пять групп по шесть испытуемых в группе, всего 30 чел. Каждый испытуемый получил лист бумаги, на котором в случайном порядке были записаны десять слов. Испытуемому предлагалось расположить слова в соответствии с тем, какие из них с его точки зрения встречаются чаще, какие реже, в порядке от частых к редким и пронумеровать их.

Для каждого из пяти наборов слов было получено по шесть последовательностей оценочных рангов и подсчитаны коэффициенты корреляции между рангами слов по словарю Штейнфельдт и оценочными рангами.

№ набора / Ранг по Штейнфельдт	1	2	3	4	5
1.	сказать	говорить	говорить	сказать	сказать
2.	работа	жизнь	идти	человек	время
3.	хорошо	молодой	рабочий	спросить	стоять
4.	лицо	письмо	вопрос	народ	начать
5.	друг	интересный	случай	картина	мысль
6.	длинный	деньги	часто	семья	живой
7.	характер	выступать	различный	помощник	далекий
8.	сигнал	причина	ожидать	спокойный	способный
9.	неизвестный	холод	восторг	приятный	игрушка
10.	энергичный	племянник	серебро	стесняться	скатерть
$\rho_{ср.}$	0,61	0,67	0,77	0,53	0,87

Наборы слов, упорядоченные по рангам словаря Штейнфельдт, и $\rho_{ср}$ для каждого набора представлены в таблице. Полученные коэффициенты были оценены с точки зрения их статистической существенности. Для нашего эксперимента при уровне значимости 5% $R_{0,05} = 0,27$. Все коэффициенты значительно превосходят эту величину, и следовательно, они существенны. Это означает, что между данными словаря Штейнфельдт и прямыми оценками испытуемых имеется корреляционная связь. Испытуемыми в описанном выше эксперименте были лица в возрасте от 20 до 30 лет, и потому естественно думать, что их лингвистический опыт отражает среднюю встречаемость слов в современном общелитературном стандарте. Представляется поэтому, что можно полагать, что и словарь Штейнфельдт достаточно близко отражает статистические характеристики современного литературного языка, чтобы им можно было пользоваться для решения различных лингвистических задач.

Полученные в нашем эксперименте результаты, которые совпадают с результатами Хауэса, как кажется, позволяют считать, что по крайней мере для исследованных в эксперименте групп слов существует устойчивая вероятность встречаемости слова во всей совокупности лингвистической деятельности индивидов, принадлежащих к данной языковой общности.

---

[17] Или, как принято говорить, отвергнуть гипотезу о независимости рангов.

[18] Автор глубоко признателен А. И. Полторацкому за помощь в проведении эксперимента.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

В. Г. ГАК

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Изучение семантической системы языка (лексики языка как системы) ставит, как об этом свидетельствуют существующие исследования, следующие задачи: 1) расчленение словарного состава на классы слов, связанных по смыслу между собой: идентификация и классификация речевых фактов у Ш. Балли, разграничение семантических полей у Й. Трира, выделение лексико-семантических групп и т. п. другими авторами, при всем разнообразии исходных положений и методик преследуют выделение в словарном составе языка групп слов, однородных в семантическом отношении; 2) внутренний анализ отдельных лексико-семантических групп (классов слов), выявление их состава, семантических различий и взаимозависимостей значений слов, входящих в данную группу, развитие многозначности у членов группы, пополнение группы новыми элементами и выпадение из ее состава других лексических элементов. Подобный анализ может производиться как в синхронном, так и в диахроническом плане[1]; 3) изучение смысловой структуры отдельного слова, либо ряда слов в пределах лексико-семантической группы, разграничение значений слова с помощью объективных критериев[2], установление соотношения между этими значениями (основное и производное, прямое и переносное, свободное и связанное и т. п.); 4) компонентный анализ значения слов, разложение отдельного значения слова на семантические составляющие[3].

Изучение смысловой структуры отдельных слов и компонентный анализ их значений предстают как два взаимосвязанных направления исследования. В первом случае изучается система значений слова, во втором — структура отдельного значения, т. е. совокупность признаков предмета или явления, фиксируемых в данном значении. При этом другие значения рассматриваемого слова во внимание не принимаются.

Любое значение может быть выражено в любом языке. Однако при анализе структуры значения нас интересует не то, какими средствами выражается данная категория плана содержания в языке, а то, какие смысловые категории формируют данное значение слова.

Семантическая структура языка проявляет известную аналогию с его грамматической структурой. Слова делятся не только на грамматические

---

[1] См., например: А. А. Уфимцева, Опыт изучения лексики как системы, М., 1962; А. И. Кузнецова, О типах смысловых отношений в группе глаголов движения в древнерусском языке, «Вестник МГУ», Серия VII. Филология, журналистика, 1961, 1.

[2] См., например, анализ французского слова *passer* в статье: J. Dubois, Recherches lexicographiques: Esquisse d'un dictionnaire structural, «Études de linguistique appliquée», 1 («Publications du Centre de linguistique appliquée de Besançon, sous la direction de B. Quemada»), 1962.

[3] См. описание различных методик компонентного анализа в статье Ю. Д. Апресяна, «Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики» (сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963).

классы (части речи), но и на семантические классы (лексико-семантические группы — ЛСГ). Подобно тому, как каждая часть речи характеризуется совокупностью грамматических категорий, внутри которых выделяются аспекты и субкатегории, так и ЛСГ отличается определенными семантическими категориями, дробящимися на аспекты и субкатегории[4].

Исследование значения слова возможно лишь путем его сравнения со значением других слов той же ЛСГ. Это сравнение принимает форму истолкования, «перевода» посредством как знаков того же языка, так и знаков другого языка[5]. Поэтому в семантических исследованиях наряду со внутриязыковым анализом издавна применялся межъязыковой сопоставительный метод. К нему прибегал Ш. Балли, им широко пользовался Й. Трир и его многочисленные последователи. И современные исследователи признают высокую эффективность сопоставительного анализа ЛСГ в разных языках[6].

Структурная лексикология также использует как внутриязыковой, так и межъязыковой анализ[7]. В первом случае основными методами являются дистрибутивный и трансформационный, во втором случае применяется межъязыковой трансформационно-переводной анализ[8].

При всей своей недостаточной разработанности межъязыковой сопоставительный метод может принести большую пользу, вскрывая ряд дополнительных общностей и различий, ускользающих при внутриязыковом анализе. В тех случаях, когда различия релевантны в сравниваемых языках, сопоставление дает возможность сразу схватить эти различия и сходства, к которым при внутриязыковом анализе приходится идти путем длительных сравнений и исследований, соотнося слова с обозначаемыми ими реалиями.

Сопоставительный межъязыковой анализ может быть успешно использован для разграничения ЛСГ и уточнения их состава. Он может также быть использован при изучении компонентного состава значения слова. В последнем случае используется следующая методика. Рассмотрим ряд французских фраз и их переводов на русский язык[9].

«Voilà, *on arrive*» (C)	«Но вот и *пришли*»
«Nous *arrivâmes* à la venta» (M)	«Мы *подъехали* к венте».
«Voilà qu'*arrive* la voiture du colonel» (M)	«Вот *подкатывает* коляска полковника»

Считая содержание каждой пары фраз инвариантным, мы должны признать, что в значении всех русских глаголов имеется некий общий ком-

[4] Например, глагол характеризуется категориями лица, залога, времени и др. Последняя имеет три аспекта (план прошедшего, настоящего и будущего), внутри которых различается ряд форм (субкатегорий): претерит, имперфект и т. п. ЛСГ «глаголы движения» характеризуется семантическими категориями: направление движения, способ передвижения и др., внутри которых различаются в свою очередь аспекты и субкатегории.

[5] О. С. Ахманова, И. А. Мельчук, Е. В. Падучева, Р. М. Фрумкина, О точных методах исследования языка, М., 1961, стр. 21.

[6] См.: А. И. Кузнецова, Понятие семантической системы языка и методы ее исследования, М., 1963, стр. 48.

[7] См.: С. К. Шаумян, Структурные методы изучения значений, «Лексикографический сборник», V, М., 1962, стр. 51.

[8] См. описание этих методов в статьях: Ю. Д. Апресян, О понятиях и методах структурной лексикологии, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; А. Б. Долгопольский, Изучение лексики с точки зрения трансформационно-переводного анализа плана содержания в языке, «Лексикографический сборник», VII, М., 1962.

[9] Условные сокращения: М — P. Mérimée, Carmen; С — P. Courtade, La Place Rouge; Ш — М. Шолохов, Тихий Дон; Ч — А. П. Чехов, Рассказы. Слева помещается фраза подлинника, справа — перевод.

понент, равнозначный французскому *arriver*, за вычитанием которого образуется семантический остаток, различающий русские глаголы между собой. Нетрудно установить, что общим семантическим компонентом является понятие приближения (символ B_1 формально выражено превербами *при-*, *под-*), различающим же компонентом является способ передвижения [символ C формально выражен корневыми морфемами: *идти* (C_1), *ехать* (C_2), *катить* (C_3)]. В пределах этих двух семантических компонентов значение глаголов можно символизировать следующим образом: *arriver* $B_1S_0 \rightarrow B_1$; *прийти* B_1C_1; *подъехать* B_1C_2; *подкатить* B_1C_3.

В данном случае мы имеем дело с системными соответствиями лексических единиц (во французском языке почти нет приставочных глаголов движения).

Но при сопоставлении обнаруживаются соответствия не только системного (языкового) характера, но и коммуникативного (речевого). Последние объясняются не различием самих языковых средств, но и различием в их использовании. Такие расхождения также дают материал для выявления компонентного анализа слова.

«J'ai été trop jeune quand j'ai *quitté* Paris» (C)	«Я была совсем маленькая, когда меня *увезли* из Парижа».

С точки зрения системы, глаголу *quitter* может соответствовать в русском языке *уходить*, *уезжать* и т. п. Здесь же вместо структурно-обусловленного *уезжать* мы находим *увозить*. При общности компонентов «направление движения» и «способ передвижения» становится явным их различающий компонент A «самостоятельное или несамостоятельное движение»: *я уехала* (= *j'ai quitté*) $\leftrightarrow$ *меня увезли*. Таким же образом мы выявляем и другие семантические компоненты глаголов движения, структура значения которых может быть обозначена в виде формулы.

Семантические компоненты глаголов движения, релевантные в обоих языках, располагаются по трем основным параметрам: самостоятельность/несамостоятельность движения (A), направление движения (B), способ передвижения (C). Эти компоненты значения формально выражаются корневыми морфемами либо аффиксами.

Категория самостоятельности/несамостоятельности движения — A — образует дихотомическую оппозицию двух субкатегорий. A_1 обозначает, что субстанция движется самостоятельно, A_2 показывает, что ее перемещение есть результат воздействия другой субстанции. Глаголы A_2 всегда транзитивны, глаголы A_1 — по большей части нетранзитивные.

Компонент A формально выражается: а) корневыми морфемами: *идти*, *aller* (A_1) — *вести*, *mener* (A_2); б) возвратной формой глагола: *катить* (A_2) — *катиться* (A_1), *porter* (A_2) — *se porter* (A_1); различие между A_1 и A_2 может быть также выражено и за пределами данного слова, внешними способами: а) транзитивным и нетранзитивным употреблением глагола: *машина катит* (A_1) — *катить бочку* (A_2); каузативными конструкциями: *sortir* «выйти» (A_1) — *faire sortir* «прогнать» (A_2); *passer* «пройти» (A_1) — *laisser passer* «пропустить» (A_2); b) аналитическими глагольными сочетаниями, выступающими как супплетивные средства, восполняющие недостаток словообразовательных и морфологических средств: *идти*, *marcher* (A_1) — *пустить в ход*, *mettre en marche* (A_2), *убегать*, *s'enfuir* (A_1) — *обращать в бегство*, *mettre en fuite* (A_2). В ряде случаев глаголы A_1 и A_2 образуют семантическую пару (*ехать* — *везти*). Иногда это отношение неполное: глагол *убегать* шире по объему значения, чем выражение *обратить в бегство*. И, наконец, глаголы одного ряда могут не иметь соответствий в другом ряду: *скакать* (только A_1), *нести* (только A_2).

Категория направления движения —*B*— многими исследователями рассматривается как основной атрибут глаголов движения. Под направлением движения понимается характер пространственного отношения между движущейся субстанцией (*X*) и другой субстанцией (*Y*), относительно которой отмечается данное движение[10].

Материал русского и французского языков позволяет выделить здесь ряд аспектов.

Аспект B^1 — общая направленность или ненаправленность движения — выражается в русском языке противопоставлением глагольных пар типа *идти/ходить*, а во французском — лексемами *aller/marcher*. Эти лексические противопоставления членят семантическое поле неравномерно в двух языках (см. табл. 1).

Таблица 1

Направленность движения	Русск. язык	Франц. язык
Однонаправленное движение (B^1_1)	*Он* ***идет*** *к врачу*	*Il* ***va*** *chez le médecin*
Разнонаправленное движение (B^1_2)	*Он* ***ходит*** *в школу*	*Il* ***va*** *à l'école*
Ненаправленное движение (B^1_3)	*Он* ***ходит*** *быстро*	*Il* ***marche*** *vite*

Аспект B^2 показывает направление в отношении самого движущегося субъекта *X* (*Y* отсутствует). Здесь отмечаются субкатегории: «двигаться вперед»— *продвигаться*, *s'avancer*; «двигаться в сторону»— *повернуть*, *tourner*; «двигаться назад»— *возвращаться*, *retourner*, французский преверб *re-*, «движение в оба конца»— русск. префикс *с-*: *сбегать куда-либо*[11].

Аспект B^3 представляет движение с точки зрения *X* (удаление) или с точки зрения *Y* (приближение). Он выражается во французском языке противопоставлением корневых морфем *aller* и *venir*:

«*J'allai* à lui» (M)	«Я *подошел* к нему».
«Je vis *venir* à moi une femme» (M)	«Ко мне *подходит* какая-то женщина»

Аспект B^4 описывает пространственное отношение между *X* и движущимся *Y*. Выражается превербами или корневыми морфемами. Здесь отмечаются субкатегории: «соединяться» — *se réunir*; префикс *с-*: *сходиться*; «разъединяться» — *se disperser*, *se séparer*, префикс *раз-*: *расходиться*; «следовать за» — *suivre*; «двигаться вперед» — *précéder*; «следовать рядом» — *сопровождать*, *accompagner*.

Аспект B^5 отражает направление движения *X* в отношении *Y*, который рассматривается как находящийся в состоянии покоя. Формально выражается корневыми морфемами или префиксами. В этот аспект входят субкатегории: «двигаться вниз»— *descendre*, *спускаться*, префикс *с-*: *сбегать*; «двигаться вверх» — *monter*, *подниматься*, префикс *в(з)-*: *взлететь*; «двигаться через» — *traverser*, *пересекать*, префикс *пере-*: *переезжать*;

[10] См.: А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 192.

[11] Рамки статьи не позволяют дать исчерпывающий перечень всех субкатегорий и их символику. Мы останавливаемся в символическом обозначении компонентов на уровне аспектов.

«двигаться внутрь» — *entrer*, префикс *в-*: *вступить*; «двигаться к чему-либо» — *s'approcher*, *приближаться*, префикс *под-*: *подойти*; «двигаться от чего-либо» — *s'éloigner*, префикс *от-*: *отойти*; «двигаться наружу» — *sortir*, префикс *вы-*: *выпрыгнуть* и т. п.

Многие глаголы, лексически выражающие этот аспект, особенно во французском языке, являются прямопереходными. *Y* грамматически оформляется при этом как прямое дополнение, а не как обстоятельство.

Категория способа передвижения — *C* — образует многослойный ряд аспектов и субкатегорий, характеризующих движение в зависимости от среды, в которой оно происходит, природы движущегося субъекта, степени его участия в движении, прерывистости или непрерывности процесса движения, естественных особенностей двигающихся субъектов и т. д. Отношения между субкатегориями не всегда можно представить в виде дихотомических оппозиций, поскольку субкатегории эти представляют собою открытый ряд, число членов которого может бесконечно увеличиваться.

В межъязыковом плане глаголы с компонентами *C* могут совпадать полностью или частично (*течь* — *couler*, *бежать* — *courir* и т. д.), но иногда данный аспект лексически закреплен только в одном языке: русское противопоставление *идти* — *ехать* нейтрализуется во французском языке, но в русском языке нет лексических единиц, аналогичных французским: *chevaucher* «ехать верхом». Внутри категории *C* выделяется аспект C^1 — интенсивность, он выражается лексическими противопоставлениями: *бежать* (*C*) ↔ *мчаться* (C^1), *пойти* (*C*) ↔ *устремиться* (C^1), этот аспект наличествует и у французских глаголов *s'élancer*, *se précipiter* и др.

Аспект C^1 соприкасается с аспектом C^2, определяющим стилистическую характеристику действия. Положительная или отрицательная характеристика может быть связана как с отношением говорящего к субъекту и его действиям, так и с объективной «эстетичностью» или «неэстетичностью» движения. Примеры C^2 первого типа: *пробраться* (C^2) ↔ *пройти* (*C*), *тащиться* (C^2) ↔ *идти*, *ехать* (*C*), *швырнуть* (C^2) ↔ *бросить* (*C*), *проваливай!* (C^2) ↔ *уходи!* (*C*); *учесать* (C^2) ↔ *убежать* (*C*) и т п. Примеры второй группы C^2: *шлепать*, *шаркать* (C^2) ↔ *идти* (*C*), *ковылять* (C^2) ↔ *хромать* (*C*) и др.

К перечисленным основным семантическим компонентам глаголов движения можно добавить еще некоторые характеристики видового характера, которые отличают в русском языке не только глаголы движения, но и глаголы других ЛСГ. Среди них отметим: начало движения (символ *D*; русские приставки *по-*, *за-*), количественную характеристику действия (символ *E*, русские приставки: ***по**ходить часок*, ***про**ходить целый час*).

Специфическими семантическими параметрами глаголов движения являются направление движения (*B*) и способ передвижения (*C*). Эти два компонента могут быть представлены в семантической структуре глаголов совместно или порознь, в зависимости от чего различаются три типа глаголов движения: 1) глаголы *B*, обозначающие только направление движения (ср. *прибывать*, *arriver*); 2) глаголы *C*, обозначающие способ передвижения (*бежать*, *courir*); 3) глаголы *BC*, обозначающие одновременно направление и способ передвижения. При этом более абстрагированное понятие — направление — обычно выражается префиксом, в то время как более конкретное понятие — способ передвижения — выражается корнем (***ас**courir*, ***при**бегать*). В обоих языках, однако, имеются глаголы, которые имплицитно (без особого преверба) обозначают какое-либо определенное направление в сочетании с определенным способом передвижения: например, *карабкаться* (франц. *grimper*), «лезть вверх, цепляясь руками и ногами».

Таблица 2

B — направление движения		*C* — способ передвижения							
		A_1 — самостоятельное движение						A_2 — несамостоятельное движение	
русский преверб	франц. глагол	*идти*	*aller*	*ехать*	*бежать*	*courir*	*летать*	*нести*	*porter*	*тащить*	*traîner*
в-	***entrer***	*войти*	*въехать*	*вбежать*	*влететь*	*внести*	*втащить*
вы-	***sortir***	*выйти*	*выехать*	*выбежать*	*вылететь*	*вынести*	*вытащить*
в(з)-	***monter***	*взойти*	*въехать*	*вбежать*	*взлететь*	*внести*	*втащить*
с-	***descendre***	*сойти*	*съехать*	*сбежать*	*слететь*	*снести*	*стащить*
под-	***s'approcher***	*подойти*	*подъехать*	*подбежать*	*подлететь*	*поднести*	*подтащить*
от-	***s'éloigner***	*отойти*	*отъехать*	*отбежать*	*отлететь*	*отнести*	*оттащить*
при-	***venir***	*прийти*	*приехать*	*прибежать*	*прилететь*	*принести*	*притащить*
у-	***partir***	*уйти*	*уехать*	*убежать*	*улететь*	*унести*	*утащить*
пере-	***passer*** и т. д.	*перейти*	*переехать*	*перебежать*	*перелететь*	*перенести*	*перетащить*

Только объединение двух основных семантических категорий — *B* и *C* — делает глагол движения полноценным. Глаголы *B*, утрачивая связь с понятием движения, примыкают к другой ЛСГ — к глаголам, обозначающим положение тела в пространстве; к этому особенно склонны глаголы с семантической структурой A_2C (ср. *перенести* → *переместить*).

Глаголы *C*, утрачивая связь с понятием перемещения, также проявляют тенденцию к выпадению из группы глаголов движения и начинают квалифицировать субъект, обозначать его особенности, манеру поведения и т. д. Ср. *Он прохромал через двор* [*прохромал* (*BC*) — глагол движения] и *Этот человек хромает* [*хромает* (*C*) характеризует субъект; = *Этот человек хромой*].

Связь между компонентами *B* и *C* проявляет не только центростремительную, но и центробежную тенденцию. Последняя выражается в следующем: чем своеобразнее компонент *C* (способ передвижения), чем ярче компонент C^2 (эмоциональная характеристика глагола), тем меньше их сочетаемость с компонентом *B* (направление движения). И напротив, чем своеобразнее компонент *B*, тем меньше его сочетаемость с компонентом *C*. Так, русские глаголы, показывающие «обыденные» способы передвижения: *идти*, *ехать*, *летать*, *бежать* и т. п. — сочетаются со всеми локальными превербами: ***при***бежать, ***у***бежать, ***в***бежать, ***вы***бежать и т. д. «Живописные» же глаголы имеют меньшую сочетаемость: *плестись* — только *при-*, *до-*; *ковылять*: *у-*, *до-*, *про-*, *при-*. Нередко также глаголы сочетаются только с одним префиксом: ***у***лепетывать; ***при***переться и т. д.[12].

[12] Возможно, мы тут встречаемся с обратным явлением: значимость приставки и несамостоятельность корневой морфемы, которая служит лишь для живо-

Второе явление может быть проиллюстрировано фактами французского языка. Направление «удаление» выражается префиксально в ряде французских глаголов: *s'**en** aller s'**en**fuir*, *s'**en**voler*. Направление же «наискосок» не связывается ни с каким специальным способом передвижения и выражается лишь в общей форме: *biaiser*.

Определив категории, образующие семантическую структуру глаголов движения,— мы выявляем их частотность в сравниваемых языках на уровне языка и на уровне речи.

Исследование этого вопроса на уровне языка показывает, что во французском языке больше, чем в русском, глаголов *B*. Нередко субкатегории *B* выражаются во французском глаголе отдельной лексемой, а в русском описательно: *précéder* «идти вперед», *longer* «идти вдоль», *biaiser* «идти наискосок» и т. п. Напротив, в русском языке больше глаголов *C*. Но наиболее характерным различием между двумя языками является чрезвычайно малое во французском языке, по сравнению с русским, число глаголов со структурой *BC*. Соотношения между французскими глаголами *B* и *C* и русскими *BC* видны из табл. 2.

Русским глаголам структуры *BC* соответствуют во французском языке либо глаголы *B*, либо глаголы *C*. Вот некоторые примеры:

1. Русск. *BC* (*вы-* + корневая морфема) ↔	франц. *B* (*sortir*)
«Je *sortis* de la maison» (M)	«Я *вышел* из дому»
«En *sortant* de Cordoue...» (M)	«Когда мы *выезжали* из Кордовы...»
«*Выбежавшие* из землянок казаки...» (Ш)	«Les Cosaques *sortaient* de leurs abris»
«Дуняшка видела, как... Дарья *выскочила* из стряпки» (Ш)	«Douniachka vit Daria *sortir* de la cuisine»
«Un ruisseau *sortant* d'une grotté étroite...» (M)	«Ручей, *вытекавший* из тесного ущелья...»
2. Русск. *BC* (локальный префикс + *нести*) ↔	франц. *C* (*porter*)
«Il fallut que je *portasse* dans des sacs de papier» (M)	«Я опять должен был *нести* в мешочках»
«Un petit chevrier vint nous *porter* du pain» (M)	«Маленький козопас *принес* нам хлеба»
«Je vais le *porter* au Campo-Santo» (M)	«Я *отнесу* ее на Кампо-Санто»
«Mon camarade me *porta* dans une grotte» (M)	«Товарищ *снес* меня в пещеру»
«Чубатый *унес*-таки ячмень коню» (Ш)	«Le touffu *porta* l'orge à son cheval»
«Пантелей Прокофьевич... *внес* с Дарьей в мякинник веялку» (Ш)	«Pantéléi Prokofiéyitch, aidé de Daria, *porta* dans la grange le tarare».

Но расхождение в частоте компонентов *B* и *C* определяется не только словарными расхождениями и отсутствием системы локальных превербов во французском языке. Структура речи продолжает тенденции структуры языка, и даже в том случае, когда оба языка обладают аналогичными средствами, французский язык предпочитает глагол с семантической формулой *B* или (реже) *C*, а русский — *BC*. См. статистические данные по обследованным текстам в табл. 3[13].

Таблица наглядно показывает, что в русском языке преимущественно употребляются глаголы с обоими основными компонентами, весьма редкие во французском языке. Далее, категория *B* (направление движения) выражена примерно одинаково в двух языках, но во французском языке она выражается в глаголах *B* (т. е. лексически), а в русском языке в гла-

писного изображения действия в направлении, определяемом префиксом: *улепетывать* (вместо *уходить*, *убегать*), *свернуться* (вместо *свалиться*, *скатиться*) и т. д.

[13] Принимаются во внимание лишь различные соответствия (так, многочисленные случаи соответствия *aller* — *идти* считаются за один).

голах типа *BC* (т. е. с помощью превербов). Что же касается *C* — способа передвижения, то в русском языке эта категория получает отражение в 2,5 раза чаще, чем во французском. Нередко русскому глаголу, обозначающему только способ передвижения, во французском языке соответствуют глаголы, выражающие разнообразные направления. Так, в исследованных текстах (подлинники и переводы) русскому глаголу *идти* (A_1C) соответствуют французские глаголы с семантической структурой A_1B: *aller*, *venir*, *monter*, *entrer*, *passer*, *suivre*, *se rendre* и др. Глаголу *бежать* соответствуют в контекстах — *aller*, *descendre*; глаголу *ехать* — *partir*, *venir*, *revenir*, *passer*, *accompagner*; отмечены соответствия: *скакать* ↔ *partir*, *лететь* ↔ *revenir* и др. Глаголу *пойти* (начало движения) соответствуют французские: *aller*, *sortir*, *entrer*, *monter*, *partir*, *venir*, *suivre*, *retourner*, *s'éloigner*, *s'approcher*. Как же объяснить, что одному и тому же русскому слову во французском тексте соответствуют слова, сами по себе являющиеся антонимами (*entrer* и *sortir*, *s'éloigner* и *s'approcher* и т. д.)? Дело в том, что описывая начинающееся действие, русский язык уточняет прежде всего способ передвижения, не определяя его направления, в то время как французский — наоборот: указывает на направление, но без уточнения способа передвижения.

Таблица 3

Компонентный состав глагола	Русск. яз.	Франц. яз.
B (направление)	11,0%	62,7%
C (способ передвижения)	27,5%	32,0%
BC	61,5%	5,3%
Итого:		
категория *B* (*B*+*BC*)	72,5%	68,0%
категория *C* (*C*+*BC*)	89,0%	37,3%

Аспекты C^1 (интенсивность) и C^2 (стилистическая характеристика) очень часто не совпадают в сравниваемых языках, так как по-разному сочетаются с компонентами *B* и *C*. В ряде случаев аспект C^1 или C^2 представлен только во французском глаголе движения. Вот некоторые из обнаруженных в текстах соответствий: *se sauver* ↔ *ускакать*, *выскочить*, *уйти*; *se cavaler* ↔ *бежать*; *dégringoler* ↔ *катиться вниз*. Но значительно чаще компонент C^2 входит в семантическую структуру только русского глагола, в то время как во французском языке он выражен за пределами глагольной лексемы различными обстоятельствами.

«Бодовсков... *пошлепал* к кормушке» (Ш)

«Bodovskov *se dirigea* vers la mangeoire *d'un pas traînant*».

«А под вечер... *поплелся* к Коваленкам» (Ч)

«Sur le soir... il *se rendit lentement* chez Kovalenko».

«L'angoisse sournoisement *revint occuper* sa place dans sa poitrine» (C)

«Тревога исподтишка *прокралась* к нему в душу».

В последнем случае перед нами пример стилистического согласования, характерного для русского языка. Эмоционально окрашенное обстоятельство *исподтишка* вызывает появление глагола с компонентом C^2 (*прокрасться*), в то время как во французском варианте *sournoisement* «уживается» со стилистически неотмеченным *revenir occuper sa place* (буквально «снова занять свое место»).

Нередко категория C^2, свойственная русскому глаголу, никак не представлена во французском соответствии:

«Какая-нибудь телка задерет хвост за спину, да как *учешет*» (Ш)

«Une génisse... envoie sa queue sur son dos, et la voilà *partie*».

Статистические данные показывают, что в глаголах движения во французской речи категория C^2 выражается вдвое реже, чем в русской.

*

1. Структура значения «движение» характеризуется рядом семантических категорий, релевантных в одном или в обоих из сравниваемых языков. Русские глаголы движения отличаются большим разнообразием этих категорий по сравнению с французскими. Категории находят формальное выражение в корневых морфемах или в аффиксах (превербах).

2. Категория *B* (направление движения) в целом во французском языке представлена более детально, чем в русском, причем почти исключительно корневыми морфемами. Для русского языка характерно регулярное выражение аспекта B^1 в целой группе глаголов, а также обозначение других аспектов категории *B* с помощью системы превербов.

3. Категория *C* (способ передвижения) значительно более дифференцирована в русском языке, особенно в аспектах C^1 и C^2.

4. У французских глаголов значение «движение» имеет более простую структуру, чем у русских. Во французском языке очень мало глаголов *BC*, которые составляют основной фонд класса глаголов движения русского языка. Из глаголов с простой структурой в русском языке наиболее употребительны глаголы *C*, в то время как во французском — лексемы *B*, имеющие наиболее отвлеченное геометрическое значение.

Тенденция французских глаголов к преимущественному выражению направления движения в ущерб способу передвижения приводит к тому, что глагол становится безразличным и к категории *A* (глаголы типа *descendre*, *sortir*, *passer* и т. п. имеют семантическую структуру $A_0BC_0 \rightarrow B$)[14].

5. Глаголы *C*, характеризующие субъект, обладают определенной семантической и синтаксической самостоятельностью. Глаголы *B*, обозначающие направление движения *X* относительно другой субстанции — *Y*, выступают прежде всего как средство связи между двумя субстанциями и имеют меньшую семантическую и синтаксическую самостоятельность. Преимущественное употребление глаголов *B* за счет глаголов *C* во французском языке отражает тенденцию этого языка к использованию связующих знаков за счет содержательных, к использованию многих разрядов слов прежде всего в их строевой функции.

---

[14] Ср.: M. Staub, Richtungsbegriff — Richtungsausdruck. Versuch zu einem Vergleich von deutscher und französischer Ausdruckweise, Bern, 1949, стр. 96.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

И. В. АРНОЛЬД

ОППОЗИЦИИ В СЕМАСИОЛОГИИ

Одним из эффективных средств моделирования в лингвистике является принцип оппозиций. Он все шире проникает теперь из фонологии, в которой он первоначально возник, или точнее, которая из него возникла, в различные сферы науки о языке, все больше привлекает внимание лингвистов[1].

Задачей настоящей статьи является не изложение общей теории оппозиций — она изложена самим Н. С. Трубецким в его труде «Основы фонологии»[2], и не критика или ревизия его положений — этим занимались уже достаточно[3]. Работа является попыткой распространить некоторые положения этой методики на область, где они до сего времени не применялись или почти не применялись,— на семасиологию[4].

Предлагаемое моделирование представляет собой сочетание теории оппозиций с заимствованными из булевой алгебры решетками Вейча[5]. Методика используется для характеристики семантической структуры лексико-грамматического разряда существительных — названий лица в современном английском языке.

Единого мнения о возможных в английском языке лексико-грамматических разрядах не существует. В данной работе лексико-грамматический разряд определяется как класс лексических единиц, объединяемый общим лексико-грамматическим значением, общностью форм, в которых проявляются присущие этим единицам грамматические категории, общностью возможных для них слов-заместителей и определенным набором аффиксов и моделей словообразования. Таким образом, выделение лексико-грамматических разрядов основано на обнаружении сочетаний общих формальных и семантических признаков, присущих всем единицам данного разряда и отличающих их от единиц других разрядов. Разряды представляют собой классы более мелкие, чем части речи, так что в одну часть речи могут входить несколько разрядов и в одном слове могут объединяться лексико-семантические варианты, принадлежащие к разным разрядам.

Семантическая структура полисемантического слова в языке определяется как некоторое упорядоченное множество взаимосвязанных и противопоставленных друг другу значений, которые могут быть выражены одно через другое и общим языковым свойством которых служит способность

---

[1] См., например: Л. Р. Зиндер, О противопоставлениях в системе языка, «Вестник ЛГУ», 20, 1962, стр. 121.

[2] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960.

[3] См., например: С. Маркус, Теория графов, лингвистическая оппозиция и инвариантная структура, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962; А. В. Исаченко, Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения, ВЯ, 1963, 2.

[4] В некоторых работах В. В. Иванова, И. И. Ревзина и др. указывается лишь на возможность такого применения. Для других уровней вопрос разработан в терминах теории множеств и математической логики в работе С. Маркуса «Логический аспект лингвистических оппозиций» (сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963).

[5] Рамки настоящей статьи не позволяют дать описание этого типа матриц.

быть переданными одним и тем же сочетанием морфем. В результате описания семантической структуры слова получается некоторая обобщенная модель, которая характеризует языковые отношения, а не свойства денотата.

Делается допущение, что исследователь может, имея перед собой словарную статью, определить, к какому типу следует отнести представленные в ней значения, и, таким образом, сравнивая их с исходными, описать семантическую структуру слова применительно к выбранным признакам.

Семантическим дифференциальным признаком в дальнейшем называется тот признак, который может служить средством описания различий между значениями внутри семантической структуры отдельного слова и позволяет разбиение всего множества значений в лексической системе какого-либо языка на пары взаимно не пересекающихся подмножеств. Выбор этих признаков — задача очень трудная, в решении ее можно идти различными путями. П. А. Соболева, например, предлагает представлять дифференциальные признаки в виде формул дистрибуции, что довольно громоздко[6]. Значительно удобнее воспользоваться давно описанными в исторической лексикологии типами изменения значений и полученной на их основе классификацией типов значений для синхронического среза[7]. Тогда значения будут дифференцироваться по характеру переноса, отвлеченности, стилистической отнесенности и т. д.

Принцип оппозиций дает возможность выявить некоторые зависимости между семантическими свойствами слова, его морфологической структурой и комплексом грамматических признаков, характеризующих разряд.

С этой целью в рассмотрение могут быть включены в дополнение к указанным выше еще следующие дифференциальные признаки: 1) морфологическая структура. Слово может иметь специальное морфологическое оформление существительных лица, например, суффиксы: *-er*, *-ist*, *-ard*, и др., тогда оно может рассматриваться как маркированный член привативной оппозиции, или такого оформления может не быть. Эта оппозиция семантически далеко не безразличная, поскольку ясная морфологическая структура, отчетливая морфологическая мотивированность несомненно препятствует накоплению новых значений и в особенности изменению разряда. Таким образом, морфологическая структура слова определенным образом влияет на его семантическую структуру; 2) производность значения. Рассматриваемое значение может быть этимологически основным или не основным, т. е. производным. Эта оппозиция, тоже привативная, включает в процедуру исследования диахронию. Но это не значит, что диахрония и синхрония могут смешиваться: исследователь всегда должен давать себе отчет в том, какой подход реализуется в той или иной процедуре. С другой стороны, отрыв синхронии от диахронии в широком семасиологическом исследовании недопустим. Анализ конкретного материала, как это будет видно из дальнейшего, подтверждает большое значение этой оппозиции; 3) оппозиция между значениями, основанная на отношении между понятиями, выражаемыми в основном и переносном значении. Рассматриваемое значение может передавать понятие совместимое и соподчиненное понятию, передаваемому основным значением (специализированное или генерализованное значение), или понятия, передаваемые в обоих значениях, могут быть несовместимыми и несоподчиненными (переносные метафорические и метонимимические значения). Оппозиция может быть представлена как

---

[6] П. А. Соболева, Компонентный анализ значений глагола на основе словообразовательного признака, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 185.

[7] **И. В. Арнольд**, Лексикология современного английского языка, М., 1959, стр. 58—59.

эквиполентная; 4) эмоциональность. Лексический вариант слова может иметь эмоциональную окраску или быть эмоционально нейтральным.

Подобный качественный анализ должен базироваться на анализе количественном и принципах, позволяющих учесть возможные комбинации признаков. Объем необходимой выборки проверяется методами математической статистики[8].

Для того чтобы получить и исследовать возможные комбинации этих признаков, можно применить либо графы в виде деревьев, получившие в лингвистике последних лет большое распространение, либо предложенные в булевой алгебре решетки Вейча или Карно[9]. Подобные решетки лингвистами пока не применялись, между тем они удобно сочетаются с принципами дихототомической классификации.

Для того чтобы выявить характерные семантические свойства разряда, был проделан следующий эксперимент. В результате сплошного просмотра 300 страниц словаря Хорнби[10] (100 в начале и 200 в конце) был составлен список из 135 многозначных существительных, которые принадлежат к разряду существительных — названий лица. 102 слова относятся к существительным лица в основном значении и 33 в производном. Для данного разряда такая выборка статистически репрезентативна. Эти группы рассматривались отдельно.

Рассмотрение материала позволяет сделать некоторые наблюдения. Имена существительные, для которых значение лица является основным, характеризуются относительно простой семантической структурой. Преобладают слова с двумя значениями. Производные значения при этом не переводят слово в другой разряд. Ср., например, основное значение слова *apostle* с его производным значением в следующем примере: «What would Sergius, the apostle of the higher love, say if he saw me now?» (B. Shaw, Arms and the Man) «Что сказал бы Сергей, апостол возвышенной любви, если бы он увидел меня сейчас?».

Производный вариант обозначает в этом случае понятие более широкого объема, но меньшего содержания (генерализация). Ср. также *advocate* «адвокат» и «защитник» (безотносительно к суду), *author* «автор» и «инициатор», *bankrupt* не только «банкрот», но и «человек, потерпевший жизненный крах». Оппозиция между двумя значениями — специальным, обозначающим профессию, и генерализованным, относящимся к поведению,— повторяется для всех этих и многих других слов, т. е. является пропорциональной.

В других случаях производный вариант может быть специализированным, т. е. обозначать понятие менее широкого объема, но большего содержания. Например; *beginner* «начинающий» и «начинающий изучение какого-нибудь предмета». Оппозиция опять пропорциональная, так как отношение это повторяется в таких парах, как *announcer* «вестник»: *announcer* «диктор» и *teller* «рассказчик»— *teller* «счетчик голосов в парла-

---

[8] См., например: Б. Л. Ван-дер-Варден, Математическая статистика, М., 1960, § 8, гр. 11: Проблема случайного отбора.

[9] См., например: С. Колдуелл, Логический синтез релейных устройств, М., стр. 147.

[10] Делается допущение, что словарь Хорнби (A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield, The advanced learner's dictionary of current English, London, 1958) является достоверным информантом и что число и характер значений, которые в нем указаны, соответствуют языковой реальности. Результаты при этом, разумеется, огрубляются, но ошибкой можно пренебречь, поскольку, описывая факты языка, лингвист интересуется количественными показателями в основном для того, чтобы получить верную картину качественных отношений и ему достаточно знать, какие свойства и отношения преобладают, какие занимают второстепенное положение и какими можно пренебречь.

менте». Случаи генерализации и специализации, т. е. градуальной оппозиции с изменением объема выражаемого понятия, противопоставляются случаям переноса (эквиполентная оппозиция) и явно преобладают. В рассматриваемом списке их 60% против 40%.

В случае переносных значений изменение разряда имеет место только в шести случаях: *agent*, *being*, *teaser*, *thrall*, *tinker*, *waiter*. Ср. *secret agent* (название лица) и *chemical agent* (название вещества).

Противопоставление значений эмоционально окрашенных и эмоционально-нейтральных образует привативную оппозицию, которая позволяет при сопоставлении с аналогичными таблицами других разрядов обнаружить большую роль эмоциональных созначений в этом разряде. Эмоциональность свойственна главным образом переносным значениям и притом в словах, не имеющих специального морфологического оформления лица. Эмоциональная окраска только в одном случае (*wizard*) оказывается положительной. Оппозиции пропорциональные. Так, перенос наименования лица одного возраста или пола на другой каждый раз дает противопоставление эмоциональной нейтральности и отрицательной эмоциональной окраски. Ср. *woman* в применении к мужчине или *baby* в применении к взрослому.

Для всего разряда в целом характерно преобладание слов со специальным морфологическим оформлением лица. Ср. *artist, baker, bargee, townsman, visitor, volunteer* и т. д.

Анализ при помощи той же методики второго списка, т. е. тех случаев, когда основным является не значение лица, а какое-нибудь другое, например, абстрактное (*acquaintance*), предметное (*ace*) или название животного (*beast*), показывает, что здесь характер семантической структуры оказывается гораздо более сложным, число значений может быть и больше трех, а граница между разрядами проходит внутри слов.

В решетке Вейча, построенной для существительных, которые в основном значении относятся к другим разрядам, состав дифференциальных признаков был несколько изменен. Поскольку в этом случае все значения лица неизбежно оказывались переносными, привативная оппозиция переносных и непереносных значений была бы бесполезна и поэтому она заменена эквиполентной оппозицией типов переноса. Наличие специального морфологического оформления лица у таких существительных невозможно, поэтому эта оппозиция тоже опущена и заменена эквиполентной оппозицией между разрядами.

Анализ решетки показывает, что метафора и метонимия представлены одинаковым числом случаев, но в то время как вся группа пропорциональных оппозиций метонимических вариантов эмоционально нейтральна, варианты метафорические имеют ярко выраженную эмоциональную окраску.

Для того чтобы проверить предположение, что семантическая структура слова в значительной мере зависит от того, к какому лексико-грамматическому разряду слово принадлежит в основном значении, естественно разделить эту группу именно применительно к разрядам основного значения. Такой подход себя оправдывает. К разряду одушевленных существительных — не названий лица в полученном списке могут быть отнесены слова: *ass*, *bear*, *beast*, *swine*, *toad*, *vulture*, *war-horse*, *wolf*, *Yahoo*.

Семантическая структура этих слов преимущественно тоже двухчастная. Названием лица они могут служить в метафорическом ярко эмоционально окрашенном значении: «He hadn't signed the contract yet and his was the only signature that counted. If the old swine had to die now, it wouldn't help me at all!» (J. Braine, Life at the top) «Он еще не подписал контракт, а годится только его подпись. Если эта старая свинья сейчас помрет, это мне ничуть не поможет!» Эпитет «старая свинья» в применении

к дельцу, которого имеет в виду персонаж романа, не оставляет сомнения в наличии эмоционального созначения. Ср. *ass* «осел; глупый человек», *bear* «медведь; грубый и неуклюжий человек». Эмоциональная окраска — отрицательная с типичным для зоосемии приписыванием человеку реальных или воображаемых по традиции свойств характера животного. Исходные значения существительных: *ace*, *tart*, *tool*, *trump*, *whip* — название конкретного предмета. В семантическую структуру этих слов входят значения названий лица, причем происходит опять метафорический перенос, но уже не по свойству характера, как при зоосемии, а по сходству функции или действия. Пропорциональность оппозиции опирается для всех случаев, кроме *whip*, еще и на наличие оценки.

Зависимость характера семантической структуры слова от его лексико-грамматического разряда в исходном значении подтверждается и в группе слов с исходным отвлеченным значением. Например: *arrival*, *acquaintance*, *authority*, *toast*, *ward*, *youth*. Все они связаны со значением лица метонимически, т. е. могут называть лицо, характеризуемое указанным в корне свойством или действием: «прибывший», «знакомый», «облеченный властью», «чествуемый тостом», «сторож», «юноша» и т. д. Структура оказывается более сложной. Словарь Хорнби указывает до пяти различных значений. Эмоциональная окраска отсутствует.

Оппозиция между разрядами может оказаться нейтрализованной. Под нейтрализацией оппозиции понимается снятие в каких-либо специальных условиях противопоставления, которое, как правило, для языка релевантно. У существительных лица это часто происходит при наличии суффикса *-er*, который оформляет не только деятеля, но и орудие действия. *Thresher* нейтрализует оппозицию между лексико-грамматическими разрядами лица и предмета, обозначая молотилку и человека, занятого молотьбой. Ср. *voucher* «расписка» и *voucher* «поручитель». Семантическая структура у таких слов обычно простая.

Рассмотрение семантической структуры существительных лица применительно к возможным для них комбинациям семантических дифференциальных признаков показывает, что семантическая структура слова зависит от разряда, к которому слово принадлежит в основном значении. Если значение лица является основным, то существительное обнаруживает простую структуру и варианты слова оказываются принадлежащими к тому же разряду. Значения в большинстве случаев соотносятся по типу генерализации или специализации. Большая часть слов имеет эмоциональное созначение, как правило, отрицательное. Мотивированность сохраняется. Существительные, в которых значение лица является производным, обнаруживают большую сложность семантической структуры, их варианты принадлежат к разным разрядам.

Чисто синхронный анализ оказывается недостаточным и должен быть дополнен историческим, включающим не только данные об этимологии слов, но и данные экономической, политической и культурной жизни народа.

Принцип оппозиций, следовательно, оправдывает себя и в семасиологии. В материале легко вскрываются многочисленные цепочки пропорциональных оппозиций. В зависимости от цели исследования возможна дальнейшая обработка материала статистическими методами или контекстуальным анализом примеров, собранных в литературных источниках.

Для лингвистического исследования необходимы обе его части, т. е. фактография и моделирование. Обобщение собранных фактов позволяет создать общую абстрактную модель изучаемого участка, но для установления ограниченности найденной модели, для ее уточнения и совершенствования нужно дальнейшее накопление фактов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н. В. ПЕТРОВА, Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

СЛОВО, КОНТЕКСТ, МОРФОЛОГИЯ

Применение информационных измерений и оценок в лингвистике осуществляется на основе следующих предположений.

1. Речевая деятельность рассматривается в качестве канала связи, по которому с помощью лингвистических единиц (букв, звуков, слогов, морфем, слов и т. д.) передается информация.

2. Лингвистические единицы выступают в виде символов некоторого кода (языка). В языке-коде заданы ограничения не только на сочетаемость (комбинаторику), но и на вероятность появления этих единиц в речи.

3. Соединенные речевым каналом источник и приемник сообщения (т. е. говорящий и слушающий) в равной степени используют один и тот же код [1].

По существу задачей каждого исследования в области синхронической лингвистики является выявление тех ограничений, заложенных в языковом коде, которые регулируют употребление лингвистических единиц в сообщении. Эти ограничения могут быть оценены и статистически.

Одним из эффективных приемов, с помощью которых могут быть получены такие информационно-статистические оценки языкового кода и сообщения, как энтропия, информация и избыточность, является метод угадывания букв неизвестного текста (соответственно: угадывания слова, словосочетания). Этот прием осуществляется в предположении, что в языковом сознании испытуемого — носителя исследуемого языка заложены статистико-комбинаторные ограничения, присущие этому языку.

В предыдущих работах была описана методика указанного эксперимента и показаны приемы математической обработки его результатов, там же были получены общие информационные характеристики для русского, английского, французского и румынского языков [2].

В 1962—1964 гг. были предприняты новые исследования, которые имели целью, во-первых, вскрыть распределение информации в слове (точнее — словоформе) с точки зрения его буквенной, слоговой и морфемной структуры, а также оценить ту информацию, которую несет флективная морфология; во-вторых, дать количественную оценку контекстным (семантико-грамматическим) связям в речи, а также проследить воздействие контекста на информационное строение слова и составляющих его единиц (слогов и морфем).

Исследование проводилось на материале русского и французского языков, привлекались также данные английского и румынского (молдавского) языков. Русский

---

[1] Введение третьего допущения необходимо для того, чтобы отвлечься от таких ситуаций, когда передаваемое по речевому каналу сообщение воспринимается в приемном устройстве, исходя из иного языкового кода, чем тот, на основе которого оно было закодировано в источнике сообщения (ср., например, восприятие украинской речи носителем русского языка).

[2] См.: А. А. Пиотровская, Р. Г. Пиотровский, К. А. Разживин, Энтропия русского языка, ВЯ, 1962, 6; Г. П. Богуславская, О теоретико-информационном исследовании английского языка и его жанрово-стилистических разновидностях (энтропия английской письменной речи), «XVII научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1964 [Минск. ГПИИЯ]. Тезисы докладов», ч. II, Минск, 1965; N. Petrova, R. Piotrovski, R. Giraud, L'entropie du français écrit, BSLP, LIX, 1, 1964; R. Piotrovsky, Entropy and redundancy in four European languages, «Statistical methods in linguistics», 3, Stockholm, 1965

материал исследовался с помощью полной, а французский — с помощью сокращенной программы угадывания [3].

Использование сокращенной программы текстового эксперимента для французского языка вызвано условиями проведения эксперимента с испытуемым. Это привело к некоторому снижению точности в оценке верхней границы интервала, в котором заключено истинное значение информации. Правда, отклонения от данных, получаемых по полной программе, не превышают 5%. Этими отклонениями можно тем более пренебречь, что в работе не сопоставляются абсолютные статистические информационные величины, но сравниваются распределения и отношения этих величин внутри каждого из рассматриваемых языков.

Всего было исследовано 2556 словоформ (далее именуемых словами), из которых 930 русских и 500 французских отгадывались при условии, что испытуемому был известен предшествующий контекст длиной не менее 30 букв, т. е. тот максимум контекста, который необходим для установления среднего уровня контекстной обусловленности [4]. Эти слова мы будем называть т е к с т о в ы м и. 626 русских и 500 французских слов угадывались вне контекста. Мы будем называть их в н е т е к с т о в ы м и.

Полученные результаты представлены в виде распределения информации по буквам (рис. 1), по морфемам (рис. 2, 3) и слогам (рис. 4, 5). Распределения даются обычно по верхней границе информации (верхняя и нижняя границы интервала обычно изоморфны относительно друг друга [5]).

Побуквенное распределение информации получено обычным путем [6]. Распределения по слогам и морфемам получены в результате угадывания первой и последней букв в первом, втором и т. д. слогах (соответственно морфемах) из всех слов, содержащих данное количество слогов или морфем (см. рис. 2—5).

Побуквенное, слоговое и морфемное распределения информации в словах определенной длины относятся лишь к частным случаям, не дают еще полного представления об общем распределении информации и мало что говорят об общих принципах слогового и морфемного членения слова. Поэтому возникла необходимость построить обобщающую информационную схему русского и французского слова на слоговом и морфемном «уровнях».

Учитывая эмпирические вероятности появления слов определенной длины в тексте, полигоны (графические схемы) распределения информации в словах различной длины мы свели в обобщающие слоговые и морфемные схемы, характеризующие текстовое и внетекстовое слова в русском и французском языках (см. рис. 2—5).

При построении частных и обобщающих побуквенных схем пробел между словами считался последней буквой слова. В обобщающих слоговых схемах пробел не учитывался (как известно, пробел не входит в состав фонетического слога). В морфемных схемах учитывались лишь те пробелы, которые выступали в функции нулевых морфем.

---

[3] Существующие методы расчета не дают возможности точно определить то количество информации, которое несет данная буква, однако эти методы позволяют рассчитать приближения к верхней и нижней границам интервалов, в котором заключено истинное значение указанной информации. Проведение эксперимента по полной программе дает возможность рассчитать нижнюю границу этого интервала по формуле:

$$\underline{I}_n = 2(p_2 - p_3) + 3(p_3 - p_4)\log_2 3 + \ldots + (S-1)(p_{S-1} - p_S)\log_2(S-1) + Sp_S \log_2 S. \quad (1)$$

Верхняя граница определялась с помощью выражения:

$$\bar{I}_n = (1 - p_0)\log_2(1 - p_0) - \sum_{i=1}^{S-1} p_i \log_2 p_i. \quad (2)$$

Верхняя граница для результатов сокращенной программы была оценена по формуле:

$$\bar{I}_n = H_{III}(1 - p_0 - p_1) - p_1 \log_2 p_1 + (1 - p_0)\log_2(1 - p_0) - \\ - (1 - p_0 - p_1)\log_2(1 - p_0 - p_1). \quad (3)$$

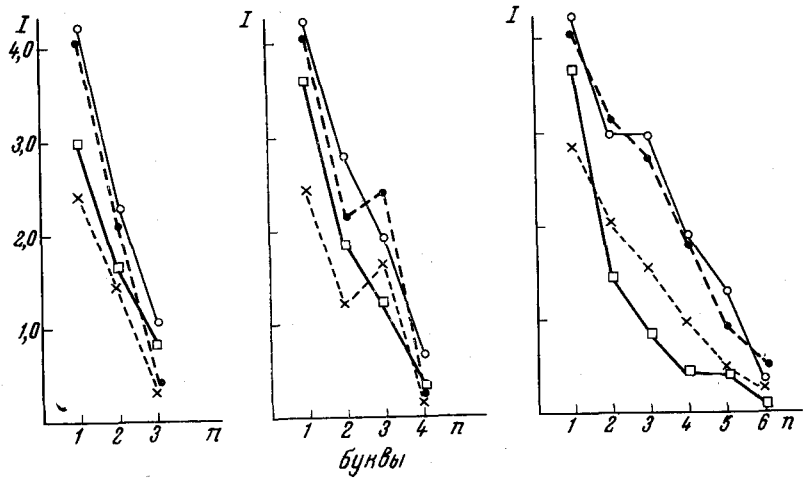
Значения символов следующие: $p_1, p_2 \ldots p_{S-1}$ — вероятности того, что n-я буква в данной выборке будет правильно угадана испытуемым с первой, второй... $(S-1)$-й попытки (для русского языка, использующего 32 буквы, включая пробел,—с $(S-1) \leqslant 31$, для французского языка $(S-1) \leqslant 26$); p_0 — вероятность достоверного продолжения; H_{III}— энтропия буквы, при условии того, что известны предшествующие ей две буквы. Подробнее о применении и выводе формул (1—3) см.: А. А. П и о т р о в с к а я и др., указ. соч., стр. 118—121.

[4] См.: А. А. П и о т р о в с к а я и др., указ. соч., стр. 124.

[5] См. там же, стр. 123.

[6] См. там же, стр. 118.

Поскольку предел длины слова ничем не ограничен, длина обобщающей схемы слова должна стремиться к бесконечности. Однако практически оказывается, что русские слова длиной более 11 букв, а французские длиной более 10 букв встречаются редко (их число не превышает 3% общего числа слов). Поэтому обобщающая схема слова доводится для русского языка до 12-й (11 букв + пробел), а для французского соответственно до 11-й буквы. Из этих же соображений установлены длины обобщающих слоговых и морфемных схем (см. рис. 2—5).



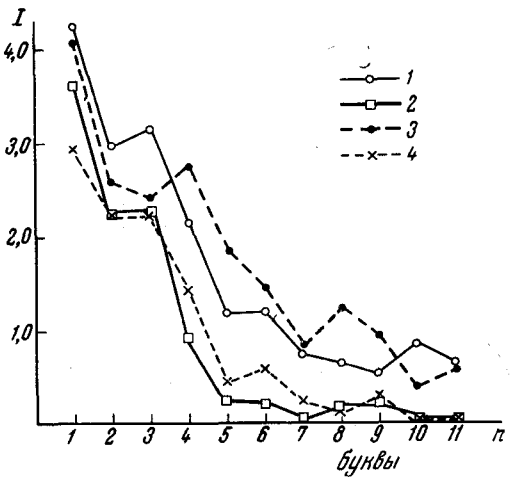


Рис. 1. Полигоны побуквенного распределения информации в словах длиной в 3, 4, 6 и 11 букв. Условные обозначения: *1* — внетекстовые русские слова, *2* — текстовые русские слова, *3* — внетекстовые французские слова, *4* — текстовые французские слова

После завершения экспериментальной и расчетной части работы ее результаты были проверены точки зрения их достоверности. Использовались следующие методы проверки.

Во-первых, исследованный материал (как русский, так и французский) был подвергнут выборочному угадыванию и обработке по описанной выше методике на других испытуемых. Отклонения по сравнению с рабочим экспериментом не превышают ± 5% для русского языка и ± 7% — для французского.

Во-вторых, на материале русского языка был проведен эксперимент, построенный на иных принципах организации и обработки данных. Двадцати пяти испытуемым было предложено угадывать буквы в трех-, шести-, девяти- и одиннадцатибуквенных словах, употребленных в контексте и вне его. На каждую длину слова бралось по 10 разных слов. Ни одно из этих слов не фигурировало в основном эксперименте.

Получаемые в результате данные обрабатывались по формуле

$$\hat{I}'_n = -\sum_{i=1}^{S} p_i \log_2 p_i \,. \qquad (4)$$

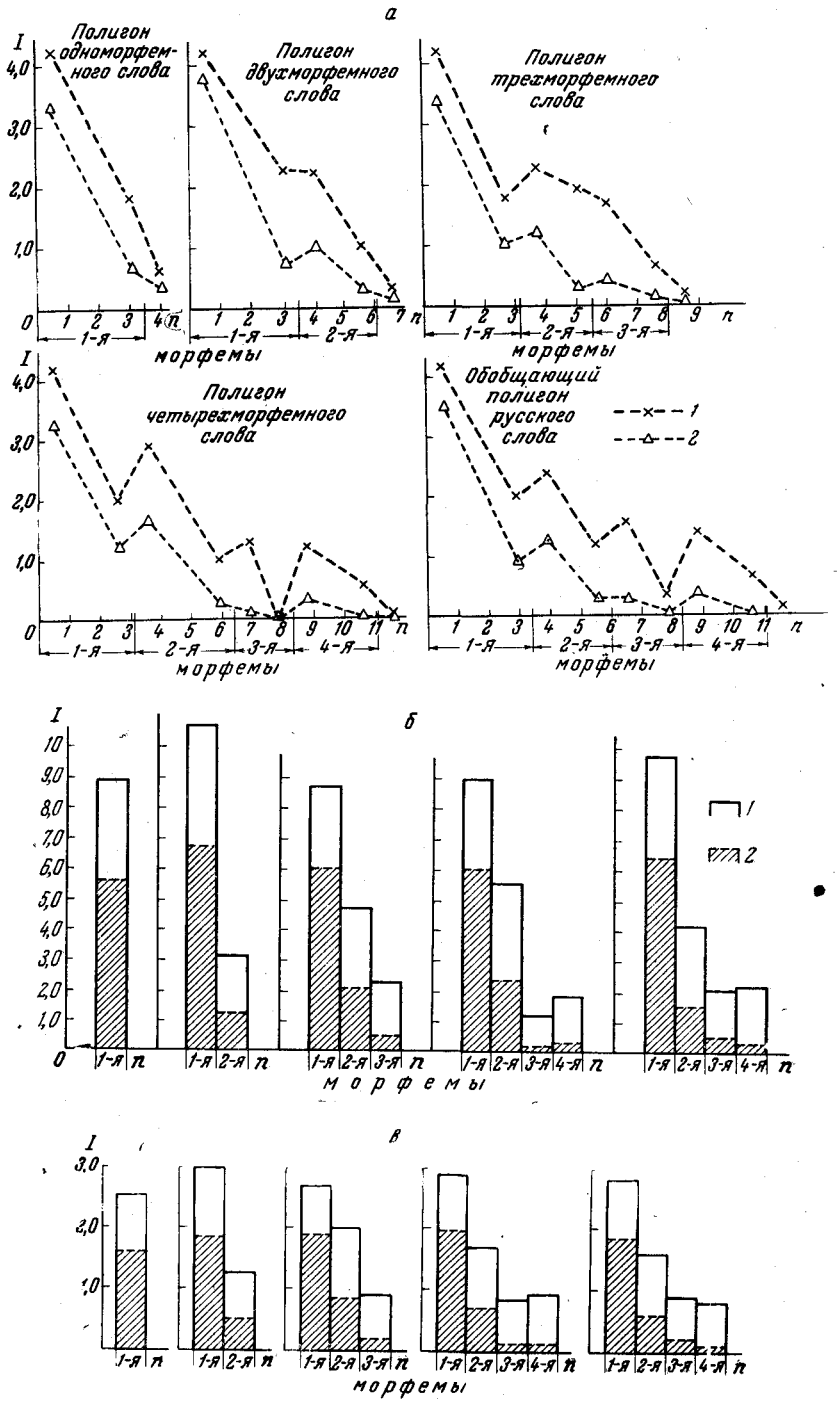


Рис. 2. Полигоны и диаграммы распределения информации в морфемных схемах русского слова: а) Полигоны распределения информации в морфемных схемах. Условные обозначения: *1* — внетекстовые слова, *2* — текстовые слова; б) Количество информации на морфему. Условные обозначения: *1* — внетекстовые слова, *2* — текстовые слова; в) Количество информации на букву. Условные обозначения те же, что и на рис. 2б

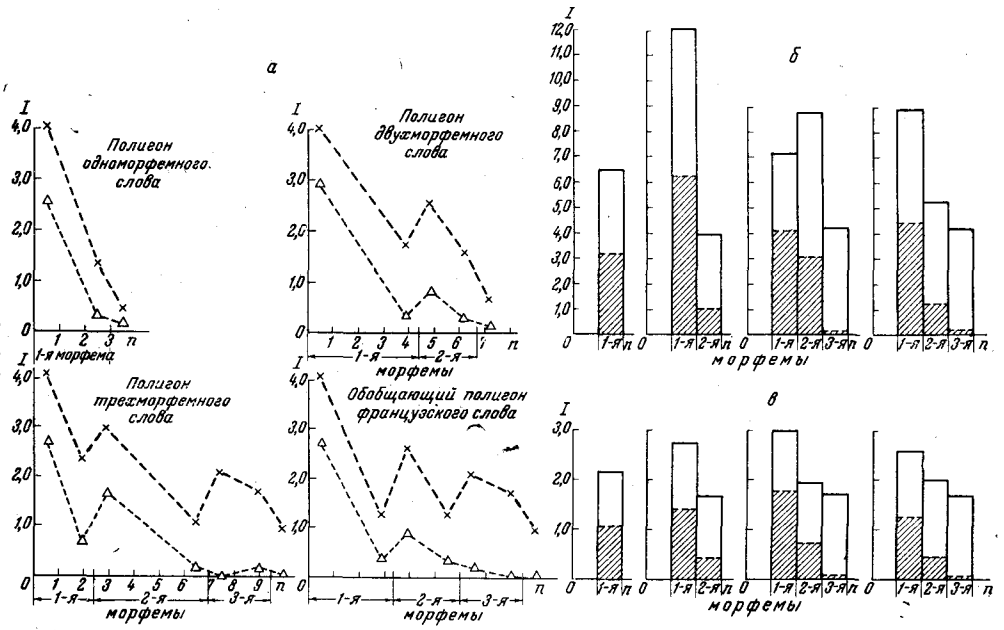


Рис. 3. Полигоны и диаграммы распределения информации в морфемных схемах французского слова: а) Полигоны распределения информации в морфемных схемах; б) Количество информации на морфему; в) Количество информации на букву морфемы. Условные обозначения те же, что и на рис. 2

Путем усреднения результатов были получены величины информации, характеризующие каждую буквенную позицию в словах указанных типов.

Хотя числовые характеристики информации для буквенных позиций в схемах слов основного и проверочного эксперимента дают заметное расхождение (в среднем $\sigma = 0.5$), схемы коротких, средних и длинных слов (ср. ниже) проверочного опыта повторяют распределение информации в соответствующих схемах основного эксперимента.

Все это вместе взятое позволяет считать, что результаты основного эксперимента являются с точки зрения задач настоящего исследования достаточно надежными.

Обсуждение. Распределение информации в коротких (от 2 до 4 букв) и средних (от 5 до 7 букв) словах, с одной стороны, и длинных словах (8 букв и выше), с другой, имеет разный характер. Короткие и средние слова, как правило, дают монотонное убывание информации от начала слова к его концу. Убывание это обычно происходит плавно, и полигоны (графические схемы) этих слов имеют компактный вид. Такое распределение связано с тем, что среди коротких и длинных слов достаточно часто употребляются неизменяемые формы (ср. русск. *о*, *да*, *еще*, *если*, *очень*, *только*, франц. *à*, *on*, *oui*, *très*, *aussi*, *encore*) [7], которые в суммирующих схемах сглаживают максимумы информации на конечных аффиксах изменяемых слов.

У длинных слов полигоны принимают постепенно так называемую *U*-образную форму, особенно ярко выраженную в русских словах. Здесь максимумы информации сосредоточены в начале и в конце слов; буквы же, находящиеся в средней части слова, несут наименьшую информацию. Присутствие максимума информации в начале слова отражает тот факт, что начальные буквы письменного слова содержат наибольшее количество неопределенности в выборах. Отсюда следует, что указанные буквы несут наибольшее количество информации. Это с интуитивной точки зрения правдоподобное предположение было экспериментально подтверждено и количественно оценено на материале русского, английского, французского, латинского и румынского языков [8].

[7] Исключение представляют французские четырехбуквенные слова, которые дают резкий пик информации на третьей букве. Это объясняется тем, что третья буква в указанных словах имеет обычно несколько альтернатив, ср. *les* Δ: *le* Δ: *léger* Δ; *des* Δ: *de* Δ: *déterminer* Δ и т. д.

[8] См.: R. G. Piotrovski, Problema locului în cuvînt a elementelor purtătoare de informaţie, «Probleme de lingvistică matematică» («Biblioteca analelor romîno-sovetice. Serie tehnică», nr. 79), Bucureşti, 1960, стр. 32; D. H. Carson, Letter

Появление максимума информации в конце слова обусловлено, очевидно, морфологической структурой слова, которое концентрирует большую часть грамматической информации в присоединяемых к его концу аффиксах (окончаниях, суффиксах).

Тот факт, что морфологическая структура русского и французского изменяемого слова обнаруживается яснее всего в информационных схемах длинных слов, объясняется тем, что в этих схемах обобщаются почти исключительно слова, имеющие приставки и конечные аффиксы.

Буквенные распределения, в которых обобщаются формы слов различной структуры (изменяемые и неизменяемые, односложные и многосложные), дают весьма приближенную и грубую схему распределения информации. Обратимся поэтому к рассмотре-

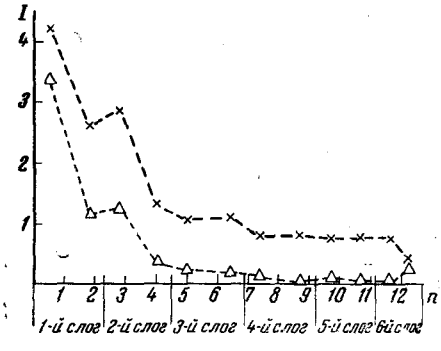


Рис. 4. Полигоны распределения информации в обобщающих слоговых схемах русского слова. Условные обозначения те же, что и на рис. 2а

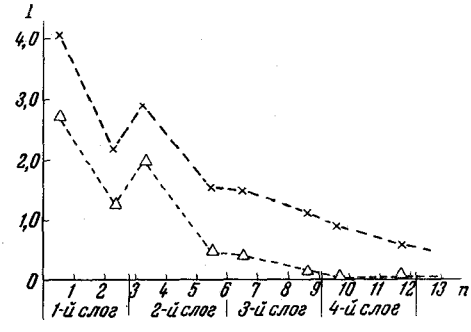


Рис. 5. Полигоны распределения информации в обобщающих слоговых схемах французского слова. Условные обозначения те же, что и на рис. 2а

нию слоговых и морфемных схем. Построение этих схем таково, что позволяет наблюдать границы между морфемами, образующими слово, а также межслоговые «швы».

Морфемные и отчасти слоговые распределения информации подтверждают ранее высказанное предположение о том, что появление максимумов информации на концах русских слов связано с использованием конечных аффиксов.

Так, например, если в предпоследней морфеме внетекстового четырехморфемного слова (длина его равна в среднем 9,19 букв) одна буква несет в среднем 0,65 дв. ед. информации, то последняя морфема дает 0,87 дв. ед. на букву (см. рис. 2в). Аналогичным образом третья морфема внетекстового пятиморфемного слова (его средняя длина — 10,15 букв) дает только 0,74 дв. ед. на букву, а четвертая и пятая (последняя) морфемы дают соответственно 1,28 и 0,95 дв. ед. на одну букву. Построенный на тех же принципах [9] морфемный анализ французских слов показывает, что как одноморфемные, так и двух- и трехморфемные слова характеризуются убыванием количества информации от начала к концу слова из расчета количества информации, приходящегося на одну букву слова (см. рис. 3в).

Можно рассмотреть иную схему морфемного построения слова — схему, в которой дается оценка количества информации, приходящегося в целом на каждую морфему слова данной длины (с учетом истинных длин морфем).

В этом случае оказывается, что длинные внетекстовые русские слова дают некоторый рост количества информации на последней морфеме (см. рис. 2б) — морфеме, которая часто оказывается словообразовательным или морфологическим аффиксом.

Что же касается французских внетекстовых слов, то здесь максимум информации несет первая морфема в двухморфемном слове и вторая морфема в трехморфемном слове (см. рис. 3б). Все это как будто еще раз подтверждает общеизвестное положение о том, что в аналитическом французском языке аффиксы информационно менее весомы, чем в синтетическом русском языке.

---

constraints within words in printed English, «Kybernetik», I, 1; Н. В. Петрова, Р. Г. Пиотровский, Некоторые теоретико-информационные оценки аналитизма (на материале французского языка), «Аналитические конструкции в языках различных типов. Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Уч. совета Ин-та языкознания АН СССР», Л., 1963, стр. 37.

[9] Среднее количество информации, приходящееся на одну букву морфемы, получено как среднее арифметическое численных значений информации, приходящейся на первую и последнюю буквы морфемы.

Однако эти предварительные наблюдения еще не дают оснований говорить о соотношении указанных языков с точки зрения информационного веса аналитической и флективной морфологии. К этому вопросу мы еще вернемся в конце статьи.

Морфемные схемы позволяют судить о внутренней информационной структуре русских и французских слов. Полигоны распределения информации (см. рис. 2а и 3а) показывают, что в обоих языках письменное слово, взятое вне контекста, характеризуется последовательным чередованием максимумов и минимумов информации. Максимумы падают на первую букву, а минимумы — на последнюю букву морфемы. Границы между морфемами, таким образом, совпадают с водоразделом между последней буквой предшествующей морфемы (минимум информации) и первой буквой последующей морфемы (максимум информации). Определяя строение русского и французского слова с теоретико-информационной точки зрения, можно утверждать, что для них характерна отчетливо выраженная морфемная структура.

А как обстоит дело со слогами? Полигоны обобщенного распределения информации в слове по слогам (см. рис. 4 и 5) показывают, что слоговое деление слова обнаруживается лишь на границе первого и второго слога (третья и четвертая буквы) или, иначе говоря, в начале хода кривой распределения информации.

По мере продвижения кривой вправо слоговые границы все более затушевываются, а начиная с третьего и четвертого слогов (седьмая буква), они полностью исчезают. По всей вероятности, в русском и французском языках, как и во всех других языках, в которых слог не совпадает с морфемой, слоговое членение слова подавляется его морфемной структурой [10].

Если это действительно так, то описанное теоретико-информационное соотношение слога и морфемы в речи проливает свет на некоторые аспекты семиотической природы языка и реализации этой природы в речи.

Язык реализуется в речи. Речь же представляет собой сложный марковский процесс линейного следования различных элементов языка — как фигур, так и знаков. В связи с этим возникает вопрос, какие закономерности лежат в основе вероятностно-статистической (информационной) структуры речи — вероятностно-статистические закономерности, характеризующие сочетаемость фигур, или закономерности сочетаемости знаков [11]? Исследованный материал показывает, что вероятностно-статистические связи и ограничения, характеризующие сочетаемость фигур (букв, фонем, слогов), действуют на коротких начальных участках текста (в нашем случае — первых буквах слова), не превышающих длины кратчайшего знака (чаще всего морфемы), в который входят данные фигуры. Как только следующие друг за другом по синтагматической оси фигуры составят знак, появляются вероятностно-статистические закономерности сочетаемости знаков. Эти закономерности накладываются на вероятностные спектры сочетаемости последующих фигур, отбирая из этих спектров лишь такие сочетаемости, которые соответствуют правилам сочетаемости знаков, образованных из этих фигур.

Решение второй задачи работы начнем с установления количественных оценок лексико-грамматических связей слова в тексте, иначе говоря — с количественного определения той информации, которую несет лексико-грамматический контекст.

Определение этих оценок производится на основе понятия контекстной обусловленности и осуществляется, исходя из следующих соображений.

Предположим, что в языке не существует никаких статистических ограничений. Все буквы употребляются с одинаковой частотой, могут стоять в любой позиции и без всяких ограничений сочетаются сами с собой и с другими буквами неограниченное количество раз. Совершенно очевидно, что неопределенность выбора языковой единицы и соответственно количество информации будут здесь максимальными. При этом величина энтропии будет одинаковой во всех участках речи.

В результате некоторых математических рассуждений было показано, что при отсутствии статистических ограничений или иначе говоря при равновероятном употреблении единиц того или иного кода максимальное количество информации, передавае-

---

[10] В отношении английского языка это предположение находит подтверждение в исследовании Д. Кэрсона, посвященном вероятностно-статистическим ограничениям внутри английской письменной словоформы. Оказалось, что процентное соотношение гласных и согласных (иначе говоря — слоговая структура слова) влияет на ход кривой этих вероятностно-статистических ограничений лишь относительно первых двух букв. См.: D. H. Carson, указ. соч., стр. 50.

Таким образом, как русский и французский, так и английский материал не подтверждают неоднократно высказывавшиеся предположения о том, что максимумы и минимумы информации (энтропии) могут рассматриваться в качестве объективных показателей границ слога [см.: Z. L. Harris, From phoneme to morpheme, «Language», 31, 2, 1955, стр. 190 и сл.; Е. В. Падучева, Статистическое исследование структуры слога, сб. «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», [Л.], 1958, стр. 160 и сл.; А. А. Пиотровская и др., указ. соч., стр. 125].

[11] Ср.: Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 305.

мое одной такой единицей (I_0), определяется из выражения

$$I_0 = \log_2 S. \tag{5}$$

Поскольку русский алфавит состоит из 32 букв, а французский из 27, оптимальное количество информации, которое будет передано одной буквой ($I_0^{(б)}$) или, иначе говоря, информация алфавита, соответственно, будет равняться:

$$I_0^{(б)} = \log_2 32 = 5 \text{ дв. ед. — для русского языка}$$

$$I_0^{(б)} = \log_2 27 = 4{,}76 \text{ дв. ед. — для французского языка.}$$

Средняя длина русского слова, включая пробел, равна 6,37 букв. Отсюда следует, что максимальное количество информации, передаваемое русским словом (I_0^c), равно:

$$I_0^{(c)} = 5 \cdot 6{,}37 = 31{,}85 \text{ дв. ед.}$$

Исходя из тех же соображений, получаем оценку максимального количества информации французского слова (его средняя длина равна 5,30 букв):

$$I_0^{(c)} = 4{,}76 \cdot 5{,}3 = 25{,}23 \text{ дв. ед.}$$

В действительности слово несет гораздо меньше информации (см. табл. 5). Это, как уже указывалось, является результатом разного вида статистических ограничений в речи. Разность между оптимально возможным и реальным количеством информации будем называть общей контекстной обусловленностью слова ($K^{(c)}$). При этом:

$$K^{(c)} = I_0^{(c)} - I^{(c)}. \tag{6}$$

Аналогичным образом может быть определена общая контекстная обусловленность буквы ($K^{(б)}$), которая будет представлять собой разность между оптимальным количеством информации, которое могло было быть передано буквой данного алфавита в предположении равновероятности этих букв и отсутствия каких бы то ни было ограничений в их комбинаторике и тем количеством информации, которое в действительности несет буква:

$$K_n^{(б)} = I_0^{(б)} - I_n^{(б)}. \tag{7}$$

Короче говоря, общая контекстная обусловленность единицы речи всегда является дополнением количества информации, передаваемым данной единицей, до оптимального количества информации, которое может нести данная единица речи.

Общая контекстная обусловленность имеет различный характер. У внетекстового слова величина контекстной обусловленности характеризует сумму статистических ограничений, связанных с различной сочетаемостью букв, слогов, морфем. Эту величину будем называть внутрисловной статистической обусловленностью ($K^{(вс)}$). Контекстная обусловленность текстового слова ($K^{(ст)}$), как это видно из табл. 5, значительно выше.

Разность значений $K^{(ст)}$ и $K^{(вс)}$ дает величину ($K^{(лз)}$), характеризующую те статистические ограничения, которые вносятся связями, существующими между отдельными словами в тексте. Как известно, слова в тексте связаны между собой, с одной стороны, по грамматической линии (ср. согласование, управление), а с другой — по линии лексической сочетаемости. Таким образом, с помощью величины $K^{(лз)}$ можно количественно оценить информацию, которую несут лексико-грамматические связи текста. Эта информация соответствует разности между тем количеством информации, которое несет в среднем внетекстовое слово ($I^{(c)}$) и количеством информации, которое дает нам текстовое слово ($I^{(ст)}$):

$$K^{(лз)} = I^{(c)} - I^{(ст)}. \tag{8}$$

Беря из табл. 5 значения $I^{(c)}$ и $I^{(ст)}$, получаем для русского языка по верхней границе: $\overline{K}^{(лз)} = 13{,}50 - 8{,}15 = 5{,}35$ дв. ед. на слово; и соответственно для нижней границы: $\underline{K}^{(лз)} = 5{,}60$ дв. ед. на слово.

Для французского языка (по верхней границе) эта величина будет равна: $\overline{K}^{(лз)} = 10{,}88 - 6{,}46 = 4{,}42$ дв. ед. на слово.

Теперь попытаемся определить, какой процент общей контекстной обусловленности слова, употребленного в контексте, составляют лексико-грамматические связи слова с предшествующим ему контекстом. Принимая величину общей контекстной обусловленности текстового слова ($I^{(c)} - \overline{I}^{(ст)}$) за 100%, получаем, что для верхней границы информации доля лексико-грамматических связей в общей контекстной обусловленно-

сти в русском языке равна:

$$\frac{\overline{K}^{(лг)}}{I_0^{(c)} - \overline{I}^{(cm)}} \times 100 = \frac{5{,}35 \cdot 100}{31{,}85 - 8{,}15} = 22{,}5\%.$$

Во французском языке лексико-грамматические связи составляют 24% общей контекстной обусловленности.

Для английского языка эта величина, согласно оценке Д. Кэрсона, составляет 19% [12], для румынского языка по предварительным данным эта величина равна 20%.

Таковы общие количественные оценки лексико-грамматического контекста. Теперь попытаемся выяснить некоторые детали воздействия указанного контекста на информационную структуру русского и французского слова.

Первое, что бросается в глаза при сопоставлении текстовых (нижние кривые на рис. 1—5) и внетекстовых (верхние кривые на тех же рис.) графиков, это — не только значительное уменьшение общего количества информации у текстового слова, но и изменение общей конфигурации распределения. Обобщающие полигоны морфемного распределения информации (см. рис. 2 и 3) показывают, что лексико-грамматический контекст, сглаживая максимумы информации на первых буквах морфем, расположенных в середине и в конце слова, в значительной степени сглаживает границы между морфемами.

Сходную картину дают полигоны буквенных распределений (см. рис. 1). *U*-образное распределение информации, характерное для длинных слов, употребленных вне контекста, сменяется в контексте *J*-образной конфигурацией. Это происходит потому, что лексико-грамматический контекст снимает максимумы информации, расположенные в конце слова. А эти максимумы, как уже указывалось, концентрируют в себе основную часть грамматической информации, содержащейся в слове.

Попробуем определить, какую часть своей грамматической информации теряют русское и французское слова, попадая в контекст. Следует при этом отметить, что речь пойдет о грамматической информации, заключенной в префиксах, суффиксах, внутренних флексиях и окончаниях слова. Что же касается информации, передаваемой словообразовательными аффиксами и служебными словами, то она в расчет приниматься не будет.

Грамматическая информация, содержащаяся в слове (точнее — в схеме слова определенной длины), определяется как сумма грамматических информаций, падающих на каждую буквенную позицию в схеме.

Для определения грамматической информации, которую несет данная буквенная позиция, обобщенные в этой позиции буквы экспериментальных слов делятся на два разряда. В первый включаются те буквы, которые либо входят в состав грамматического аффикса (окончание, внутренняя флексия, приставка), либо, хотя и не составляют грамматической части слова, но имеют альтернативой другую букву, входящую в грамматический аффикс данного или другого конкретного слова.

Второй разряд составляют буквы, не входящие в грамматический аффикс и не имеющие грамматической альтернативы. Буквы, входящие в первый разряд, группируются по количеству попыток, понадобившихся для их отгадывания. Все буквы второго разряда относятся к группе достоверных продолжений (угадывания с «нулевой» попытки) независимо от того, сколько попыток понадобилось для того, чтобы угадать каждую букву. Это делается из тех соображений, что «неграмматические» буквы, равно как и буквы первого разряда, угаданные с «нулевой» попытки, не несут грамматической информации.

Полученное этим путем распределение вероятностей рассчитывается с помощью формул (1) и (2) для русского языка и с помощью формулы (3) для французского языка.

Данные о количестве грамматической информации, содержащейся во внетекстовых и в текстовых словах определенной длины, в «среднем» внетекстовом и текстовом словах русского и французского языков, а также сведения о среднем количестве грамматической информации, приходящейся на букву, даны в табл. 1—4. Эти данные показывают, что, попадая в контекст, русское слово теряет в среднем 1,60 дв. ед. грамматической информации (считая по верхней границе). Это составляет около 69% от всей грамматической информации, содержащейся в формах внетекстового слова.

Французское внетекстовое слово в контексте теряет около 2,19 дв. ед. грамматической информации внетекстового слова.

Отсюда можно предположить, что в связном тексте (как в русском, так и во французском языках) большая часть грамматических аффиксов является избыточной. Здесь сказываются такие особенности грамматического строя этих языков, как правила управления, согласования и т. п., которые жестко определяют форму слов в тексте и употребление служебных слов, предопределяющих формы следующих за ними знамена-

[12] D. H. Carson, указ. соч., стр. 53. По новым данным Г. П. Богуславской лексико-грамматические связи английского текста дают 35% контекстной обусловленности.

Таблица 1

Распределение информации в русских внеконтекстных словах

№№ п/п	Длина слова в буквах, включая пробел	Вероятность слова	Общее кол-во информ., приход. на слово		Средн. кол-во информ., приход. на одну букву слова		Общее кол-во граммат. информ., приход. на слово		Средн. кол-во граммат. информ., приход. на букву слова	
			$\underline{I}^{(c)}$	$\overline{I}^{(c)}$	$\underline{I}^{(б)}$	$\overline{I}^{(б)}$	$\underline{I}^{(гс)}$	$\overline{I}^{(гс)}$	$\underline{I}^{(гб)}$	$\overline{I}^{(гб)}$
1	2	0,11	4,77	5,31	2,38	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	0,11	6,56	7,81	2,19	2,60	0,20	0,38	0,07	0,13
3	4	0,10	7,90	9,55	1,98	2,39	1,85	3,10	0,46	0,78
4	5	0,08	10,00	12,27	2,00	2,45	2,25	3,29	0,45	0,66
5	6	0,13	11,41	13,68	1,90	2,28	2,30	3,52	0,38	0,59
6	7	0,11	12,03	14,27	1,72	2,04	1,43	2,27	0,20	0,32
7	8	0,11	14,01	16,37	1,75	2,05	1,27	2,05	0,16	0,26
8	9	0,09	12,93	15,85	1,44	1,76	1,70	2,87	0,19	0,32
9	10	0,05	14,76	18,16	1,48	1,82	3,50	4,78	0,35	0,48
10	11	0,04	13,97	18,14	1,27	1,65	1,81	2,88	0,17	0,26
11	12 и более	0,07	13,92	16,45	1,16	1,37	1,41	2,12	0,12	0,18
12	Средн. к-во информ., приход. на букву в обобщ. схеме слова		11,59	13,50	1,82	2,12	1,46	2,30	0,23	0,36

тельных слов. Ср. *Сегодня я уезжаю в Москву*. При этом значение служебного слова (в нашем примере — предлог *в*) как бы дублирует грамматическое значение обусловленной им формы (в нашем примере — окончание *-у*).

Как известно, во французском языке многие грамматические категории выявляются в препозитивных служебных словах. Флексии знаменательных слов, выражающие эти категории в соединении со служебными словами, оказываются в этом случае избыточными. Отсюда естественно предположить, что потеря словом в контексте грамматической информации компенсируется употреблением служебных слов. Такое предположение находит косвенное подтверждение в двух явлениях.

Во-первых, доля информации, передаваемой морфологическими аффиксами, в общем количестве структурной информации, передаваемой словом, очень мала. В русском текстовом слове эта морфологическая информация составляет только 8,6%, во французском — около 16%. Во внетекстовых словах эти доли несколько выше: для русского языка 17%, для французского — 22%.

Во-вторых, короткие слова, значительную часть которых, как уже говорилось, составляют служебные слова, с точки зрения количества передаваемой ими информации, оказываются менее подверженными воздействию контекста, чем слова средней длины и длинные слова. Так, сравнение данных табл. 1—4 показывает, что в русском языке короткие слова, попадая в контекст, теряют от 30 до 33% несомой ими информации, в то время как у длинных слов и слов средней длины контекст снимает от 47 до 58% информации. Во французском языке короткие слова теряют в контексте от 25 до 30% информации, а слова средней длины и длинные — от 62 до 87%.

Теперь рассмотрим рост общей контекстной обусловленности как во внетекстовых, так и в текстовых словах. В свою очередь эти контекстные обусловленности сопоставим с ростом общей контекстной обусловленности в связном тексте. Эта последняя рассчитывается, исходя из предположения, что началом букворяда может служить любой из его участков (т. е. не только первая буква слова, но и пробел между словами, конечная буква слова, буква из середины слова и т. п.). Сопоставление всех трех видов контекстной обусловленности дано на рис. 6 и 7.

Ход кривой контекстной обусловленности описывается зависимостью

$$K_\xi = (I_0^{(б)} - I_\infty)(1 - e^{-s\xi}), \qquad (9)$$

где ξ — непрерывный аргумент функции, заменяющий дискретные величины n (т. е. номера букв), $I_0^{(б)}$ — информация алфавита, e — основание натуральных логарифмов, s — контекстный коэффициент, определяющий темп нарастания контекстных связей, I_∞ равно по величине предельной энтропии языка — H_∞. Эта последняя характери-

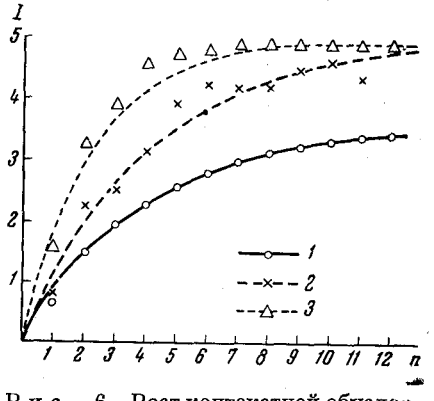


Рис. 6. Рост контекстной обусловленности букв в связном русском тексте и в обобщающих схемах русских слов. Условные обозначения: *1* — связный текст, *2* — внетекстовое слово, *3* — текстовое слово

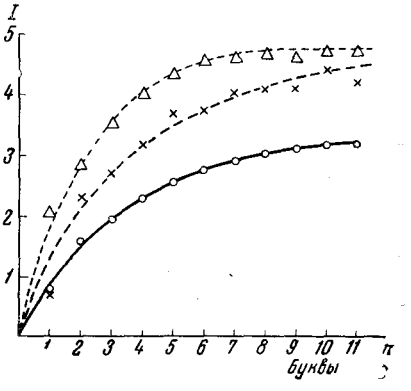


Рис. 7. Рост контекстной обусловленности букв в связном французском тексте и в обобщающих схемах французских слов. Условные обозначения те же, что и на рис. 6

зует тот предел, к которому стремится энтропия данного типа сообщения. Следует подчеркнуть, что предельная энтропия связного текста, при $n \to \infty$ будет всегда больше нуля. Это и понятно. Всякий текст, будучи образованным из сложных знаков (слов, словосочетаний, предложений), обладающих практически неограниченной комбинаторной способностью, имеет несколько продолжений, или, иначе говоря, всегда обладает неопределенностью (энтропией) выбора. Даже в тех случаях, когда данный шаг текста предусматривает единственно возможное продолжение, всегда найдутся последующие шаги, которые дадут несколько возможных продолжений.

Иное дело слово. Оно состоит из фигур (букв, фонем, слогов) и простых знаков (морфем), обладающих ограниченной комбинаторикой, и — что самое главное — слово выступает в тексте в виде кванта семантической информации. Поэтому при $n \to \infty$,

Таблица 2

Распределение информации во французских внеконтекстных словах

№№ п/п	Длина слова в буквах, включая пробел	Вероятность слова	Общее кол-во информ., приход. на слово $\overline{I}^{(с)}$	Средн. кол-во информ., приход. на одну букву слова $\overline{I}^{(б)}$	Общее кол-во граммат. информ., приход. на слово $\overline{I}^{(гс)}$	Средн. кол-во граммат. информ., приход. на букву слова $\overline{I}^{(гб)}$
1	2	0,09	6,14	3,07	0,70	0,35
2	3	0,25	6,61	2,20	1,90	0,63
3	4	0,13	8,88	2,22	2,13	0,53
4	5	0,13	10,69	2,16	1,42	0,28
5	6	0,11	13,01	2,18	4,00	0,67
6	7	0,09	14,98	2,15	4,08	0,58
7	8	0,07	15,99	2,00	4,03	0,50
8	9	0,06	16,32	1,82	3,56	0,40
9	10	0,04	17,03	1,70	4,70	0,47
10	11 и более	0,03	19,15	1,74	3,64	0,33
11	Средн. кол-во информ. в обобщ. схеме слова		10,88	2,20	2,60	0,51

Таблица 3

Распределение информации в русских контекстных словах

№№ п/п	Длина слова в буквах, включая пробел	Вероятность слова	Общее кол-во информ., приход. на слово		Средн. кол-во информ., приход. на одну букву		Общее кол-во граммат. информ., приход. на слово		Средн. кол-во грамм. информ., приход. на букву слова	
			$\underline{I}^{(ст)}$	$\overline{I}^{(ст)}$	$\underline{I}^{(бт)}$	$\overline{I}^{(бт)}$	$\underline{I}^{(гст)}$	$\overline{I}^{(гст)}$	$\underline{I}^{(гбт)}$	$\overline{I}^{(гбт)}$
1	2	0,11	3,48	3,94	1,74	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	0,11	4,06	5,25	1,35	1,75	0,24	0,35	0,08	0,12
3	4	0,10	5,21	6,81	1,30	1,70	0,59	1,20	0,15	0,30
4	5	0,08	5,08	6,70	1,01	1,32	0,61	1,05	0,12	0,21
5	6	0,13	4,65	6,85	0,78	1,14	0,36	0,72	0,06	0,12
6	7	0,11	4,74	7,61	0,68	1,09	0,43	0,75	0,06	0,11
7	8	0,11	5,62	8,29	0,70	1,04	0,40	0,67	0,05	0,08
8	9	0,09	4,97	7,54	0,55	0,84	0,37	0,72	0,04	0,08
9	10	0,05	5,78	8,73	0,58	0,87	0,42	0,49	0,04	0,05
10	11	0,04	6,95	9,82	0,63	0,90	0,30	0,56	0,03	0,05
11	12 и бол.	0,07	6,28	9,61	0,52	0,80	0,60	0,98	0,05	0,08
12	Средн. кол-во информ. в обобщ. схеме слова		5,99	8,15	0,94	1,28	0,38	0,70	0,06	0,11

Таблица 4

Распределение информации во французских контекстных словах

№№ п/п	Длина слова в буквах, включая пробел	Вероятность слова	Общее кол-во информ., приходящ. на слово $I^{(ст)}$	Среднее кол-во информ., приходящ. на одну букву слова $I^{(бт)}$	Общее кол-во граммат. информ., приход. на слово $I^{(гст)}$	Средн. кол-во граммат. информ., приход. на букву слова $I^{(гбт)}$
1	2	0,09	4,96	2,35	0,50	0,25
2	3	0,25	4,15	1,38	1,06	0,35
3	4	0,13	5,51	1,38	1,21	0,30
4	5	0,13	6,97	1,39	0,94	0,19
5	6	0,11	8,18	1,36	1,51	0,25
6	7	0,09	6,94	0,99	0,58	0,08
7	8	0,07	8,61	1,08	0,24	0,03
8	9	0,06	8,90	0,99	0,27	0,03
9	10	0,04	9,98	1,00	0,63	0,06
10	11 и более	0,03	10,56	0,96	0,67	0,06
11	Средн. кол-во информ. в обобщ. схеме слова		6,46	1,36	0,89	0,22

т. е. при бесконечном удлинении слова, энтропия отдельных составляющих ее фигур и знаков будет стремиться к нулю.

В связи с этим выражение (9) принимает вид:

$$K_{\xi}(\text{в слове}) = I_0^{(б)} - e^{-s\xi} \,. \tag{10}$$

Сравнение распределений общей контекстной обусловленности в текстовом и внетекстовом слове показывает, что лексико-грамматический контекст значительно ускоряет рост контекстной обусловленности букв внутри слова. В обоих языках коэффициент s текстового слова в два раза превышает по величине аналогичный коэффициент для нетекстового слова.

Особенно круто возрастает контекстная обусловленность в текстовых словах обоих языков на участке от первой до четвертой букв. После четвертой буквы кривая обусловленности значительно приближается к своему пределу (5 дв. ед. для русского языка и 4,76 для французского). Что же касается внетекстовых слов, то здесь нарастание контекстных связей происходит более плавно. Кривая обусловленности достигает своего предела лишь после двенадцатой буквы.

Быстрое нарастание общей контекстной обусловленности букв на участке между первой и четвертой буквами — нарастание, постоянно наблюдаемое в процессе самого эксперимента, имеет важные последствия для информационной структуры текстового слова в обоих языках. В частности, этим быстрым ростом контекстной обусловленности объясняются следующие уже рассматривавшиеся выше две особенности структуры текстового слова.

1. В текстовом слове, начиная с водораздела между второй и третьей морфемами, падающего примерно на шестую букву, отмечается значительное сглаживание границ между морфемами (см. рис. 2 и 3). Причины этого ясны. На этом и на последующих участках контекстная обусловленность уже очень близка к своему верхнему пределу. Поэтому находящиеся здесь буквы оказываются в значительной степени детерминированными предшествующим контекстом. Колебания в величинах информации у этих букв могут быть в связи с этим очень незначительными. Но, как можно уже было убедиться, чем меньше различаются величины информации у букв, стоящих по обе стороны морфемной границы, тем слабее выражена эта граница.

2. Как уже говорилось, основная часть грамматической информации длинных слов и слов средней длины концентрируется в основном на конечных буквах данных слов. Когда слова этого типа попадают в текст, общая контекстная обусловленность их начальных букв растет настолько быстро, что несущие грамматическую информацию конечные буквы, равно как и буквы, находящиеся в центральной части слов, оказываются почти полностью предопределенными предшествующим контекстом. Поэтому они теряют значительную часть своей грамматической информации.

Таблица 5

Информация и контекстная обусловленность слов

№№ п/п			Кол-во информ., приход. на слово (в дв. ед.)	Контекстная обусловленность (в дв. ед.)
1	Русское слово средней длины (6,37 букв), взятое в предположении об отсутствии вероятностно-статистических ограничений		31,85	0
2	Русское внетекстовое слово средней длины	по верхней границе	13,50	18,35
		по нижней границе	11,59	20,26
3	Русское текстовое слово средней длины	по верхней границе	8,15	23,70
		по нижней границе	5,99	25,86
4	Французское слово средней длины (5,30 букв), взятое в предположении об отсутствии вероятностно-статистических ограничений		25,23	0
5	Французское внетекстовое слово средней длины (по верхней границе)		10,88	14,35
6	Французское текстовое слово средней длины (по верхней границе)		6,46	18,77

Иное дело короткие слова. Контекстная обусловленность при употреблении их в тексте также растет довольно быстро. Однако эта обусловленность не успевает к концу слова достичь своего предела (максимальная длина коротких слов — 4 буквы). В связи с этим все буквы короткого слова сохраняют свой информационный вес. Поэтому короткие слова по сравнению с длинными и средними словами оказываются менее подверженными воздействию контекста.

Только что описанные особенности контекстных связей объясняются внутренним механизмом речи, который состоит в последовательном напластовании вероятностно-статистических ограничений в комбинаторике фигур и знаков. На комбинаторику фигур — букв и слогов — накладываются ограничения, связанные с сочетаемостью простых знаков — морфем. В свою очередь комбинаторика морфем ограничивается сочетаемостью знаков более высокого порядка — слов. Затем, по мере развертывания текста, на комбинаторику слов напластовываются ограничения в сочетаемости словосочетаний и предложений, а на эти последние в свою очередь накладываются композиционно-сюжетные ограничения всего повествования.

*

Выше было показано, что большинство статистических данных, характеризующих структуру слов и определяющих воздействие на них лексико-грамматического контекста, совпадает в обоих языках. Заметные расхождения обнаруживаются в оценках той информации, которую несет в этих языках флективная морфология. Как оказалось, в аналитическом французском языке доля флективной морфологии в тексте примерно в два раза превышает информационный вес грамматических приставок и окончаний синтетического русского языка.

Это несколько парадоксальное соотношение следует отнести, очевидно, за счет следующих факторов.

1. Французский язык обладает значительно бóльшим по сравнению с русским языком количеством глагольных флективных форм. Употребление морфологических аффиксов в этих формах часто не предопределено служебными словами.

2. Французские служебные слова, играющие большую роль в передаче грамматической информации, часто сами обладают флексиями (ср. формы определенного артикля *le*, *la*, *les* или вспомогательного глагола *avoir* — *ai*, *as*, *a* + 0). Что же касается русских служебных слов, то они чаще всего оказываются неизменяемыми.

Дальнейшие статистические и теоретико-информационные исследования покажут, насколько общепринятые интуитивные оценки аналитичности и синтетичности того или иного языка отвечают реальной действительности.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Н. В. ЛАПШИНА, И. К. РОМАНОВИЧ, Б. И. ЯРХО

ИЗ МАТЕРИАЛОВ «МЕТРИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА К СТИХОТВОРЕНИЯМ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА»

Всем стиховедам хорошо известна книга Н. В. Лапшиной, И. К. Романовича и Б. И. Ярхо «Метрический справочник к стихотворениям А. С. Пушкина» (М.—Л., «Academia», 1934). Не столь известно, что по замыслу эта книга должна была быть лишь первым выпуском в серии метрических справочников к стихам крупнейших русских поэтов. Вторым выпуском должен был стать «Метрический справочник к стихотворениям М. Ю. Лермонтова». Он был составлен тем же коллективом под руководством Б. И. Ярхо (1886—1942) и закончен в 1934 г., но напечатан не был. Рукопись его сохранилась в архиве Б. И. Ярхо (ЦГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 21) и была извлечена оттуда по инициативе чл.-корр. АН СССР Л. И. Тимофеева, которому редакция приносит благодарность.

Задача настоящей публикации — сделать доступным богатейший статистический материал, собранный Б. И. Ярхо и его коллективом [1]. Он публикуется почти полностью; лишь для экономии места порой приходилось: (а) сводить две и более таблиц в одну, (б) переводить материал из табличной формы в текстовую, (в) там, где речь шла о второстепенных моментах метра, опускать внутритабличные цифры и ограничиваться суммарными строками или (г) опускать абсолютные цифровые показатели и ограничиваться процентными. Однако весь словесный комментарий к таблицам за недостатком места напечатан быть не мог (полный объем рукописи «Справочника» около 4 печатных листов); он заменен сжатым пересказом, по мере возможности сохраняющим выражения подлинника. В подлинном виде печатается лишь одна часть труда Б. И. Ярхо, наиболее интересная и важная,— сравнение метрики Пушкина и Лермонтова по материалам двух «Справочников» (§ 9 авторской рукописи — «Пушкин и Лермонтов»; § 11 — «Замечания о ходе развития стихосложения у Пушкина и Лермонтова»). Из индексов публикуется лишь указатель размеров, причем ссылки на стихотворения заменены в нем для удобства читателя ссылками на страницы советского академического издания Лермонтова.

Значение метрических справочников такого рода для развития стиховедения очевидно. Только они позволяют увидеть и оценить отдельные метрические явления в контексте всей метрической и, шире, поэтической системы автора, направления, эпохи. «Метрический справочник к стихотворениям Пушкина» когда-то критиковался за увлечение «самодовлеющей цифрой». Публикуемая ниже сравнительная характеристика метрических систем Пушкина и Лермонтова, сделанная Б. И. Ярхо, наглядно показывает, к каким широким обобщениям подводят эти цифры исследователя поэтики и истории литературы [2].

М. Л. Гаспаров

---

[1] Нужно заметить, что сохранившаяся рукопись неполна: в ней отсутствуют такие важные части, как таблица и индекс строф, приложение о метрике дольников, приложение о ритме отдельных размеров; неполностью сохранился даже индекс размеров, печатаемый здесь с дополнениями.

[2] Было бы очень желательно, если бы начатая Б. И. Ярхо и его коллективом работа по метрическому описанию творчества крупнейших русских поэтов была продолжена. Сейчас ведется работа по составлению метрического справочника к Блоку и начата подготовка метрических справочников к Некрасову и Тютчеву (кафедра русской литературы Коломенского пединститута). К этому начинанию могли бы присоединиться желающие лица и коллективы из других городов и научных учреждений.

Объем и задачи работы

В основу справочника положено «Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова» под ред. Д. Абрамовича, П., 1916 («Академическая библиотека русских писателей»). Недостающие стихи некоторых произведений восполнены из однотомника в изд. Госиздат, 1926. Весь полученный таким образом материал обнимает 460 стихотворных произведений, 32 091 стих.

План работы — тот же, что и в «Метрическом справочнике к стихотворениям А. С. Пушкина»: стихотворные системы, размеры, клаузулы, строфика, метрическая композиция; все это — сперва в синхроническом, потом в диахроническом обзоре. Основные стиховедческие термины — «ритм», «система», «стопа», «размер», «каталектика», «строфа» — разъяснены там же. Условные обозначения те же: силлабо-тонические размеры сокращенно обозначаются цифрой и буквами (3х — трехстопный хорей, 4ам — четырехстопный амфибрахий, ВЯ — вольный ямб и т. д.); клаузулы обозначаются латинскими буквами для рифмованных стихов, греческими — для белых, причем буквы, выдающиеся над строкой (b, d, h, δ), означают мужские окончания, не выдающиеся (a, c, e, α) — женские, спускающиеся под строку (g, j, γ) — дактилические.

Синхронический обзор

Системы. Системою мы называем совокупность стихов, объединяемых общим мерилом ритма: количеством слогов (силлабическая система), количеством ударов (тоника), количеством слогов и расположением ударов (силлабо-тоника) и др. Размеры Лермонтова принадлежат к следующим четырем системам:

1. Силлабо-тоническая система. Она включает обычные равностопные размеры: двухмерные (ямбы, хореи) и трехмерные (дактили, амфибрахии, анапесты); но наряду с ними у Лермонтова появляется образец разностопных размеров (силлабо-тонических логаэдов) — ямбо-анапесты: стих, в котором в постоянной последовательности сочетаются стопы ямба и анапеста. В стихотворении «Они любили друг друга так долго и нежно...» перед нами 5я-ан, в стихотворении «На бурке под тенью чинары...» строки 3я-ан чередуются со строками 3ам.

2. Смешанные трехмерники (интервальная система): стих, в котором дактили, амфибрахии и анапесты являются эквивалентными друг другу («Русалка плыла по реке голубой, Озаряема полной луной...»). Здесь мы имеем дело с неким переходным видом от силлабо-тоники к дольнику. Равенство числа слогов между ударениями (силлабический принцип) отделяет их от дольника, неравенство расположения ударений (считая от начала) отличает их от обычной силлабо-тоники. Разумеется, между ними и обеими смежными системами возможно бесконечное количество переходных ступеней.

3. Дольники (тоническая система): стих, в котором эквивалентными являются равноударные стихи (или пары стихов, как в балладной строфе с ударностью 4, 3, 4, 3). Чем больше примешано к равноударным стихам разноударных, тем слабее ритмичность дольника, и в тот момент, когда основной размер перестает обнимать 50% стихов, дольник становится прозой.

4. Логаэды (тонические): стих, в котором те или иные разные стопы сочетаются в переменном соотношении и в переменном порядке — таковы дактило-хореические гексаметры и пентаметры. От разностопной силлабо-тоники эти логаэды отличаются тем, что для эквивалентности двух стихов не требуется равенства слогов.

Три стихотворения отнесены к разряду «dubia»: песня девы из поэмы «Азраил» (интервальная система или дольник?), двустишие «Недаром она, недаром...» (дольник или рифмованная проза?), песня «Желтый лист о стебель бьется...» (поэт начал стихотворение хореями, но затем перешел на дольник с очень сбивчивой ударностью).

Силлабо-тоническая система являлась в русском стихосложении традиционной и господствующей. Истоками других систем являлись, во-первых, русский народный тонический стих (дольники: былинные — «Что в поле за пыль пылит...» и «Песня про царя Ивана Васильевича...» — и песенные — «Воля») и, во-вторых, немецкий и английский тонический стих, преимущественно балладный (в чистом виде — дольники; в смягченном, силлабо-тонизированном виде — смешанные трехмерники и ямбо-анапесты).

Вес названных систем в творчестве Лермонтова: силлабо-тоника — 97,0%; смешанные трехмерники — 0,4%; дольники — 2,4%; логаэды — 0,1%. Итак, творчество Лермонтова в основе силлабо-тонично. Остальные системы служат лишь свидетельством того, что его ритмоощущение было шире господствующей традиции.

Размеры и клаузулы в стихах Лермонтова характеризуются цифрами, данными в табл. 1.

Ввиду довольно значительного веса вольных ямбов у Лермонтова (ок. 21% всех стихов) их размеры и каталектика заслуживают особого рассмотрения (см. табл. 2).

Размеры. Всего Лермонтов располагает 36 размерами. Силлабо-тоническая система дает 26 размеров (перечислены в табл. 1); дольники и смешанные трехмерники — 8 (былинные дольники; балладные 3- и 4-ударные стихи, в которых дольники и смешанные трехмерники эквивалентны; 1-, 2- и 3-ударные дольники; 5- и 6-ударные трех-

Таблица 1

Размер	Годы														Всего		В том числе				
	1828	1829	1830	1831	1832	1833—1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	неизв. г.	ст.	%	с муж. оконч.	с жен. оконч.	с дакт. оконч.	с гипер-дакт. оконч.	сомн.
Х: 1х	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,01	—	3	—	—	—
2х	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0,02	—	8	—	—	—
3х	—	—	10	9	6	4	—	—	—	—	—	32	48	—	109	0,35	101	8	—	—	—
4х	12	144	155	15	101	20	—	—	24	8	92	24	48	—	643	2,00	248	350	45	—	—
5х	—	—	16	52	—	—	—	—	—	—	—	28	28	—	96	0,30	42	54	—	—	—
Я: 1я	—	8	9	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	26	0,08	13	13	—	—	—
2я	—	33	68	24	—	21	12	—	—	—	—	20	—	—	178	0,55	146	32	—	—	—
3я	—	59	108	80	48	21	116	1	37	—	12	84	84	—	578	1,80	349	167	62	—	—
4я	1276	830	3453	1531	2105	931	2129	895	1012	26	1300	1327	143	12	16970	52,86	10263	6607	75	—	25
5я	1	194	3934	1330	530	—	1079	1736	36	9	393	8	39	22	9311	29,00	5538	3744	25	—	4
6я	29	118	481	87	14	—	1167	34	45	85	43	34	80	—	2217	6,90	1166	1049	—	—	2
7я	—	—	16	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	0,06	17	2	—	—	—
Д: 2д	—	—	—	12	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	0,05	2	12	—	—	1
3д	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0,02	4	3	—	—	—
4д	—	—	4	6	—	—	—	16	—	—	—	32	34	—	92	0,30	37	27	28	—	—
АМ: 1ам	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0,02	1	6	—	—	—
2ам	18	2	5	—	19	—	—	—	—	—	24	36	7	—	111	0,35	25	78	8	—	—
3ам	—	15	42	36	52	10	—	—	—	—	—	115	48	4	322	1,03	164	158	—	—	—
4ам	—	38	35	65	34	10	—	—	—	—	60	7	—	—	249	0,81	168	81	—	—	—
5ам	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	24	—	30	0,10	30	—	—	—	—

Таблица 1 (продолжение)

Размер	Годы														Всего		В том числе				
	1828	1829	1830	1831	1832	1833—1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	неизв. г.	ст.	%	с муж. оконч.	с жен. оконч.	с дакт. оконч.	с гипер-дакт. оконч.	сомн.
АН: 1ан	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0,01	—	3	—	—	—
2ан	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0,03	10	—	—	—	—
3ан	—	—	18	23	—	—	—	—	—	—	—	36	—	19	96	0,31	77	18	—	—	1
4ан	—	—	18	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	19	44	0,14	44	—	—	—	—
Я-АН: 3я-ан	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	0,01	4	—	—	—	—
5я-ан	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	0,02	—	8	—	—	—
Смеш. трехмерники	—	—	63	36	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	127	0,33	104	23	—	—	—
Дольники	—	55	74	87	—	—	—	—	529	—	—	—	—	4	749	2,32	138	91	490	30	—
Гексаметр	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	—	33	0,10	—	33	—	—	—
Пентаметр	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,01	1	—	—	—	—
Сомнит.	—	—	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25	0,08	5	15	4	—	1
Всего	1336	1507	8545	3413	2923	1017	4507	2710	1683	128	1929	1685	623	85	32091		18697	12593	737	30	34
																100,0	58,3	39,2	2,3	0,1	0,1

Таблица 2

Стопность	1	2	3	4	5	6	7	Всего	
								стихи	%
Муж. оконч.	2	7	72	681	1434	941	3	3140	47
Жен. оконч.	1	9	70	801	1672	874	2	3429	51
Дакт. оконч.			14	75	25			114	2
Всего	3	16	156	1557	3131	1815	5	6683	
%	0,05	0,25	2,3	23,3	47,0	27,0	0,1		100

мерники); логаэды — 2 (гекзаметр и пентаметр). Из них самостоятельно (т. е. для композиции целых стихотворений) употребляется 21 размер (3х, 4х, 5х, 2я, 3я, 4я, 5я, 6я, 7я, 4д, 2ам, 3ам, 4ам, 5ам, 3ан, 5я-ан, 3- и 4-уд. балладные стихи, 2-уд. дольники, былинные дольники, гексаметр). Остальные 15 размеров встречаются лишь в соединении с другими размерами.

В основе метрики Лермонтова лежат ямбы (91,25%), вернее, 4я и 5я; рядом с ними некоторым весом обладают лишь 6я. Эти три размера вместе обнимают около 89%, а остальные 11% распылены между 33 размерами. В частности, в поэмах (16 454 стиха) ямбы составляют 97% всех стихов, в драмах (5926 стихов) — 100%, в мелких жанрах (9711 стихов) — 77%. Господствующие 4-ст. и 5-ст. ямбические стихи составляют в поэмах соответственно 73 и 27% всех ямбов, в драмах — 23 и 47%, в мелких жанрах — 53 и 30%.

Если выделить стихи средней длины (4я, 4х, 3д, 3ам, 3ан, 3я-ан, 3-уд.дольники), стихи с меньшей стопностью считать короткими, с большей — длинными, то соотношение коротких, средних и длинных стихов (в %) для поэм будет 0,5 : 73 : 26,5; для драм — 3 : 23 : 74; для мелких жанров — 10 : 54 : 36; в среднем 4 : 58 : 38.

Стопность вольных ямбов (ВЯ) представляет особый интерес. Здесь высокий процент 5я — 47% — показателен для факта истории русского ВЯ, отмеченного М. П. Штокмаром («Вольный стих XIX века», сб. «Ars poetica», II, М., 1928, стр. 117—167): со времени Лермонтова в ВЯ начинается усиление 5я за счет других размеров. Ни у одного из предшественников и современников нет такого высокого процента 5я. Это — нововведение Лермонтова.

Степень вольности таких стихов зависит от того, часто ли встречаются в них большие группы рядом стоящих стихов одного размера («гомогенные группы»). Отношение числа стихов в произведении к числу гомогенных групп называется коэффициентом урегулированности: чем больше коэффициент урегулированности, тем ближе вольный ямб к обычному одноразмерному ямбу. В ВЯ Лермонтова из 39 стихотворений 21 имеют коэффициент урегулированности между 1 и 1,9; 10 — между 2 и 2,9; 5 — между 3 и 3,9; 3 — между 4 и 4,6 («Ночь 1»; «Простите мне, что я решился к вам...»; «Жалоба турка»). Средний коэффициент урегулированности для мелких жанров — 2,1; для драм — 1,6; для ВЯ в целом — 1,8.

Клаузулы. Здесь замечательна необычайная любовь Лермонтова к мужским стихам (58%). Во всех сколько-нибудь крупных силлабо-тонических размерах (кроме 4х) мужские окончания преобладают. Только ВЯ обнаруживают легкое преобладание женских. Все гипердактилические клаузулы и большая часть дактилических падают на дольники народного типа.

В клаузулах вольных стихов заметна легкая уравнительная тенденция: длина стихов меньшей стопности приближается к длине стихов большей стопности при помощи удлинения клаузулы. Так, в табл. 2 на короткий 3я приходится самый высокий процент дактилических клаузул (14 стихов = 9%), а на длинный 6я — мужских клаузул (941 стих = 52%). Это частное явление наводит на следующие предположения: (а) последний слог дактилической клаузулы несет на себе второстепенное ударение, которое является как бы легкой компенсацией стопы: это полусильное место в стихе (у Лермонтова здесь возможно немецкое влияние); (б) число слогов после последнего главного ударения может быть не совсем безразлично для длины стихов, т. е. например, 3я женский есть переходная ступень к 4я.

Большая часть клаузул (88,2%) отмечена рифмой. На нерифмованные (белые) стихи, числом 3776, приходится 7,2% мужских окончаний, 14,6% женских, 74,4% дактилических, 100% гипердактилических. Около 72% белых стихов — это ВЯ (драма «Испанцы»), около 16% — народные дольники, около 6,5% — 5я. Остальные 5,5% распылены между 1я, 3я, 4я, 6я, 2д, 3д, 4д, 2ам, 3ам, 4ан, смешанными трехмерниками, логаэдами и dubia. Отметить нужно отсутствие белых хореев.

Строфика. Понятие «строфа» употребляется здесь в том же широком смысле, что и в пушкинском справочнике: всякое стихосочетание внутри стихотворения, отделенное от соседних по какому-нибудь фоническому признаку, главным образом, по рифмовке (независимо от того, повторяется такое стихосочетание систематически или нет). При таком понимании строфы 28 415 лермонтовских стихов (88,5%) оказы-

ваются строфически организованными. Они образуют 7872 строфы. Типов строф, различных по числу стихов, метру, клаузулам и рифмам, в этой массе можно насчитать 324. Из них 128 типов (40%) являются строфами также и в узком смысле слова, т. е. служат для построения разностроф ических стихотворений.

Среди строфических типов господствуют двустишия и четверостишия (ок. 83% всех строф). из более длинных выделяются лишь октавы и 11-стишия разных видов («Сашка», «Поле Бородина», «Памяти Одоевского»). Четное число стихов имеет 89% всех строф. Средняя длина строфы — 3,6 стиха.

По использованию сочетаний разных размеров можно различать строфы простые (в том числе монометрические и полиметрические) и сложные (в том числе монoритмические и полиритмические): определение этих терминов дано в «Метрическом справочнике к стихотворениям Пушкина», стр. 36—37. У Лермонтова монометрические строфы составляют 80,8% всех строф, полиметрические — 14,0%, монoритмические — 4,8%, полиритмические — 0,4%. На простые строфы приходится 257 типов строф, на сложные — 67.

По расположению рифм можно различать строфы, построенные на рифмах сплошных (*aa*, *bb*, *gg* и т. п.), перекрестных (*abab*, *baba*, *bdbd*, *babacbc* и т. п.), охватывающих (*abba*, *accca* и т. п.), смешанных (*abbab*, *babadccdd* и т. п.). Соотношение их следующее:

Таблица 3

	Число типов	Число строф
Сплошные рифмы	37 = 11%	3703 = 47%
Перекрестные рифмы	99 = 31%	2341 = 30%
Охватывающие рифмы	25 = 8%	747 = 9%
Смешанные рифмы	163 = 50%	1081 = 14%
Всего	324 = 100%	7872 = 100%

Преобладающие типы рифмовки: сплошной — *aa* (794 строфы), *bb* (2161); перекрестной — *abab* (1397), *baba* (516), *bdbd* (189); охватывающей — *abba* (383), *baab* (300); смешанной — *bababccddee* (185). Эти излюбленные типы обнимают около 75% строф и около 67% строфических стихов.

Пристрастие Лермонтова к мужским клаузулам сказывается и на строфике. Строфы из одних мужских стихов преобладают над строфами из одних женских стихов, строфы из перемежающихся стихов с мужским завершением преобладают над строфами с женским завершением.

Таблица 4

	Число типов	Число строф
С однородной каталектикой	94 = 29,0%	4175 = 53,0%
в том числе с мужской	67 = 21,0%	3324 = 42,2%
с женской	23 = 7,9%	840 = 10,7%
с дактилической	4 = 0,1%	11 = 0,1%
С перемежающейся каталектикой	230 = 71,0%	3697 = 47,0%
в том числе с мужск. заверш.	135 = 41,6%	2310 = 29,4%
с женск. заверш.	95 = 29,4%	1387 = 17,6%
Всего	324 = 100%	7872 = 100%

Если мы возьмем только строфы в узком смысле слова (т. е. из которых слагаются разностроф ические стихотворения) и исключим из подсчета обычные женские и мужские двустишия (*aa* и *bb*), то преобладание мужских клаузул станет еще заметнее: однородных строф мужских будет 297, женских — только 28, перемежающихся строф с мужским завершением — 850, с женским — 387.

Метрическая композиция. Длина стихотворного произведения варьирует от 2 до 2565 стихов (драма «Испанцы»). Если не считать драм и поэм, то самыми обширными стихотворениями будут «Валерик» (262 ст.) и «1831 года, июня 11-го дня» (256 ст.). Средняя длина стихотворения (не считая драм и поэм) — около 22,7 стиха.

По строфической композиции произведения делятся так:

Таблица 5

	Число стихотворений	Число стихов
Астрофические	17 = 3,5%	3630 = 11,0%
Однострофные	31 = 6,8%	137 = 0,4%
Неравнострофические	114 = 25,0%	16715 = 52,4%
Равнострофические	297 = 64,5%	11566 = 36,0%
Смешанные	1 = 0,2%	43 = 0,2%
Всего	460 = 100%	32091 = 100%

По числу стихотворений резко преобладают равнострофические, по числу стихов — неравнострофические (благодаря драмам и крупным поэмам). Большинство стихотворений написано либо одним размером, либо какими-нибудь сложными строфами. Стихотворения «сводные», т. е. состоящие из кусков, написанных разными размерами, перечислены в метрическом индексе.

Диахронический обзор

Жизненный путь Лермонтова оборвался в самом начале. Поэтому этапы его неизбежно оказываются короткими, а такие малые членения обычно мало показательны. Совпадение творческих поворотов с биографическими моментами тоже не так отчетливо, как, например, у Пушкина. Лишь с трудом удается выделить три более или менее раздельные этапа: 1828—1832, 1833—1838, 1839—1841. Заметим, что «пограничные» годы 1833 (переезд в Петербург, поступление на военную службу) и 1838 (возвращение в Петербург после первой ссылки) — это годы минимальной творческой производительности Лермонтова.

Основные признаки, подсказывающие такое членение, собраны в следующей таблице. Цифры означают процент стихов каждого вида от общего числа стихов по периоду.

Таблица 6

Признаки		1828 — 1832	1833 — 1838	1839 — 1841
Жанры:	поэмы	45,9	57,6	60,4
	драмы	14,4	33,4	—
	мелкие жанры	39,7	9,0	39,6
Размеры:	4-стопный ямб	50,0	52,0	65,0
	5-стопный ямб	34,0	28,0	11,0
	весь ямб	92,5	93,8	82,4
	весь хорей	3,0	0,5	6,4
	трехмерники и я-ан.	2,7	0,3	10,3
Строфика:	равнострофическая	38,5	31,5	37,0
	неравнострофическая	44,0	63,0	62,0
	астрофич. и пр.	17,5	5,5	1,0
	сложные строфы	6,8	2,5	11,3
Число стихов		17 724	10 045	4237

Таблица 7

Число стоп	1	2	3	4	5	6	7	Всего
Весь ВЯ:								
1829—1831	—	0,1	1,6	16,1	64,7	17,4	0,1	100%
1835—1841	0,1	0,3	3,3	29,5	31,2	35,6	—	100%
То же, без драм:								
1829—1831	—	0,2	0,7	17,7	57,6	23,5	0,3	100%
1835—1841	—	—	0,4	32,9	18,6	48,1	—	100%

Особого рассмотрения заслуживает стопность вольных ямбов в ее изменении по периодам (см. табл. 7).

1) Признаки первого периода (московского, 1828—1832). а) Необычайная творческая производительность: на эти неполные 5 лет приходится 55% всего, написанного Лермонтовым, на год приходится в среднем по 3550 стихов — в 2—2,5 раза больше, чем в следующие периоды. б) Огромное разнообразие размеров: Лермонтов использует 30 размеров, между тем как во II периоде — всего 15, а в III — 17 размеров. в) Опыты со всеми системами стихосложения вне силлабо-тоники: дольники (балладные, песенные, былинные), смешанные трехмерники (78% всех, написанных Лермонтовым), первый неудачный элегический дистих. г) Вольные ямбы с беспримерным преобладанием 5я; после 1831 г. они исчезают. д) Строфы с однородными мужскими клаузулами, столь характерными для Лермонтова, на 95% сосредоточены в этом периоде (не считая двустиший и случайных трехстиший). е) Октавы различных форм на 98,5% сосредоточены

в этом периоде: ими написана поэма «Аул Бастунджи» и 16 стихотворений. ж) В этом же периоде сосредоточена основная масса астрофических стихов («Испанцы») и однострофных стихотворений (26 из 30).

2. Приметы второго периода (1833—1838). а) Решительный отход от лирических жанров: 91% стихов приходится на поэмы и драмы. Отчасти следствием этого являются и остальные признаки. б) Среди размеров 99% составляют ямбы и эпические дольники, вес хореев и трехмерников падает до минимума. в) В строфике понижается равнострофичность и доля сложных строф.

3. Признаки третьего периода (1839—1841). а) Вновь возрождаются лирические жанры. б) В связи с этим заметно падает вес ямбов в целом и 5я в частности. в) При этом, однако, наблюдается резкий подъем 4-стопного ямба. г) Еще с 1835 г. возрождаются после трехлетнего перерыва вольные ямбы, но строение их уже иное: 5я теряет в них господствующее положение, и состав стиха слегка приближается (особенно в лирике) к традиционному ВЯ с преобладанием 6я. д) Из мелких размеров в 1840—1841 гг. появляются 5ам и 5я-ан; возобновляет поэт (хотя и неудачно) давно оставленные опыты с гексаметром.— Этому возрождению не суждено было дойти до конца.

Пушкин и Лермонтов

Охарактеризовав, таким образом, лермонтовское стихосложение, мы получили достаточно данных для сравнения его с пушкинским. Однако при установлении «сходств» и «различий» между этими двумя комплексами следует помнить некоторые общие положения, побуждающие нас к особой осторожности при оперировании с этими двумя словами: «сходство» и «различие». Прежде всего, в статистике (вернее, в природе) полное совпадение цифр встречается редко, и «сходства» суть, по большей части, лишь «малые разницы» (т.е. количество переходит в качество). Что считать большой, а что малой разницей,— опять-таки вещь условная. Но можно, скажем, условиться считать малыми различиями отношения А : В от 1 : 1 до 1 : 1,4, средними — отношения от 1,5 до 1,9, а большими от 1 : 2 и выше. Но и это условие будет недостаточным, если не принять во внимание еще одного обстоятельства, а именно веса сравниваемых явлений. Так, например, силлабо-тоническая система обнимает у Пушкина 96,2%, а у Лермонтова 97%: можно, стало быть, констатировать большое сходство в области стихотворных систем. Но возьмем другой факт из той же области: логаэды у Пушкина обнимают 0,2% стихов, а у Лермонтова 0,1%: получается «крупное различие» в отношении систем (1 : 2). Этот карикатурный пример взят для большей очевидности того положения, что геометрическое соотношение сравниваемых величин недостаточно для полной оценки отраженного в них факта.

Но, с другой стороны, и явления малого веса (это мы настоятельно подчеркиваем) не должны обходиться молчанием. Малый по объему факт может обладать значительным историческим интересом. Таковы, например, балладные дольники Лермонтова: важен не их ничтожный вес (ок. 0,3%), а самое их наличие, так как этой форме суждено было после пышно развиться в русской литературе, и важно показать, что Лермонтов стоит у истоков этого развития. Здесь различие между Лермонтовым и Жуковским, выражаемое в отношении 103 ст.: 0 ст., является крупным шагом вперед, несмотря на малость цифры (особенно этот факт важен для истории перевода).

Последний пример показателен, между прочим, также и для того, что следовало бы учитывать малые признаки также и в расчете на новый сравнительный материал. Это пожелание, однако, может быть выполнено лишь весьма приблизительно. Дело в том, что число признаков бесконечно, так как аналитическая работа человеческого ума не знает границ, и многие признаки становятся заметными лишь при сравнении с новым объектом. Так, в пушкинском справочнике мы не выделяли в особую рубрику строф с однородной каталектикой, так как (кроме обычных двустиший) такие строфы обнимали всего 135 стихов; но когда у Лермонтова таких стихов оказалось 2706, то эти 135 оказались ценным показателем для сравнения пушкинской строфики с лермонтовской. Из этого следует, что гарантировать себя от возможного пропуска целого ряда признаков совершенно невозможно; некоторым противоядием против этого зла может служить полнота индексов, по коим новый исследователь сумеет в известных случаях сам произвести дополнительные вычисления.

Все вышеизложенное имело целью обратить внимание читателя (может быть, не всегда опытного в обращении со статистическими данными) на некоторые моменты, подлежащие учету при оценке этих данных. Самая же оценка (в особенности историческая) не может входить в задачу скромного справочника: наше дело заключается лишь в подборе значимых фактов и представлении их под разными статистическими аспектами.

1. Объем стихотворства: П.— 39 859 стихов за 23 года, Л.— 32 091 стих за 13,5 лет. На год в среднем приходится: у П.— 1733 ст., у Л.— ок. 2377 ст. Наиболее продуктивный год у Пушкина (1825) — 4107 ст., у Лермонтова (1830) — 8545 ст.

2. Стихи эти по основным жанровым группам распределяются так (в % к числу стихов):

	Поэмы	Драмы	Мелкие жанры
Пушкин	42	8	50
Лермонтов	51	19	30

У Лермонтова лирика занимает сравнительно меньшее по объему место (яркий пример расхождения между объемом и историческим значением).

3. Силлабо-тоническая система является основной для обоих поэтов: у П.— 96,2% силл.-тон. стихов, у Л.— 97%.

4. Оба поэта не довольствуются силлабо-тонической традицией, но П. пользуется только русскими образцами (русский гекзаметр, русская народная песня, прибаутка в рифмованной прозе, русские переводы сербских стихов); Л. же, помимо русских (народная песня, русский гекзаметр), прибегает непосредственно к иностранным образцам (немецкая и английская баллада).

5. Оба поэта подвергают свободные формы регулированию: П. регулирует тонику и силлабизм Востоковского «сербского» стиха; Л. регулирует интервалы германских дольников (смешанные трехмерники) и анакрусу былинного стиха.

6. Однако П. остается в общем в пределах избранных образцов, Л. же частью деформирует образцы(дефектные гекзаметры), частью создает новые формы: вольные смешанные трехмерники (вернее, проза с двусложными интервалами), дольник со сложной строфикой («Атаман»), ямбо-анапесты («Они любили...») и гибридные формы из разных систем (например, «Желтый лист...», «На бурке под тенью чинары...»).

7. Стихи у Л., в общем, длиннее, чем у П., т. е. Л. чаще пользуется длинными размерами. Длина стихов (в % к числу стихов):

	Короткие	Средние	Длинные
Пушкин	5	68	27
Лермонтов	4	58	38

Но так как средние все-таки преобладают у обоих, то на средней длине стиха это отражается мало (П.: 9 слогов, Л.: 9,2 слога).

8. Лермонтов гораздо богаче размерами, чем Пушкин:

	Силл.-тон. размеров	Прочих	Всего
Пушкин	18	6	24
Лермонтов	26	10	36

9. Если принять во внимание, что каждый размер может иметь разную каталектику, то получаются каталектические типы, определяемые размером и клаузулой, например: 3я мужской, 3я женский и т. п. Эти каталектические типы распределяются так:

	Силл.-тон. типов	Прочих	Всего
Пушкин	34	9	43
Лермонтов	51	10	61

10. У обоих поэтов ямбы главенствуют, причем у Л. даже больше, чем у П.: П.— 84% ямбов, Л.— 91,3%.

11. Внутри ямбов и у того и у другого преобладают 4я: П.— 54,1% всех стихов, Л.— 53%.

12. При обзоре стопности ямбов следует, однако, отличать урегулированные ямбы от вольных.

В распределении урегулированных ямбов по числу стоп между П. и Л. замечаются лишь незначительные различия. В % к числу урегулированных ямбов:

Число стоп	1	2	3	4	5	6	7
Пушкин	0,1	0,3	4,9	66,0	19,7	9,0	—
Лермонтов	0,1	0,8	1,9	68,2	27,1	1,8	0,1

Сходство и здесь опирается на одинаковый вес 4я. Отличие сказывается, главным образом, в пристрастии Л. к 5я за счет 3я и 6я. Эти два последних размера, по исследованию М. П. Штокмара, характерны для вольных стихов XVIII в., а 6я (александрийский стих) — и для урегулированных стихов этого века. Таким образом, Л. дальше отходит от XVIII в., чем П.—7я у П. отсутствует.

13. В области ВЯ эти отличия еще явственнее. В % к числу ВЯ:

Число стоп	1	2	3	4	5	6	7
Пушкин	—	0,2	2,1	39,6	10,0	46,6	—
Лермонтов	0,05	0,25	2,3	23,3	47,0	27,0	0,1

П., хотя и вводит большое количество 4я, все же сохраняет типичное для ВЯ XVIII в. преобладание 6я. Л. резко выпячивает 5я за счет 4я и 6я. Это совершенно другая структура.

14. Коэффициент урегулированности в среднем тот же: П.— 1,9, Л. — 1,8. Но сравнивать нужно не общую цифру, а только лирику, так как у П. нет драм. Лирика же Л. гораздо урегулированнее: ее коэффициент 2,1.

15. Весьма внушительная разница в употреблении хореев: П.— 10,6% всех стихов (4239), Л.— 2,7% (859). У П. отсутствует 5х, у Л.— 6х (единственный минус лермонтовской силлабо-тоники по сравнению с П.).

16. Напротив, употребление трехмерников у Л. больше, хотя у обоих поэтов вес этих стихов незначителен: П.— 1,5% (592), Л.— 3,1% (1010 + 12). У П. 7 трехмерных размеров, у Л.— 12 (с ямбо-анапестами — 14); у П. отсутствуют: 3д, 4д, 1ам, 5ам, 4ан, 3я-ан, 5я-ан.

17. Обратное соотношение для дольников: П.— 3,1%, Л.— 2,3%.

18. Белых стихов у П. несколько больше, чем у Л.: П.— 13,7% (5552), Л.— 11,5% (3776), но разница очень незначительна.

19. В области каталектики у П. наблюдается почти полное равновесие между мужскими и женскими стихами, у Л.— резкое преобладание мужских. В % к числу стихов:

	Мужские	Женские	Прочие
Пушкин	47,9	50,9	1,2
Лермонтов	58,3	39,2	2,5

20. Это предпочтение Л. к мужским стихам сказывается и на каталектике строф. Манера Л. строить строфы из одних мужских стихов увеличивает % строф с однородной каталектикой. У П. однородные строфы почти исключительно — двустишия *aa* и *bb*, обнимающие 7438 стихов, в то время как остальные (большей частью случайные явления) содержат всего 135 стихов. У Л. из 10 206 стихов двустишия (*aa*, *bb*, *gg*) обнимают 7500, а остальные 2706 стихов. В % к общему числу стихов это дает такое соотношение:

	Все однородные строфы	То же без двустиший
Пушкин	19,0	0,3
Лермонтов	32,0	8,4

21. Среди однородных строф у Л. замечается сильное преобладание мужских (муж.: 6847 стихов, жен.: 3319 стихов), а у П.— равновесие (муж.: 3702 ст., жен.: 3863 ст.). Без двустиший (*bb*) мужские обнимают у П. 120 стихов, а у Л.— 2525 стихов. Это — типы *bdbd*, *bddb*, *bdbddhhdkk* и т. п.

22. Но помимо двустиший (*aa*), у П. нет однородных женских строф. Относящиеся сюда 15 случаев (*aaa*) — дефектны. У Л. же встречаются, хоть и в небольшом количестве, строфы *acac*, *acca* и даже *accca*.

23. Среди строф с перемежающейся каталектикой у обоих поэтов преобладают строфы с мужским завершением. Но так как у П. перемежающихся строф вообще больше, то и число строф с мужским завершением импозантнее. У П. муж.: ок. 40%, жен.: ок. 18% строф; у Л.— муж.: ок. 29%, жен.: ок. 17%.

24. Число строфических типов у обоих поэтов почти одинаково при большем количестве стихов у Пушкина. У П. в абсолютных цифрах больше типов: 352 против 324 у Л. В отношении же к числу стихов лермонтовская строфика оказывается разнообразнее.

	Число строф. типов	В среднем на тип
Пушкин	352	97 стихов
Лермонтов	324	87 стихов

25. Если проанализировать эти цифры и посмотреть, сколько из этих типов несут конструктивную функцию, то окажется, что хотя у Пушкина типов больше, но они в гораздо большей мере являются продуктами капризного нанизывания рифм в неравнострофических стихотворениях, в которых бессистемность является заданием (например,

«Руслан и Людмила», «Полтава»). Это — свободная строфика. Имеется она в большом количестве и у Л., но все же он гораздо чаще пользуется строфическими типами для конструкции равнострофических стихотворений. Это — строфы в узком смысле. Отношение конструктивных типов к остальным составляет у П. ок. 21%, а у Л.— ок. 40%.

	Число констр. строф. типов	Число равностроф. стих-ний	Число равностроф. стихов	На каждый тип приходится
Пушкин	76 = 21%	317 = 40%	15331 = 39%	202 стиха
Лермонтов	128 = 40%	297 = 64%	11566 = 36%[3]	89 стихов

Последняя графа показывает значительно большее разнообразие конструктивной строфики у Лермонтова. Первая же и вторая графы приводят к выводу, что в отношении строфической композиции у Л. больше богатства, а у П.— пестроты. Сложных строф у П.— 28 типов (278 строф), а у Л.— 67 типов (424 строфы). Сложные строфы обнимают у П. 2,6%, у Л. 5,3% всех строф, т. е. вдвое больше.

26. Лермонтовские строфы в отношении расположения рифм представляют ту особенность по сравнению с пушкинскими, что число перекрестных типов значительно больше.

Расположение рифм

	сплошное	перекрестное	охватывающ.	смешан.
Пушкин	40 = 11%	67 = 19%	24 = 7%	221 = 63%
Лермонтов	37 = 11%	99 = 31%	25 = 8%	163 = 50%

Итак, Л., по сравнению с П., выдвигает перекрестное расположение за счет смешанного. Но в отношении распределения стихов между этими типами оба поэта оказываются сходными. Огромное количество двустиший (в особенности *bb*) усиливает вес строф со сплошными рифмами (П.— 42%, Л.— 47% стихов) за счет остальных (перекрестные: П.— 33%, Л.— 30% стихов).

27. В длине строф П. и Л. обнаруживают поразительное сходство. Строфы варьируют между 2 и 14 стихами, причем 12-стишные отсутствуют у обоих поэтов.

28. По количеству типов у П. первое место занимают 5-стишные (78 типов), а у Л.— 4-стишные (86 типов). По числу стихов у обоих поэтов, конечно, преобладают двустишия и четверостишия; но у П.— равновесие (2-стиший 42%, 4-стиший 42%), а у Л.— преобладание дистихов (2-стиший 45,7%, 4-стиший 37,5%).

29. Неравнострофические стихотворения по числу стихов занимают первое место у П. (46,5%) и у Л. (52,4%), но число стихотворений сильно разнится: у П.— 320 стихотворений (40%), у Л.— всего 114 (25%).

30. Однострофных стихотворений (большей частью эпиграмм) у П. гораздо больше: 96 (12%) против 31 (6,8%) у Л.

31. Астрофизм по количеству стихотворений у П. занимает более видное место: 61 стихотворение (7%) против 17 (3,5%) у Л., но лермонтовские стихотворения несколько длиннее, а потому процент стихов получается почти одинаковый (13% и 11%).

Сводя вместе основные моменты и отбрасывая менее значительные пункты, получаем приблизительно следующую картину:

А) Продуктивность Л. почти в полтора раза больше пушкинской по объему (п. 1).

Б) Оба поэта — силлабо-тонические и ямбические с преобладанием 4я и вообще стихов средней длины с уклоном в сторону долгих; последний уклон у Л. несколько сильнее (пп. 3, 7, 10, 11).

В) Оба поэта не удерживаются в рамках силлабо-тоники и ищут новых форм, причем оба прибегают к урегулированию свободных видов стихосложения (пп. 4, 5).

Г) Л. гораздо богаче размерами, чем П., особенно трехмерными. Баланс сводится к следующему (пп. 8, 9, 15, 16): отсутствуют у Лермонтова — дольники типа «Песен западных славян», рифмованная проза, 6х; отсутствуют у Пушкина — строфические дольники, смешанные трехмерники, 5х, 7я, 3д, 4д, 1ам, 5ам, 4ан, 3я-ан, 5я-ан.

Д) П. и Л. сильно разнятся друг от друга по структуре вольных ямбов (п. 13). С Л. начинается новая тенденция (преобладание 5я).

Е) У Л. преобладают мужские стихи, и сплошные мужские строфы являются специфической чертой его творчества (пп. 19, 21).

Ж) Вообще строфы с однородной каталектикой (если не считать двустиший), почти отсутствующие у П., у Л. занимают видное место (пп. 20, 22).

З) Оба поэта равно богаты строфическими типами (п. 24).

И) Они однотинны по длине строф (п. 27).

---

[3] Эта графа показывает, что равнострофические стихотворения у Л. в среднем короче, чем у П. Влияет на эту среднюю главным образом «Евгений Онегин».

К) Равнострофичность у Л. представлена большим количеством стихотворений, и конструктивная строфика у Л. богаче. Л. противополагает пушкинской пестроте расположения рифм богатство повторяющихся форм и сложных строф (пп. 24, 25).

Л) Во многих отношениях Лермонтов начинал с того, чем Пушкин кончал, и двигался в обратном направлении.

Замечания о ходе развития стихосложения у Пушкина и Лермонтова

Пушкин погиб 38 лет от роду, Лермонтов — 27; один писал 23 года, другой — 13 с лишним. Ясно, что в целом творческий путь их несоизмерим, и что, в особенности, «конец жизни» Л.— это совсем другой период человеческого бытия, чем конец жизни Пушкина.

Однако начало весьма соизмеримо. Лицейский период Пушкина тянется от 15- до 18-летнего возраста (1814—1817), московский период Лермонтова — от 14- до 18-летнего возраста (1828—1832). И для того и для другого — это годы учения.

И вот мы замечаем, что и эти исходные пункты у обоих поэтов весьма различны, и развитие идет порою в диаметрально противоположном направлении.

1. Начать с того, что на годы учения у П. падает около 18% всех дошедших до нас стихов, а у Л.— больше 55%. В абсолютных количествах это составляет 7417 стихов у П. и 17 724 стиха у Л. Средняя годовая продукция этих молодых лет у П.— ок. 1860 стихов, а у Л.— ок. 3550 ст.

2. Поиски новых форм вне силлабо-тоники у П. падают преимущественно на период после 1825 г.; в лицейское время их совсем нет. У Л. эти попытки главным образом сосредоточены в московском периоде. Пушкин начинал как ученик (с подражания образцам), а Лермонтов — как реформатор (с ломки канонов).

3. К художественной прозе П. приходит лишь в последний период жизни; Л., едва выйдя из отрочества, пишет прозаические драмы.

4. У П. в последний период (1830—1836) замечается резкое падение 4-стопного ямба, у Л.— резкое повышение.

5. В области строфической композиции П. начинает с обилия неравнострофических стихов; но затем значение этих стихов в его творчестве все уменьшается и, начавшись (в мелких жанрах) с 63%, к концу жизни падает до 17%. У Л. вначале тоже много неравнострофических стихов, но относительное их количество, как мы видели, во II и III периодах больше, чем в московском (44% против 63 и 62%).

Во всех перечисленных областях Лермонтов начинал с того, чем Пушкин кончал, и двигался в обратном направлении.

Метрический индекс

(Римские и арабские цифры указывают том и страницу академического издания: М. Ю. Лермонтов, Соч. в 6 томах, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1954—1957).

Хорей. 3-стопный: II 160. Всего 1 стихотворение, 8 стихов.

4-стопный: I 9, 19, 25, 29, 40, 50, 53, 90, 94, 130; II 14, 45, 47, 51, 61, 73, 89, 105, 128; III 101; IV 193. Всего 21 стихотворение, 520 стихов.

5-стопный: I 316; II 38, 192, 208. Всего 4 стихотворения, 80 стихов.

Ямб. 2-стопный: I 237, 280, 262; II, 72. Всего 4 стихотворения, 97 стихов.

3-стопный: I 17; II 64, 127, 186, 204, 228. Всего 6 стихотворений, 224 стиха.

4-стопный: I 12, 14, 16, 22, 24, 25, 33, 35, 36, 42, 44, 51, 52, 57, 58, 62, 64, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 91, 95, 96, 105, 107, 112, 115, 119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 170, 175, 176, 187, 188, 189, 193, 195, 201, 202, 209, 216, 218, 222, 223, 231, 238, 248, 250, 252, 253, 256 сл. (14 стихотворений), 261, 263, 278, 279, 282, 286, 300, 302, 305, 306, 310, 314, 318, 331, 363, 367; II 7, 9, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 41, 44, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 70, 78, 79, 87, 94, 95, 102, 103, 107, 109, 112, 115, 116, 145, 157, 163, 166, 174, 176, 188, 189, 190, 191, 212, 222, 223, 225, 226, 235; III 7, 16, 37, 51, 57, 61, 64, 91, 98, 132, 149, 183, 267, 310; IV 7, 118, 143, 148, 183, 221, 241, 242, 262, 377, 385; V 142, 226, 262, 370; а также не вошедшие в издание стихотворения «А. А. Ф...ву», «Расписку просишь ты, гусар...», «Случалось, с вихрем и грозой...» и поэмы «Гошпиталь», «Петергофский праздник», «Уланша». Всего 190 стихотворений, 12 302 стиха.

5-стопный: I 15, 31, 59, 66, 99, 101, 102, 106, 108, 109, 115, 118, 126, 136, 139, 141, 157, 168, 177, 197, 203, 224, 225, 227, 228, 229, 240, 246, 268, 270, 274, 277, 283, 292, 297, 312; II 13, 16, 18, 32, 159, 197, 214, 217, 233, 247; III 67, 97, 226, 243; IV 41, 172, 259, 339; V 255. Всего 55 стихотворений, 5342 стиха.

6-стопный: I 10, 11, 20, 25, 27, 48, 267, 287, 303, 313; II 36, 46, 75, 158, 161; IV 309. Всего 16 стихотворений, 244 стиха.

7-стопный: II 28. Всего 1 стихотворение, 14 стихов.

Вольный ямб: I 13, 21, 34, 42 (3 стихотворения) 43, 45, 49, 60, 63, 65, 82, 86, 104, 117, 120, 133, 134, 154, 173, 217, 234, 315; II 10, 84, 92, 96, 97, 106, 108, 113, 134, 177, 178, 185; V 9, 275, 352. Всего 39 стихотворений, 6683 стиха.

Дактиль. 4-стопный: II 93, 156, 165, 210. Всего 4 стихотворения, 82 стиха.

Амфибрахий. 2-стопный: II 135, 144, 252; III 19. Всего 4 стихотворения, 53 стиха.

3-стопный: I 25, 245; II 52, 151, 164, 202. Всего 6 стихотворений, 190 стихов.

4-стопный: I 67, 239; II 40, 50, 124, 215. Всего 6 стихотворений, 130 стихов.

5-стопный: II 207. Всего 1 стихотворение, 24 стиха.

Вольный амфибрахий: I 61. Всего 1 стихотворение, 8 стихов.

Анапест. 3-стопный: II 39, 154. Всего 2 стихотворения, 47 стихов.

Ямбо-анапест. 5-стопный: II 201. Всего 1 стихотворение, 8 стихов.

Смешанные трехмерники: I 243, 309; II 27; V 76. Всего 4 стихотворения, 59 стихов.

Дольники: I 69, 212, 272; II 110, 199, 239; IV 101. Всего 7 стихотворений, 673 стиха.

Логаэды: I 71; II 231. Всего 2 стихотворения, 34 стиха.

Сомнительные размеры: I 244, 258; III 124. Всего 3 стихотворения, 24 стиха.

Сложные строфы. Хореические: *3323332* — II 34; *4242* — I 35; *4343* — II 39, 140, 193; III 182 (рефрен); *4545* — II 216; *5353* — I 285.

Ямбические: *22413* — IV 381; *4141* — I 257; *422422* — I 24; *44224242* — I 55; *4422 441441* — I 74; *4343* — I 89, 171, 206, 207, 260, 308; II 20, 111, 180; *434344* — I 38, II 218; *43434433* — I 298; *4434443* — II 80; *444444434443* — I 288; *4545* — II 120; *4562* — I 37; *5353* — I 190, 211, 241; *5454* — I 194, 291; II 91; *55552* — I 148; *55553* — II 11; *555555556* — II 63; *5555555556* — I 196; *55555555556* — II 131; *5564* — II 43; *6464* — II 37, 77, 118, 122; *664664* — II 136; *6664* — II 182.

Дактилические: *33344* — I 219; *4343* — I 284.

Амфибрахические: *2323* — II 142; *4343* — I 230, 269, 299; II 179, 168, 74; *434344* — I 271; *44442* — I 74; *5354* — II 138.

Анапестические: *4343* — II 449; *434344* — I 296.

Смешанные трехмерники: *2231144* — I 304; *4141* — II 42; *41414* — отрывок «Ликуйте, друзья, ставьте чаши вверх дном...» (в издание не вошедший); *4343* — I 100, 311, 320, 492; II 66; *434344* — I 110.

Дольники: *33332232* — I 198; *4343* — I 162.

Смешанные размеры: *Зам*, *Зан*, *Зам*, *Зан* — IV 248; *Зам*, *Зя-ан*, *Зам*, *Зя-ан* — II 200.

Всего сложными строфами написано 74 стихотворения, 2682 стиха.

Сводные стихотворения: *4я*, *5я* — I 97, 169, 147, 265; III 124, 153; *2д*, *2ам*, *Зам* — III 209, IV 145. Всего 8 стихотворений, 2563 стиха.

Общее количество — 470 стихотворений, 32 091 стих.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

«Statistical methods in linguistics», 1—3. — Stockholm, Språkförlaget Skriptor, 1962—1964.

Первый номер был выпущен после скандинавского симпозиума по статистической лингвистике, состоявшегося в Швеции в ноябре 1960 г. и отчасти содержал доклады, прочитанные на этом симпозиуме. Постепенно редактору журнала, руководителю шведской рабочей группы по статистической лингвистике Х. Карлгрену удалось расширить круг авторов журнала. Если в первом номере, вышедшем в 1962 г., участвовали в основном скандинавские языковеды, то во втором (1963 г.) мы видим авторов из Финляндии и Англии, а в третьем (1964 г.) опубликован ряд статей венгерских авторов.

В журнале публикуются статьи по широкому кругу вопросов, связанных с теорией и приложениями лингвистической статистики, а в последнем номере и с логическим моделированием языка, причем материал статей представляет значительный интерес не только для представителей новых направлений, но также и для широких кругов специалистов в области традиционного языкознания, в первую очередь тех, кто занимается вопросами стилистики, а также грамматистов-германистов.

Так, уже в первом номере опубликована статья Б. Ульвестада «Об использовании вероятностей перехода при программировании машинного перевода», в которой излагается весьма любопытная точка зрения на вопрос о грамматической синонимии в предложениях косвенной речи, а именно о ряде параллельных возможностей типа немецких примеров:

(1) *er glaubte, er habe ihn gesehen*
(2) » » — *hätte* —
(3) » » , — *hatte*
(4) » » , *daß er ihn gesehen habe*
(5) » » , » — *hätte*
(6) » » , » — *hatte*
(7) » » , *ihn gesehen zu haben*

Как показывает автор, последние три конструкции встречаются настолько реже, чем остальные, что их нельзя считать нормой. Хотя автор руководствуется соображениями машинного перевода, статистические подсчеты, произведенные им на материале современных авторов, должны быть убедительными и для тех, кто не интересуется прикладными задачами. Что касается первых четырех типов, то автор подсчитывает условную вероятность таких типов после конкретных глаголов (т. е. вероятность появления данного типа при условии, что в предложении, вводящем косвенную речь, употреблен данный глагол). Исследования автора позволяют однозначно разделить все глаголы немецкого языка, вводящие косвенную речь, на две группы: **А** — *wissen, begreifen, erkennen, merken, fühlen, einsehen, ahnen, verstehen, wissen*; **В** — *antworten, behaupten, berichten, denken, erklären, erwidern, erzählen, fürchten, gestehen, glauben, hoffen, meinen, merken, mitteilen, sagen, schreiben, versichern.*

С большой статистической надежностью (примерно для 80% случаев) автор формулирует следующее правило: после глаголов группы **А** употребляется предложение с *daß* (причем глагол придаточного предложения употребляется в изъявительном наклонении), в то время как после глагола группы **В** употребляется бессоюзная связь (с сослагательным наклонением), т. е. типично *er wußte, daß er ihn geshen hatte*, но *er glaubte, er hätte ihn geshen.* Это правило представляется весьма ценным[1], причем интерпретация его может, по мнению рецензента, помочь очень глубоко проникнуть в структуру

[1] Подобное правило рецензент рекомендовал еще лет десять тому назад студентам на занятиях по переводу с русского языка на немецкий.

современного немецкого языка[2]. С другой стороны, методика автора (представление порождения в виде вероятностного марковского процесса) заинтересует и представителей новых направлений.

Для фонологии большой интерес представляет статья Е. Ришеля «О функциональной нагрузке в фонологии», в которой подчеркивается, что статистика фонем, проводимая без учета позиций в слоге, мало дает для понимания фонологической структуры языка. Важно не столько различие в частоте употребления фонем, сколько учет частотности дифференциальных признаков в тех позициях, где эти признаки не нейтрализуются. Здесь автор продолжает плодотворные идеи своего соотечественника М. К. Енсена. В заключение автор предлагает меру для измерения функциональной нагрузки. С другой стороны, очевидно, что и подсчет частотности фонем представляет большой интерес. Об этом, в частности, свидетельствует статья логопеда М. Вейсс, посвященная относительной частотности шведских фонем и помещенная в том же номере. Статья эта перекликается в известной мере с предыдущей (и именно с этой точки зрения интересна для общей теории) тем, что в ней приводятся отдельно группировки фонем по месту и способу образования. При этом оказывается, что группы по способу образования распределены достаточно равномерно, в то время как по месту образования обнаруживается резкое преобладание зубных (62% всех согласных) — обстоятельство, отмеченное еще в прошлом веке Бурдоном, но не нашедшее еще истолкования. Надо полагать, что статистика отдельных дифференциальных признаков может принести дальнейшие интересные результаты[3].

Второй номер содержит две большие работы, посвященные лингвистической статистике и идейно тесно связанные друг с другом: Р. Анттила «Статистические измерения стиля в таунлейских мистериях» и Г. Хердана «Один метод количественного анализа языкового смешения». В обеих статьях исследуется один вопрос (причем более частный, чем можно было бы судить по их заглавиям), а именно — статистические методы исследования соотношения исконной и заимствованной лексики. Зато этот частный вопрос разрабатывается очень глубоко. Анттила, следуя методам Юла и Хердана, вводит ряд тонких статистических характеристик, позволяющих найти четкие различия между тремя разными группами мистерий. Г. Хердан продолжает исследования Дж. Юла и, беря тот же материал, показывает, что каждая из двух составляющих лексики английского языка, а именно германская и романо-латинская, сохраняют статистические характеристики, которые они имели в соответствующих языках. Хердан правильно подчеркивает, что этот результат несколько неожидан с традиционной точки зрения о смешении языков и в этом его несомненный интерес для теории контактов. Странное впечатление производит концовка статьи, представляющая полемику автора с В. Платом[4], который утверждал, что особого прогресса в лингвистической статистике по сравнению с работами Юла пока не достигнуто. При всей своей ценности статья Хердана еще не свидетельствует об очень значительном прогрессе в этой области[5].

Большой общелингвистический интерес имеет несколько неожиданная для советских лингвистов область применения языкознания, а именно вопрос о рациональном образовании коммерческих названий товаров (trade marks). Обычно в лексикологии считается, что количество искусственно придуманных слов исчисляется единицами. В действительности же в настоящее время потребности рекламы приводят ежегодно к созданию нескольких тысяч искусственно создаваемых названий товаров, причем имеется целый ряд критериев, по которым эти слова должны создаваться (краткость, простая — с точки зрения большинства языков — слоговая структура[6] и т. п.). Это приводит к тому, что названия повторяются целиком или частично, а это запрещено торговым законодательством. Поэтому ряд фирм использует электронно-вычислительные машины для просмотра зарегистрированных торговых марок и создания новых. Автор статьи «О рациональном конструировании торговых марок» И. Гюльден предлагает ряд существенных улучшений подобных программ, основанных на лингвостатистических соображениях.

Третий номер открывается статьей Ф. Кифера, который работает в Вы-

---

[2] Здесь на уровне синтаксиса мы имеем нечто подобное явлению монофлексии, глубоко исследованному в трудах проф. В. Г. Адмони.

[3] У нас в этом направлении начал работать Д. М. Сегал.

[4] W. Plath, Mathematical linguistics, «Trends in European and American linguistics 1930—1960», Utrecht, 1961.

[5] Рецензент неоднократно указывал на отставание этой важной области математической лингвистики и до сих пор считает его нетерпимым.

[6] У нас лингвистическим анализом слов типа *Персоль*, *Пемоксоль* и т. п. занималась О. Г. Карпинская.

числительном центре Венгерской Академии наук и стал, начиная с этого номера, членом редколлегии журнала. Статья называется «Некоторые аспекты математических моделей в лингвистике» и представляет собой весьма квалифицированный и популярно написанный обзор основных аспектов логического (нестатистического) моделирования языка. Автор справедливо критикует определение модели языка, предложенное Н. Д. Андреевым: «Математическая модель языка есть полная или частичная система языковых элементов и их числовых (конкретных или же обобщенных) характеристик, которая допускает формальное представление и может быть введена в электронно-вычислительную машину»[7].

Кифер показывает, что, с одной стороны, это определение слишком широко, а, с другой стороны, возможность введения в электронно-вычислительную машину является излишним требованием. Следует согласиться с автором, что задача определения понятия «модель» чрезвычайно трудна и выходит за рамки компетенции лингвиста[8]. В частности, вряд ли удовлетворительно и определение, предлагаемое Кифером: «Под математической моделью языка мы будем понимать более или менее точно формализованную систему, бросающую свет на один или более аспектов языка». Это скорее очень хорошее описание объекта, чем его формальное определение. Далее Кифер разбирает вопрос о формализации в лингвистике. Различая эйдетическую функцию знака (все, что связано со значением) и оперативную (совокупность операций, которым может быть подвергнут знак), Кифер дает следующее определение: «Формализация в лингвистике сводится к рассмотрению лишь оперативных функций знаков языка и пренебрегает их эйдетической функцией».

Далее идет разбор различных типов моделей (алгебраических, теоретико-множественных, математико-логических, статистических). Автор показывает лингвистическую ценность всех этих моделей, что подтверждает один из его основных тезисов, гласящий, что «математическая лингвистика является не областью лингвистики, а просто современной лингвистикой, т. е. не имеется оснований для проведения различия между математической лингвистикой и общим языкознанием». Спорным представляется лишь положение автора о том, что статистические методы не относятся к моделированию, т. к. они не допускают формального представления.

Статья венгерского специалиста по теории стенографии Дьюлы Нос «Скорость речи, измеренная в слогах и словах за единицу времени» интересна тем, что открывает новые возможности стилистического анализа ораторской речи. Автор показывает, что статистические данные, накопленные в теории и практике стенографии, позволяют четко отграничить друг от друга различные ораторские стили.

Большой интерес представляет обширная статья (по типу приближающаяся к монографии) Б. Бродда и Х. Карлгрена «Относительные позиции элементов в лингвистических цепочках». В этой статье, очень популярно написанной (она вполне может быть использована студентами и аспирантами в качестве введения в математическую лингвистику) предлагается применить общую теорию частично упорядоченных множеств[9] к разным уровням описания языка (в первую очередь фонологическому и синтаксическому).

Поскольку в короткой рецензии довольно сложно, не вводя большого числа формальных понятий, изложить идею авторов, мы приведем один частный пример, представляющий значительный интерес для наших германистов (при этом мы заменим шведские примеры, приводимые авторами, на немецкие). Исходя из синтаксических идей П. Дидерихсена[10], авторы дают следующую схему произвольного предложения (см. таблицу).

Существенно в подобных таблицах введение специальной позиции «джокера» (термин из карточной игры), а именно позиции, на которой может стоять почти любой член предложения (а именно IV, V, VI, VII, IX). Еще более удобны такие таблицы для скандинавских языков, ибо в них вообще не допускаются исключения (типа *ich sagte die Wahrheit dem Mann gestern nicht*), но и для немецкого языка всегда можно выбрать статистически наиболее типичные позиции, которые дают возможность представить немецкий синтаксис в одной сводной таблице. Если такая таблица составлена, то далее можно представить порождение предложения как заполнение соответствующих мест в таблице или же на эквивалентной ей диаграмме, исследуемой далее авторами. С общетеоретической точки зрения интересна близость подобных диаграмм к так называемым грамматикам с конечным

---

[7] N. D. Andreyev, Models as a tool in the development of linguistic theory, «Word», 18, № 1—2, 1962.

[8] Это одно из тех соображений, по которым рецензент не привел в своей книге «Модели языка» (М., 1962) определения модели, хотя он еще раньше предпринял совместно с А. А. Зиновьевым попытку дать такое определение.

[9] У нас близкой проблематикой плодотворно занимается Ю. К. Лекомцев.

[10] P. Diderichsen, Elementaer dansk grammatik, Copenhagen, 1957.

Таблица

Сочинит. союз I	«Джокер» II	Личная форма глагола III	Подлежащее IV	Обстоятельство V	Косвенный объект VI	Прямой объект VII	Модификатор VIII	Неличная форма глагола IX
und	*ich*	*sagte*		*gestern*	*dem Mann*	*die Wahrheit*	*nicht*	
	gestern	*sagt*	*ich*		*dem Mann*	*die Wahrheit nicht*		
aber	*der Mann*	*hat*		*damals*		*die Worte*	*sehr*	*bereut*
	die Worte	*hat*	*der Mann*	*damals*			*sehr*	*bereut*
	damals	*hat*	*der Mann*			*die Worte*	*sehr*	*bereut*
	bereut	*hat*	*der Mann*	*damals*		*die Worte*	*sehr*	

числом состояний (но тут же вскрывается и различие в том, что здесь мы должны учитывать, чем уже была ранее занята позиция «джокера»).

Интересны соображения об изоморфизме между фиксированным набором синтаксических позиций и фиксированным набором позиций в слоге[11]. Заметим, что на морфемном уровне та же идея осуществлена Глисоном при классификации морфем по порядкам расположения[12]. Все это говорит о том, что предлагаемый авторами общий метод позиционного анализа речевых цепей заслуживает самого пристального внимания. Поскольку статья является в известной мере программной для дальнейших исследований группы, руководимой редактором журнала, то мы с интересом ждем развития этих идей в последующих номерах журнала.

И. И. Ревзин

[11] Ср. сходные идеи Е. Куриловича: Е. Курилович, Понятие изоморфизма, «Очерки по лингвистике», М., 1962; ср. также: Ю. К. Лекомцев, К вопросу об аналогиях в строении схем слога и простого предложения, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1962.

[12] См.: Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 164—168 (см. в особенности табл.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

РЕЦЕНЗИИ

Diogen. Revue trimestrielle publiée sous les auspices du conseil international de la philosophie et des sciences humaines et avec l'aide d'UNESCO, 51: **Problèmes du langage.** — Paris, Gallimard, 1965. 216 стр.

Рецензируемый том журнала «Диоген» (рецензия делается по французскому тексту) посвящен проблемам современной лингвистики и включает работы таких выдающихся языковедов, как Р. Якобсон, А. Мартине, Е. Курилович, Н. Хомский, С. К. Шаумян и др. Работы, включенные в сборник, сгруппированы в четырех разделах под заголовками: 1) природа языка, 2) слова, 3) языковые структуры, 4) язык и общество. В нижеследующем разборе этот порядок не будет соблюдаться, потому что он представляется недостаточно обоснованным по существу и, что самое главное, не позволяет достаточно рельефно выделить и представить основные линии рассуждения.

Прежде чем перейти к изложению материалов сборника, представляется существенным остановиться на следующем метаязыковом вопросе: то, что выше было переведено как «язык» (соответственно: «природа языка», «язык и общество» и т. п.) во французском переводе обозначается не словом «langue», а «langage». Как известно, это слово приобрело характер термина со времени выхода в свет курса Ф. де Соссюра. Соссюр настойчиво и отчетливо разграничивал «langue», «langage» и «parole». В русской лингвистической терминологии, так же как, например, и в английской, французской, трихотомия была заменена дихотомией «язык — речь». «Langage», переведенный А. М. Сухотиным термином «речевая деятельность», постепенно перестал употребляться как термин, по-видимому, также и потому, что в центре внимания оказался «langue» как инвариант, как код, как некая имманентная сущность. Как будет видно из излагаемого ниже, возрождение термина «langage» вполне может быть понято как указание на происходящую переориентацию лингвистической теории. По-видимому, именно «langage» оказывается теперь в центре внимания.

Напомним, что, говоря о соотношении речевой деятельности («langage») и языка («langue»), Ф. де Соссюр замечает: «...понятие языка (langue) не совпадает с понятием речевой деятельности вообще (langage); язык — только определенная часть, правда — важнейшая, речевой деятельности. Он,— с одной стороны, социальный продукт речевой способности, с другой стороны, — совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц. Взятая в целом, речевая деятельность многоформенна и разносистемна; вторгаясь в несколько областей, в области физики, физиологии и психики она, кроме того, относится и к индивидуальной и к социальной сфере; ее нельзя отнести ни к одной из категорий явлений человеческой жизни, так как она сама по себе не представляет ничего единого»[1].

Рассмотрение материалов рецензируемого сборника представляется целесообразным начать со статьи Р. Якобсона под названием «В поисках сущности языка» (R. Jakobson, A la recherche de l'essence du langage). Эту сущность автор видит в специфическом соотношении означающего и означаемого. Над этой проблемой трудились философы и филологи, начиная с глубокой древности. Ее же признавали как важнейшую представители самых разнообразных направлений лингвистики от В. Гумбольдта до Л. Блумфилда.

Заслуги Ф. де Соссюра в постановке этой проблемы преувеличены. Среди авторов текущего столетия наиболее крупный вклад в разработку этой проблемы был сделан Ч. С. Пирсом.

Как известно, терминология, предложенная Пирсом для обозначения различных аспектов или функций знака (то, что речь идет именно о различных сторонах, аспектах знаковой функции, а не о совершенно различных и не смешивающихся разновидностях знака, показано Якобсоном во многих работах и вновь раскрывается в рассматриваемой статье), вызывает и вызывала недоразумения и вряд ли может считаться удачной, но сами проведенные им различия не вызывают никаких сомнений и вполне могут быть положены в основу дальнейших семиологи-

[1] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 34—35.

ческих штудий. Действительно, вряд ли можно сомневаться в том, что знак, во-первых, может характеризоваться сходством с обозначаемым объектом, как например, когда изображение животного выступает как подобное изображаемому животному; во-вторых, знак может лишь указывать на предмет, не имея никакого сходства с тем предметом, на который он указывает,— например, дым, выходящий из трубы, указывает на то, что в печи горит или горел огонь; след человеческой ноги указывает на то, что здесь был человек. И третье, самое важное для языкознания свойство знака, заключающееся в том, что он может восприниматься вне всякой связи с наличием или отсутствием какого-либо подобия или смежности с обозначаемым предметом: в этом случае речь идет только об известном правиле, об известной конвенции, на основе которой данный знак воспринимается как знак именно данного предмета. Здесь непригодность терминологии Пирса выступает особенно наглядно. Называя эту разновидность знака «символом», Пирс разрушает обычное значение этого термина, так как под «символом» обычно подразумевается такое обозначение предмета, которое основано на установлении логической или естественной связи между выражением и содержанием; например — весы, как символ правосудия, серп и молот — как символ единства рабочих и крестьян и т. д. Отвлекаясь поэтому от специфической терминологии Пирса, существенно лишь указать на то, что его классификация в своих основных чертах восходит к старой дихотомии φυξει и τεξεί, т. е. «по природе» и «по договору».

То, что знаки языка — это знаки третьей из выделенных Пирсом категорий, в течение многих лет во многих лингвистических направлениях считалось совершенно не подлежащим сомнению. Можно даже сказать, что в традиционном структуроведении такое понимание лингвистического знака было настолько распространенным, что казалось, вопрос этот в теоретическом плане уже окончательно разрешен и возвращаться к нему нет оснований. Однако, как совершенно правильно показывает Якобсон, соссюрианская догма — произвольность знака — принимается и принималась далеко не всеми. Уже О. Есперсен возражал против такого понимания лингвистического знака, а в работах Д. Болинджера, Э. Бенвениста, так же как и в работах некоторых других исследователей, все настойчивее утверждается, что знак не произволен. Далее, утверждая, что язык— это своего рода алгебра, Пирс имел в виду прежде всего следующее: для того, чтобы предложение было понято, необходимо, чтобы расположение слов в нем функционировало в качестве иконического знака. В этом контексте интересны работы Гринберга о грамматических универсалиях [см. особенно «near-universals»: J. H. Greenberg, Universals of language, Cambridge (Mass.), 1963], работы Сепира, в которых эти положения находят подтверждение, а также работа: F. Harary, R. Z. Norman, D. Cartright, Structural models, 1965, в которой перевод целой синтаксической системы в совокупность графических изображений наглядно позволяет отграничить диаграммические или иконические формы системы от тех ее форм, которые имеют строго конвенциональный характер.

В статье много интересных примеров: так, обозначение множественного числа характеризуется увеличением протяженности формы по сравнению с единственным: *je finis — nous finissons*; *tu finis — vous finissez* и т. д. Даже такие случаи, как французское *ennemi*, которое Соссюр приводил как пример совершенно немотивированного слова, вполне поддается анализу и может использоваться для того, чтобы обосновать внутреннюю миметическую связь между обозначающим и обозначаемым (в сочетании *ami et ennemi*).

Представление о конвенциональном характере языкового знака подкрепляется, конечно, тем обстоятельством, что в повседневной речи эти отношения в значительной степени «амортизируются», теряют свою отчетливость и силу. Но зато они ярко выступают в «поэтическом» языке, во всех тех случаях, когда говорящий хочет обратить внимание слушающего на само сообщение, на форму, которую он придает или придал своему высказыванию [см. в этой связи работу Р. Якобсона «Linguistics and poetics», сб. «Style in language», Cambridge (Mass.), 1960] и разъяснение им поэтической функции речевой деятельности.

В заключение Р. Якобсон останавливается на следующем: в опровергнутой теперь «соссюровской догме» явно недооценивалось или даже прямо игнорировалось иконическое свойство словесных знаков. Вместе с тем и их конвенциональный характер не получил правильного и достаточно глубокого разъяснения с точки зрения методологии современного языкознания. Поэтому необходимо более глубокое проникновение в природу слова как «общего правила», выполняющего свою сигнификативную функцию только через посредство конкретных случаев его употребления, т. е. через те воспроизведения, произнесенные или написанные, в которых слова только и могут существовать. При этом необходимо ясное представление о том, что сколь ни разнообразны различные воплощения одного и того же слова, его тождество как единицы не утрачивается. На этот момент необходимо обратить внимание, так как без этого невозможно проникновение в созидательную, порождающую силу, «энергию» (ενέργεια) речевой деятельности. Рече-

вая деятельность основывается на реализации возможностей, на том, чтобы проявляться в движении, связывающем настоящее и будущее, так как только таким образом возможно воздействие на слушающего и реальное общение при помощи языка. Как будет показано ниже, именно представление о порождении, созидании, движении, динамике и т. д. выступает как основное понятие современного языкознания и, рассматриваемое с разных сторон, выступает как лейтмотив во всех частях рецензируемой книги.

К статье Р. Якобсона естественно примыкает обширная статья (занимающая почти 1/4 часть сборника) И. Фонадя «Поэтический язык, форма и функция» (I. Fonagy, Le langage poétique: forme et fonction). В статье собран материал различных языков, разъясняющий положения, изложенные выше. Основными разделами статьи являются следующие: избыточность поэзии, теория подражания, звук и смысл, статистический метод, который позволяет автору сформулировать объективные данные о звукописи (Lautmalerei), т. е. о том, что фонемы языка обладают определенным информативным содержанием; голосовая гимнастика и просодия, поэзия и контрапункт, инверсия как синтаксическая жестикуляция, грамматическая субституция и т. д. В работе разъясняются такие понятия, как полифония поэтического стиля, как демотивация и переоценка, т. е. различные виды деформации устойчивых сочетаний или узуальных значений слов в поэтическом языке и т. п.

Хотя вопрос о роли индивида в функционировании и развитии языка не выделяется Фонадем в отдельный теоретический раздел, этот аспект речевой деятельности отчетливо проступает на протяжении всего рассуждения. Поэтому представляется целесообразным перейти к краткой характеристике статьи М. Лероуа, посвященной обсуждению индивидуальных тенденций в лингвистике (M. Leroy, Tendances individualistes dans la linguistique). В этой статье автор обосновывает значение лингвистики речи. Он раскрывает важность этого направления в языкознании, давая при этом тщательно документированный исторический экскурс, в котором разъясняются основные этапы в развитии языкознания как науки именно с этой точки зрения. Особенно большое место уделяется Фосслеру и его ученикам и затем неолингвистике. На этой основе подвергаются уничтожающей критике все проявления лингвистического формализма и в первую очередь в младограмматизме, представители которого сосредоточивали свое внимание на изучении мертвых языков, не сознавая, что эти языки лишь «пыльные экспонаты в музее». Они не принимали во внимание того, что всякое лингвистическое исследование непременно имеет дело с такими средствами выражения, которыми пользовались реальные живые люди, наделенные человеческими страстями и заботами. Неолингвистика достигла очень плодотворного синтеза, соединив сравнительную грамматику в наиболее ее строгом виде с глубоким уважением к пронизывающим человеческую личность творческому духу и эстетическому чувству. Лучшие представители классического языкознания глубоко осознавали важность изучения именно индивидуальной речи для проникновения в законы существования и развития языка. Но чем определяются в свою очередь явления, возникающие в речи индивида? Безусловно, все они социально обусловлены. Хотя всякое изменение является результатом ряда индивидуальных речевых актов, никак нельзя забывать того, что индивиды создают новое употребление, только потому, что они таким образом откликаются на тенденцию, уже возникшую в коллективе.

*

Второй из главных линий рассуждения, представленных в рассматриваемом сборнике, является та линия, которая теперь обычно связывается с именем Н. Хомского. Кроме статьи Хомского сюда относятся работы Э. Баха и С. К. Шаумяна. Объединяет эти работы общий подход к основным проблемам теории языка: стремление рассматривать эту теорию как часть более общей метатеории. В работе Н. Хомского «О некоторых константах лингвистической теории» (N. Chomsky, De quelques constantes de la théorie linguistique) вновь кратко излагаются основные положения «порождающей грамматики». Современная лингвистика, преодолевая догмы традиционного таксономического структуроведения, возрождает те идеи, которые в прошлом были четко сформулированы, но во время господства таксономического структурализма были преданы забвению. Восстанавливая в своих правах творческий характер речевой деятельности, автор подчеркивает необходимость возвращения к работам универсальных и философских гуманистов XVII—XVIII вв., теория которых в свое время — так же как теория современных сторонников «порождающих грамматик», явилась реакцией против узкого дескриптивизма, представлявшегося такими филологами, как Вожла. В отличие от последних, грамматика Пор-Руаяля стремилась к тому, чтобы не ограничивать лингвистическую теорию лишь описанием фактов,— она требовала их объяснения. Объяснение же лингвистических фактов непременно требует разработки определяющих их общих принципов. Отсюда понятие общей, универсальной, рациональной, разумной грамматики.

Проверка гипотез универсальной или объяснительной грамматики идет в двух направлениях: показывается, что она вполне совместима с множеством различных человеческих языков и что она достаточно эффективна для того, чтобы объяснить все частные явления. Конечно, грамматика Пор-Руаяля была лимитирована условиями своего времени и теми ограничениями, которые накладывала на нее существовавшая тогда методика исследования. Однако основные положения этого направления в языкознании остаются в полной силе. Хомский, подготовивший к печати работу под названием «Картезианская лингвистика», подчеркивает, что исследования Декарта дали ясные критерии для различения интеллекта и инстинкта и помогают проникнуть именно в интеллективное поведение человека. Поэтому его выводы и сейчас имеют большое значение для опровержения теорий и гипотез, вдохновленных бихевиористическими объяснениями аналогичных явлений.

В современной лингвистике творческий характер речевой деятельности, а также теоретический подход к явлениям языка, привлекает к себе все большее внимание. Поскольку глубинные (скрытые) структуры высказываний являются абстрактными, в том смысле, что они связаны с фенотипическими структурами только сложной совокупностью правил трансформации, бесплодно пытаться выделить модели языка путем простого рассечения, сегментации и классификации. Необходимо искать такие модели и образцы, в которых скрывался бы генетический код языка и правила грамматики порождений, и уже на их основе истолковывать чувственно воспринимаемые явления путем планомерного сопоставления с ранее полученными теоретическими построениями. Такой подход к явлениям языка, и это автор подчеркивает неоднократно, представляет собой пробуждение интереса к старым давно сформулированным проблемам. Он возвращает языкознание к точкам зрения и конкретным положениям, восходящим к истокам западноевропейской научной мысли. Задача современных исследований заключается в том, чтобы реализовать эти идеи на основе современных методов, используя тонкую современную технику. К сожалению, эта работа еще только-только начинается и еще много предстоит сделать, прежде чем ее результаты станут вполне реальными и ощутимыми.

Нельзя не обратить внимание в этой связи на то обстоятельство, что идея о необходимости вернуться «к истокам западноевропейской мысли», преодолеть заблуждения таксономического структурализма, столь долго владевшего умами и направлявшего деятельность языковедов, все больше пронизывает теоретические построения Хомского и его учеников. Так, например, в новой книге Хомского «Aspects of the theory of syntax» [Cambridge (Mass.). 1965] убедительно показывается ограниченный характер традиционной структуралистической грамматики. Хомский пространно цитирует таких авторов, как Бити, Дюмарсе, Дидро, Лансело и др., напоминает высказывания Гумбольдта о языке как творческом процессе, как деятельности, а не содеянном и т. д. Даже сам термин: «порождающая грамматика» (generative grammar) представляется Хомскому вполне обоснованным также потому, что английское *generate* является наиболее подходящим переводом для немецкого *erzeugen*, употребляющегося Гумбольдтом в том же смысле, в каком Хомский употребляет его английский эквивалент.

Статья Э. Б а х а, книга которого «An introduction to transformational grammars» уже была рецензирована в «Вопросах языкознания»[2], называется «Структурная лингвистика и философия наук» (E. B a c h, Linguistique structurelle et philosophie des sciences). Эта статья начинается с краткого экскурса, описывающего историческую обстановку, в которой произошла революция в языкознании, вызванная выходом в свет «тоненькой книжечки» Хомского «Синтаксические структуры». Этому краткому экскурсу Бах придает драматический характер. Перед читателем очень картинно предстает 1957 год, когда американская лингвистика достигла такого уровня и пользовалась таким престижем, что, казалось, уже не было необходимости ей двигаться дальше, а оставалось лишь с гордостью взирать на пройденный путь. В это время вышли из печати «Лингвистические чтения» под редакцией Джуса под заглавием «Дескриптивная лингвистика в Америке за 25 лет». К тому же периоду относятся работы Глисона, Хоккета и Хила, резюмирующие и развивающие основные положения американской школы. Тогда же Пайк выступил с первым вариантом фундаментального труда, где в сжатом виде содержалось изложение результатов многолетних исследований. И вот на этом фоне появилась книга Хомского, и тут «символ веры» американских лингвистов, все их основные положения и рабочие гипотезы оказались поставленными под сомнение. Споры между сторонниками новой теории и представителями традиционной дескриптивной лингвистики далеко еще не окончились. Нередко они приобретают очень ожесточенный характер. Именно поэтому автор рецензируемой статьи считает необходимым подвергнуть детальному рассмотрению общенаучные и общетеоретические основы обоих лингвистических направлений.

В наиболее общих чертах принципиальные различия между двумя школами

[2] См.: ВЯ, 1965, 3.

могут быть представлены в следующем виде: дескриптивная лингвистика основывается на теории научного знания, созданной Ф. Бэконом. С этой точки зрения единственной основой научного познания являются наблюдение и опыт. Пользуясь индуктивным методом, ученые этой ориентации исходят из определенной совокупности данных и, проверив точность своих осторожных обобщений, они постепенно восходят к более общим выводам. Общее положение для них имеет смысл только в той мере, в какой оно опирается на индуктивную процедуру, на точное доказательство. Всякая спекуляция, любое положение, имеющее метафизический характер, любое утверждение априори исключаются из науки по определению.

В противоположность дескриптивной лингвистике теория порождающих грамматик исходит из системы мышления, которую Бах называет «кеплерианской». Этот подход ставит во главу угла творческий полет мысли, сразу же поднимающийся до уровня общих гипотез нередко математического характера; их ценность, научная значимость измеряется их продуктивностью и простотой. Развитие же бэконианского подхода иллюстрируется всем развитием дескриптивной лингвистики, согласно которой лингвистические обобщения могут быть только индуктивными: каждый язык должен описываться только исходя из его конкретной специфической структуры. Исследователь должен совершенно освободиться от каких-либо предвзятых представлений о языке вообще и его категориях. Языки могут отличаться друг от друга самым радикальным образом и степень их различия нельзя предвидеть или предсказать. Бах же, напротив, утверждает, что защитники логического позитивизма, современные ученики Бэкона, занимаясь протокольными предложениями, строят неуклюжую «пирамиду», с самого начала обреченную на то, чтобы развалиться под собственной тяжестью. Она не может стоять, потому что меньшие аксиомы строятся на основе протокольных предложений, а верхние ярусы трудолюбиво возводимых научных зданий оказываются обобщениями настолько ограниченными, что теряют вообще право на это название. Далее: если признать, что основа или база протокольных предложений действительно существует,— в каком смысле можно говорить, что обобщение фундировано на них? Ведь утверждения типа: «существует язык, в котором имеются категории имени и глагола» ничем, по существу, не отличается от утверждения: «неверно утверждать в отношении всех языков, что в них не имеются категории времени и глагола». Точно также известное суждение «Сократ смертен...» не проверяется тем обстоятельством, что в опыте говорящего зарегистрированы кончины некоторого количества людей. Иными словами, все попытки оправдать принцип индукции неизменно оказываются несостоятельными. Индуктивные обобщения как обобщения с ограниченным диапазоном представляют собой такую операцию, которая не поддается распространению за пределы данной совокупности частных фактов и поэтому является совершенно излишней, так как представляет собой всего лишь краткое повторение уже и без того известного.

Образ бэконианской «пирамиды», которая, распадаясь в процессе своего построения сводится лишь к различному расположению частей ее основания, сразу же заставляет вспомнить о здании, состоящем из нескольких лингвистических «этажей» или «ярусов» — «уровней», построенных в воображении американских дескриптивистов.

Как же следует строить лингвистику, исходя из «кеплерианской» методологии? Прежде всего описание должно быть теоретическим в том смысле, что оно должно допускать надежное предвидение, предсказание в отношении данного лингвистического ансамбля. В том-то и заключается заслуга Хомского, что он настойчиво направляет внимание лингвистического мира на те свойства грамматик, которые являются необходимыми для того, чтобы формулировать в отношении конкретных языков такие предсказания, которые могли бы проверяться опытом в самом широком смысле этого слова. Бах не скупится на сравнения и приравнивает значение предложенной Хомским переориентации лингвистического исследования к той революции в космологии, которую произвел Коперник.

Очень существенным оказывается также сформулированное Бахом различие между подходами к лингвистической теории, разработанными Хомским и его непосредственным учителем Харрисом. Для Харриса дистрибуция — это основное понятие, которое может быть использовано для определения элементарных единиц классов или категорий, составляющих основу грамматического описания. Для Хомского дистрибуция — это конечный результат, к которому должна стремиться грамматическая теория, т. е. это как раз та проблема, которая ждет еще своего решения.

Новая лингвистика все шире пользуется в своих исследованиях математическим аппаратом, поэтому современная алгебраическая лингвистика стремится изучать системы как научные абстракции. Она уже не задает вопрос о структуре того или иного естественного языка. Ее интересуют всевозможные формы грамматических систем вообще. Она хочет знать, каковы свойства этих систем, выражаемых в терминах возможности порождения форм вообще.

Таким образом, теория, которая возникла на лингвистической основе, оказалась тесно связанной с двумя отраслями математики, развившимися необычайно быстро за последние годы, а именно — теорией доказательств, понимаемой как теория исчислений, и наукой об абстрактных автоматах. Важнейшим результатом этого развития явилось установление иерархии грамматических систем и корреспондирующих языков, начиная с простейших и до самых сложных систем, эквивалентных, по существу, общим машинам Тюринга. С точки зрения собственно лингвистики проблема состоит в том, чтобы выяснить, какие из абстрактных систем лучше всего соответствуют тем типам, которые требуются для описания естественных языков.

Подход к явлениям языка с позиций математической логики и далее — кибернетики особенно ярко проявляется в работе С. К. Шаумяна под названием «Кибернетика и язык» («La cybernétique et la langue» (на этот раз уже не langage, а langue!). Автор подробно останавливается на значении кибернетики для современной науки, разъясняет основные понятия логической машинной модели порождающей грамматики и затем переходит к характеристике современного состояния теории порождающей грамматики. В этой части работы особенно интересным является его понимание трансформационной грамматики, которую Шаумян рассматривает как логическое завершение моделей, предлагавшихся дескриптивной лингвистикой. Ее роднит с дескриптивной лингвистикой то обстоятельство, что трансформационная грамматика в том виде, в каком она предстает в работах Хомского и его учеников, занимается только синтагматической осью языка и игнорирует ось парадигматическую. Другой характерной чертой трансформационной грамматики является то, что разрабатываемые ею правила трансформации приводят к смешению двух основных ступеней абстракции, необходимых при изучении языка, а именно: внутренних синтаксических отношений, с одной стороны, и тех лингвистических средств, которые служат для их выражения,— с другой. При переводе сказанного в терминологию Ф. де Соссюра: трансформационная грамматика смешивает «язык» — «langue» и «речь» — «parole».

Аппликативная порождающая модель С. К. Шаумяна отличается от предшествующих лингвистических теорий прежде всего тем, что ее создатель четко разграничивает фенотипический и генотипический уровни в исследовании и описании языка. Процесс порождения, таким образом, разделяется на два этапа. Работа начинается на генотипическом уровне. На этом уровне образуются идеальные объекты, аналогичные словам и предложениям естественных языков. Второй этап состоит в установлении систематических правил корреспонденции между «объектами» генотипического уровня и конкретными объектами уровня фенотипического, под которыми понимаются реальные слова и предложения данного реального языка.

Порождающий механизм аппликативной модели, строящей идеальные объекты, действует независимо от правил корреспонденции. В объектах этого уровня не заключается грамматических категорий, которые вообще могут существовать только на уровне данного конкретного языка. Поэтому, например, такие категории, как время, наклонение, лицо, число, род и т. д., фигурируют только на фенотипическом уровне; генотипический же язык вполне абстрактен и может рассматриваться между прочим как язык-эталон для типологических исследований. В этом языке различаются только два рода идеальных лингвистических объектов: слова и комплексы, соединения слов. В соответствии с этим делением аппликативная модель содержит два порождающих механизма, соответствующих этим двум видам объектов, т. е. модели порождения слова и модели порождения сочетаний или же комплексов, состоящих из слов. Первой из этих моделей соответствует парадигматическая ось языка, второй — синтагматическая.

Хотя, как видно из сказанного выше, аппликативная порождающая модель могла бы обойтись без понятия трансформации, тем не менее трансформации оказываются полезными для установления отношений инвариантности между предложениями. Так, например, уже посредством аппликации можно получить два предложения: «мальчик пишет письмо» и «письмо пишется мальчиком». Однако для того, чтобы раскрыть отношения инвариантности между этими двумя предложениями и показать, что первое может быть превращено во второе, необходимо обратиться к помощи трансформации. Именно обнаружение отношений инвариантности позволяет раскрыть наиболее глубокие законы структуры языков и, таким образом, значительно увеличивает объяснительную силу аппликативной модели.

*

От кратко охарактеризованных выше двух направлений в современном языкознании, т. е. с одной стороны, от того направления, которое в настоящем сборнике представлено работой Р. Якобсона (а именно — новой семиологической теории, разрушающей столь долго господствовавшую в лингвистике догму произвольности лингвистического знака), и того, которое представлено статьями Хомского, Баха и Шаумяна, принципиально отличается подход к явлениям

языка, содержащийся в работах А. Мартине и Е. Куриловича.

Статья А. Мартине под названием «Слово» (A. Martinet, Le mot) излагает результаты его исследований, посвященных отысканию и определению «минимального знака языка». Автор подробно останавливается на тех трудностях, которые неизбежно возникают, если минимальным знаком считать морфему. Также подробно и основательно иллюстрируя материалом из разных языков, он раскрывает те трудности, которые влекут за собой попытки приписать универсальный характер слову как минимальной лингвистической единице. Естественным логическим следствием, вытекающим из этих рассуждений, является его обоснование теории монемы и доказательство того, что именно монема представляет собой минимальный знак. Монема выделяется из речи следующим образом: всякий раз, когда говорящий оказывается вынужденным именно так, а не иначе построить свое высказывание для того, чтобы передать то содержание, которое он имеет в виду, реализуется монема. Иными словами, в каждом высказывании столько монем, сколько выборов (choix). Эти идеи Мартине хорошо известны из его работ, посвященных слову, монеме, синтагме и другим основным единицам языка и речи.

В статье Е. Куриловича «Эволюция грамматических категорий» (J. Kuryłowicz, L'évolution des catégories grammaticales) суммируются результаты многолетних исследований проблемы лингвистических категоризаций в историческом плане. Материал излагается в форме, доступной читателю, не обладающему специальной лингвистической подготовкой.

Как известно, под категориями (в отличие от автора настоящей рецензии) Е. Курилович понимает не отражение наиболее общих свойств и отношений, характеризующих данные предметы в их совокупности, а сами эти предметы, классы этих предметов. Поэтому естественно для него лингвистические категории—это определенный класс лингвистических единиц, главным образом слов, объединяемых общностью значений и общностью синтаксической функции, находящей определенное материальное выражение. В категорию же объединяются у автора разнообразные выражения, например множественного числа, т. е. класс флексий, объединенных данным значением и данными морфосинтаксическими свойствами. Исторический характер этих явлений трактуется в аспекте соотношения лексического и грамматического: в различных языках на разных этапах их развития одна и та же семантическая информация оказывается по-разному оформленной, подчиняясь изменяющимся принципам лингвистической категоризации. То, что первоначально было чисто лексической функцией, может закономерно приобрести характер вполне грамматический, и наоборот: первоначально функция вполне грамматическая приобретает в дальнейшем лексический характер. Таким образом, статья популяризует идеи автора, широко известные по другим его работам.

Современный этап в развитии языкознания характеризуется возросшим интересом к тем аспектам нашей науки, которые у Ф. де Соссюра и в некоторых особенно влиятельных направлениях неососсюрианства относились к области знания, весьма неопределенно обозначавшейся такими терминами, как «внешняя лингвистика», «экстралингвистика», «биолингвистика», «металингвистика» и т. п. Весьма интересной с этой точки зрения в рассматриваемом сборнике является статья Э. Бенвениста «Язык (langage — речевая деятельность? — *О. А.*) и человеческий опыт» (E. Benveniste, Le langage et l'experience humaine). Предметом этой статьи являются категории лица и времени, но рассматриваются эти категории с совершенно особой точки зрения. Они рассматриваются как элементарные категории, т. е. как независимые от специфических лингвистических условностей, свойственных тому или другому говорящему коллективу на том или ином историческом этапе его развития. Эти категории рассматриваются как проявления субъективного опыта индивидов, определяющих себя по отношению к речевой деятельности и через нее.

Исходя из этой основной задачи, по мнению автора, только таким образом можно раскрыть содержание таких единиц, как *я*, *ты* и *он*. Только в реальной ситуации речи местоимения приобретают смысл. Вне этой ситуации они — пустая форма, которая не может быть связана ни с предметом, ни с понятием. На этой же основе автором раскрывается вся остальная система прономинальных обозначений, таких, как указательные местоимения, прономинальные наречия и т. д.

Заслуживают внимания рассуждения автора, посвященные разграничению категории физического времени, «хронического» времени и времени лингвистического. Именно на основе этих разновидностей времени становится возможным научное раскрытие природы «грамматического» времени. В природу лингвистического времени можно проникнуть только при условии, что исследователю будет понятна органическая связь между понятием лингвистического времени и реальной ситуацией речи: только так можно понять, каким образом в языке отражается отношение, которое является первородным, константным и бесконечно обратимым,— отношение между говорящим и тем, к кому обращена речь. Если

анализ достаточно углублен, то человеческий опыт, зафиксированный в языке, всегда возвращает исследователя к акту речи.

Тот же аспект языкознания в широком смысле слова предстает в статье А. Ш а ф ф а «Язык и действительность» [A. Schaff, Langage et réalité], причем здесь соответствующая проблематика рассматривается уже с философской, онтологической точки зрения. Поэтому вполне естественно автор начинает с краткого обсуждения извечного вопроса о том, является ли лингвистический процесс своеобразной активностью, создающей образ действительности, или же эта активность лишь отражает действительность.

По мнению автора, этот извечный вопрос до сих пор не получил удовлетворительного решения потому, что сама его формулировка не является достаточно ясной. Поэтому автор начинает с точного определения того, что он понимает под langage. Это — непрерывное образование знаков и значений, выполняющих реальную функцию в человеческой речи, а совсем не система звуков или других знаков, независимых от какого бы то ни было значения или какой бы то ни было функции. Рассматривая концепции Кассирера, Карнапа, Сепира, Уорфа и других ученых, автор критически анализирует понятия созидательной функции языка, «языковой картины мира» и ее роли в создании определенного мировоззрения.

Нельзя не отметить решительности основных суждений автора. Так, например, по его мнению, теория, стремящаяся обнаружить истоки языка в произвольном выборе, в чистой конвенциональности, условности языка, является совершенно химерической. С точки зрения социолога, такой подход антинаучен, потому что находится в прямом противоречии с реальной действительностью, с фактами, данными в человеческом опыте. То обстоятельство, что выдающиеся мыслители, охваченные стремлением к научной строгости, пали жертвой явно ложных предпосылок, можно, по мнению Шаффа, объяснить психологически только за счет необычайной привлекательности для умов этого рода методов гипотетико-дедуктивных наук. В гипотетико-дедуктивных науках действительно оказывается вполне возможным принять некоторые аксиомы и некоторые правила преобразования, не занимаясь совершенно происхождением этих аксиом и этих правил и сосредоточившись всецело только на операциях исчисления. Но такой способ рассуждения, даже если он и пригоден для гипотетико-дедуктивных наук, обречен на полный провал, полный неуспех, если его применять к таким явлениям общественной жизни человека, какой является речевая деятельность (langage). Совершенно ясно, что Карнап и Айдукевич имели в виду некоторые формы математического языка, и оба они совершенно упустили из вида те отношения, которые могут существовать между этими формами и формами естественного языкового выражения. Допустив эту ошибку, они обобщают выводы, которые являются верными для специфического случая совершенно особых форм выражения, и пытаются применить их ко всем формам речевой деятельности вообще.

Большой и интересный материал, приводимый Шаффом для развития и обоснования его взглядов, не может быть здесь рассмотрен, так как это потребовало бы написания отдельной рецензии. Следует также принять во внимание, что работы Шаффа хорошо известны советскому читателю. Его основополагающие монографии уже неоднократно выходили у нас в русском переводе и подвергались детальному обсуждению на специальных семинарах и совещаниях.

Онтология языка, в философском плане рассмотренная в статье Шаффа, является предметом собственно лингвистической статьи Г. Ч. П а н д е под названием «Жизнь и смерть языков» (G. Ch. Pande, Vie et mort des lanques). Статья начинается с краткого изложения истории вопроса, причем особую ценность представляет то обстоятельство, что автор не ограничивается характеристикой греко-латинской традиции, а дает также интересные материалы, относящиеся к древнеиндийским взглядам на онтологическую сущность языка. В частности, оказывается, что спор между аналогистами и аномалистами не ограничивался греческой философией языка, а велся также между учеными древней Индии.

Переходя к современному состоянию вопроса, автор прежде всего обращает внимание на принципиальное отличие нового подхода к проблеме существования и развития языка по сравнению не только с более ранними периодами развития этой области знания, но и с теми концепциями, которые господствовали в XIX в. Рассмотрение современного состояния и общелингвистическая трактовка проблемы выступает в виде трех отдельных разделов: 1) микропроцессы и типологическая правдоподобность, 2) макропроцессы и исторические схемы и 3) полярность и темп изменения.

Проблема микропроцессов трактуется автором на основе исследований и выводов Ципфа и Мандельброта, сопровождаемых оригинальным материалом, почерпнутым из индийских языков. Однако, по мнению Панде, хотя принцип экономии и методы экономометрии и дают возможность установить вероятность появления тех или иных единиц на уровне речи, они не могут дать науке вполне надежную картину общей истории языка. Для того чтобы это стало возможным, необходимо обратиться к макропроцес-

сам. Среди таких процессов особенно важное место, по мнению автора, занимает та схема лингвистических изменений, которая зиждится на понятиях анализа и синтеза. Однако выясняется, что значение, придаваемое в западноевропейской традиции появлению и исчезновению флексий, не оправдывается, если привлечь к исследованию материал языков других систем. Например, в семитических языках на протяжении тысячелетия нельзя обнаружить таких изменений, которые подтверждали бы закономерности перехода от анализа к синтезу и обратно, обнаруженные в европейских языках.

Что же является, по мнению автора, основной движущей силой в диахронической онтологии языков? Как бы ни было велико значение структурно-обусловленных изменений языка, эти изменения получают смысл только на широком фоне, учитывающем социальную функцию языка. А с этой точки зрения основным фактором является борьба между двумя взаимно-противопоставленными силами, которые действуют в каждом языке. Каждый язык обладает двойственной природой, выступая, с одной стороны, как «идеальная реальность», а с другой стороны — как «реальность эффективная». Первая из этих сторон стремится задержать развитие, препятствовать изменению, в то время как вторая его сторона не только способствует изменению, но и обусловливает его. В разные исторические эпохи и в разных языках соотношение этих двух факторов оказывается совершенно различным. Поэтому автор считает невозможным разработку каких-либо общих статистически устанавливаемых норм, например — изменение словаря на тысячелетие (с явным намеком на работы Свадеша). В частности, например, история китайского языка свидетельствует о том, что некоторый данный народ мог препятствовать языковой дивергенции и нарушению принятых норм, придавая бо́льшее значение письменной традиции, чем эфемерности местных диалектов. В этом отношении история китайского языка противопоставляется автором истории языков Индии, где имела место прямо противоположная тенденция и поэтому развитие шло в совершенно противоположном направлении.

Каковы бы ни были, однако, конкретно-исторические модификации основного закона жизни и смерти языков, в наиболее общем виде он универсален. Каждый язык, с одной стороны, подвержен непрерывному изменению, вызываемому как внутренними, так и внешними факторами, и вместе с тем в нем непременно и всегда действуют силы, стремящиеся его стабилизировать, сохранить его историческое тождество.

Из сказанного следует, что победа или преимущественное развитие той или другой тенденции определяется прежде всего состоянием того общества, тем уровнем культурного развития, которого достиг человеческий коллектив, пользующийся данным языком. Язык, в конечном счете, это выражение данной культуры и данного уровня научного общения. Если культурная жизнь данного человеческого коллектива является замкнутой, ограниченной национальными рамками, то и язык будет обладать соответствующей ограниченностью и окажется непригодным для международного научного общения. Если же данный человеческий коллектив занимает ведущую роль в развитии великих мировых культур, то и язык этого коллектива приобретает соответствующий характер и оказывается способным к выполнению больших мировых задач. Будущее развитие представляется Панде не в виде победы какого-то одного языка. Прогресс науки и техники даст возможность строгого, непрерывного и легкого перевода с одного языка на другой и, таким образом, приведет к распространению многоязычия и все более широкому использованию таких средств общения, которые не были бы привязаны к тому или иному национальному языку, а представляли бы собой универсальные номенклатуры, обеспечивающие наибольшую точность коммуникации в разных технических областях

Тема — «язык и общество», которая в предыдущем изложении развивалась в плане разнообразных наблюдений ученых совершенно различной ориентации, приобретает вполне современный и научный вид тогда, когда вопрос ставится о соотношении лингвистических структур и структур социальных.

В статье под названием («Structures linguistiques et structures des groupes sociaux») А. Соммерфельт (A. Sommerfelt) освещает основные задачи и достижения этого направления в современном языкознании. Дело в том, что микролингвистика значительно опередила другие гуманитарные науки, разработав точные методы исследования и описания изучаемых явлений. Метод выделения элементарных структурных единиц и изучения правил их функционирования на основе закономерных противопоставлений (в частности противопоставлений двоичных) широко применяется в области в первую очередь фонологии, морфонологии и морфологии языков (в статье содержатся материалы, разъясняющие для неспециалиста этот принцип и методы структурной лингвистики). Но как конкретно применить эти методы к социологии? Единственной областью, где эти методы уже дали известные результаты, являются родственные отношения и соответствующие им термины родства. А наиболее известным теоретиком в этой области является К. Леви-Строс (C. Levi-Strauss). Краткому изложению выво-

дов, полученных Леви-Стросом, и посвящается основная часть работы Соммерфельта. Он считает, что дальнейшие исследования в этой области должны будут пойти именно по этому пути, чтобы определить, каким образом лингвистические и социальные структуры соотносятся в синхроническом плане. Это должно будет заложить основу для планомерного сопоставления языковых и социальных факторов и, следовательно, для научного решения проблемы «язык и общество».

*

Какие же моменты в охарактеризованных выше материалах представляются наиболее заслуживающими внимания? Думается, «ревизия» Якобсоном основных положений соссюровского курса, отчетливо проявляющаяся во многих его работах, имеет большое значение для дальнейшего развития лингвистики. Слишком долго в некоторых наиболее влиятельных направлениях неососсюрианства в качестве основной догмы фигурировала апокрифическая концовка «Курса», благодаря чему лингвистические концепции Ф. де Соссюра оказались в значительной степени искаженными. В частности, была совершенно предана забвению лингвистика речи (linguistique de la parole); не исследовалась такая важнейшая функция языка, как функция «поэтическая», совершенно оставалась вне рассмотрения обширная проблематика, вытекающая из тезиса о социальной природе языка.

За последние десять лет все больший интерес привлекает ревизия также и второго из основных направлений традиционного структурализма, которое тоже постепенно превратилось в совокупность догм и незыблемых правил, что совершенно лишило его научной продуктивности и не могло не вызвать в конечном счете вполне естественной и необходимой реакции. Речь идет о теории порождающих грамматик, которая вышла теперь за рамки собственно лингвистических дискуссий и постепенно превращается в определенное лингвофилософское направление. Как было показано выше и как с предельной наглядностью проявляется в цитированной выше новой работе Хомского, речь идет теперь уже не просто о замене метода непосредственно составляющих более совершенными методами синтагматического исследования и описания. Речь идет теперь о том, чтобы в широкой философской и исторической перспективе показать борьбу различных направлений в общей методологии науки. При этом периоды господства той методологии, которая, по мнению данного автора, является неправомерной и ненаучной, представляются им как периоды упадка и прозябания. Что касается собственно идей и теорий, развиваемых Хомским, то особенно интересно обратить внимание на ту нарочитость, с которой он подчеркивает научное значение логической и универсальной грамматики Пор-Руаяля, — направление, которое в течение столь долгого времени рассматривалось как совершенно неприемлемое и антинаучное, как не только неспособное раскрыть инстинную природу естественного человеческого языка, а напротив — совершенно затемняющее, искажающее ее, представляющее ее в уродливом и неестественном виде.

Если традиционное структуроведение всячески подчеркивало статический аспект, стремилось изобразить язык как некий неподвижный код, как ἔργον по преимуществу, то теперь в центре внимания оказывается ἐνεργεια, порождение, das Erzeugen и т. п.

Представляется существенным, однако, несколько задержаться на собственно лингвистическом аспекте этого интереснейшего движения лингвистической мысли. Хомский все время подчеркивает, что его теория не представляет собой ничего принципиально нового, что она лишь поднимает на уровень современной научной методики (читай — методики современной математической логики) те синтаксические понятия и категории, которые были характерны для так называемой традиционной лингвистики. Но, думается, что теорию порождающих грамматик вполне правомерно представить как всего лишь дальнейшее углубление методики синтаксического исследования. Так подходят к вопросу такие исследователи, как Д. С. Уорт. Действительно, чего не хватало двум основным «таксономическим» синтаксическим моделям — модели членов предложения и модели непосредственно составляющих? Эти две модели не содержали в себе эксплицитно тех парадигматических механизмов, которые составляют реальную основу речевой деятельности и без учета которых синтаксическая сегментация оказывается заранее обреченной на позитивистское и поэтому неудовлетворительное описание «поверхностных» структур. Важное лингвистическое значение теории порождающих грамматик как раз и состоит в том, чтобы попытаться раскрыть синтаксическую парадигматику, показывая не только морфосинтаксическую парадигматику тагмемы, но и обеспечивая переход к следующему уровню исследования, к раскрытию природы и закономерностей функционирования того, что за неимением лучшего термина можно назвать «гипертагмемным» анализом.

Выше в отдельный раздел были вынесены работы Мартине и Куриловича. Хорошо, что они наглядно показывают, какую важность имеет изучение самых основных и наиболее «старых», извечных понятий и категорий языкознания, если их пересмотр и углубленное изучение будут основаны на тех методах и прие-

мах, которые являются бесспорным достижением современного языкознания. Нельзя не пожалеть, однако, что в работах этого рода недостаточно учитываются достижения советского языкознания, потому что именно у нас проблема слова и проблема грамматической категории неизменно продолжают привлекать внимание исследователей и все глубже и детальнее изучаться с привлечением данных смежных наук.

Совершенно исключительный интерес представляют работы, трактующие различные вопросы, объединявшиеся у нас традиционно под очень плохо разъясненными названиями: язык и мышление, язык и общество. В рецензируемой книге это работы Бенвениста, Шаффа, Панде и Соммерфельта. То, что этой проблематике в рецензируемом сборнике было уделено такое большое внимание, нужно всячески приветствовать, потому что вторая половина текущего столетия вообще характеризуется поисками интеграции, отысканием путей изучения лингвистических структур в социальных контекстах, изучения функциональной стороны лингвистических единиц.

Как уже было сказано, возникающая таким образом сложнейшая проблематика до сих пор даже не имеет общепринятого названия. К тем названиям, которые были приведены выше, можно добавить еще такие, как «этнолингвистика», «антропологическая лингвистика», «лингвистическая антропология», «социолингвистика», «психолингвистика» и т. д., и т. п. Иными словами, сейчас уже можно считать твердо установленным, что современное языкознание не может больше развиваться без эксплицитного учета «экстралингвистического» его компонента. Но одно дело признание этого несомненного факта, а совсем другое дело разработка таких методов, которые обеспечат реальное разрешение этих явно назревших проблем. Нельзя не пожалеть, поэтому, что Соммерфельт ограничился ссылками на Леви-Строса, не сказав ничего о других ученых, плодотворно работающих в настоящее время в этом направлении, например, о школе У. Вайнрайха: работы таких ее представителей, как У. Лабов, заслуживают самого пристального внимания.

О. С. Ахманова

Ю. С. Сорокин. **Развитие словарного состава русского литературного языка.** 30—90-е годы XIX века. — М. — Л., Изд-во «Наука», 1965. 565 стр.*

Появление книги Ю. С. Сорокина — крупный успех исторической лексикологии русского литературного языка. По богатству фактов и по тщательности их интерпретации рецензируемый труд — явление из ряда вон выходящее. Исследователь обогащает нас огромным количеством сведений по истории отдельных слов, серий слов и больших лексических групп. Анализ иноязычных заимствований, лексических новообразований и некоторых типов семантического изменения в пределах изученного периода (а отчасти и за пределами этого периода) настолько обстоятелен, что вряд ли будущие исследователи смогут добавить здесь что-либо существенное. Каждый из включенных в книгу этюдов по истории слов — плод тщательных и всесторонних изучений как собственно лингвистических, так и экстралингвистических проблем. Наибольшее впечатление в этом отношении производят такие этюды, как *пафос*, *идеал*, *социальный*, *беллетрист*, *личность*, *национальность*, *направление*, *организм*, *миросозерцание — мировоззрение*, *промышленность*, *интеллигент*, *масса*, *предвзятый*, *отпетый*, *веяние*, *щепетильный*, *подоплека* (в отношении последнего можно только упрекнуть автора в отсутствие упоминания аналогичного анализа — отчасти на том же материале — В. В. Виноградова[1]) и др. Интересен анализ группы слов на *-ник* (*крепостник*, *народник*, *западник* и др.), выделяется богатством материала превосходное исследование истории обширной группы слов на *-изм* и *-ист*. Пристальный интерес к судьбам отдельного слова дал возможность автору сделать ряд существеннейших выводов и обобщений в области истории русского литературного языка нового времени.

Так, весьма важным и хорошо обоснованным представляется сделанный на стр. 544 вывод о принципиальных отличиях рассмотренного в книге периода от предшествующего в характере семантической дифференциации слов, в путях поисков средств для выражения новых понятий: если в предшествующий период «проявлялась сильная тенденция вкладывать очень специальный, особый смысл в известные русские слова широкого значения», то в новое время «в значительном числе случаев... отдается предпочтение особому слову» (ср. *шествие*, *ход* и *процесс*; *успех* и *прогресс* и др. под.). Чрезвычайно существенны и плодотворны

---

* В следующем номере журнала будет опубликована рецензия Г. Хютль-Ворт (Лос-Анжелос) на книгу Ю. С. Сорокина.

[1] См.: В. В. Виноградов, Великий русский язык, М., 1945, стр. 140 и сл.

соображения и выводы автора о своеобразии процесса усвоения иноязычных заимствований в этот период (стр. 175 и сл.): значительный по сравнению с предшествующей порой объем таких заимствований, «относительная сжатость сроков, понадобившихся на прочное усвоение такого значительного числа заимствованных слов», особенности синонимических отношений, в которых находились эти заимствования. Своеобразие этих процессов автор связывает, с одной стороны, с «развитием русской действительности» и историей общественной мысли и, с другой стороны, с «внутренними факторами развития русского литературного языка» вообще и его лексической системы в особенности.

Богата наблюдениями и вторая глава книги, посвященная лексическим новообразованиям и рассматривающая наиболее существенные словообразовательные тенденции в литературном языке изучаемого (и отчасти предшествующего) периода; процесс «упрощения» живых словообразовательных типов, кристаллизация и бурное развитие сравнительно ограниченного числа таких типов, резкое ограничение индивидуальных новообразований, сокращение вариантности лексических образований — все эти факты представлены в книге весьма выразительно.

Необходимо особо отметить значение работы Ю. С. Сорокина для методологии и методики историко-лексикологических исследований. Оно не в том, что автор высказал ряд интересных соображений методологического характера и сформулировал принципы лексикологического анализа — в большинстве своем они высказывались разными исследователями и ранее, а в том, что он сумел осуществить эти принципы и требования в практической работе — что не в пример труднее. Действительно, общепринято, что не следует смешивать в лексикологических исследованиях значение слова и содержание выраженного словом понятия, но немногие умеют разграничивать эти явления так «чисто», как это делает Ю. С. Сорокин, причем не просто отбрасывая, игнорируя вопрос о содержании понятия, а находя для него его подлинное место. Это тем более важно, что специфика изученной автором лексики такова, что без учета этой стороны слова невозможно обойтись. (Может быть, одним из немногих исключений, когда автора можно упрекнуть в недостаточно четком разграничении этих разных вопросов, является этюд *пролетариат*, *пролетарий*[2].) Известно, что надо различать переносное значение слова и образные его употребления — но в книге Ю. С. Сорокина это не просто декларация, а один из важнейших принципов анализа. Плодотворны попытки разграничения истории слова и его «предыстории», различения времени первых фиксаций слова и времени его вхождения в литературный обиход. Очень важными представляются в этой связи наблюдения автора о колебаниях в употреблении слова, о наличии у него фонетических или грамматических вариантов как важном признаке ранней, «предысторической» его жизни (стр. 63 и мн. др.).

Методологически важны наблюдения относительно появления в языке омонимов типа *личность*, *безвыходный*, *даровитый*, современные значения которых Ю. С. Сорокин справедливо отказывается сближать и связывать с их более ранними значениями.

Бесспорно сильной стороной книги является широта связей и отношений, в которые ставится интересующее автора слово: место в ряду вариантов и синонимов, антонимические противопоставления, словообразовательные связи, отношение к «предшественникам» — пристальное внимание автора ко всем этим факторам дает ему возможность представить историю и условия функционирования слова с большой зримостью и конкретностью, каждый раз «вдвигать» слово в реальный исторический контекст. Разумеется, не все этюды равноценны в этом отношении. Так, для слова *принцип* (стр. 81—83) можно было бы рассмотреть его отношение к таким словам, как *начало* и *началоположение*; для истории слова *индивидуум* (стр. 77—79) представляет интерес не только его соотношение с *неделимое*, но и с другими его предшественниками, например *единица*; среди предшественников слова *потребитель* в новом его значении (стр. 334—335) можно было бы назвать *иждиватель*, а среди предшественников *промышленности* (стр. 335—341) — *промыслительность*, обычное у М. Н. Муравьева; любопытны ранние попытки передать значение слова *солидарность* (стр. 105) — см., например, в «Русской правде» Пестеля *совокупная стоятельность*; говоря о переносно-расширительном употреблении слова *мишень* (стр. 473), очевидно, следовало бы обратить внимание на более раннюю эволюцию слов *цель*, *мета*, точно так же как новое значение слова *безвыходный* (стр. 327), которое, как правильно пишет Ю. С. Сорокин, невозможно объяснить развитием из старого значения «безотлучный», можно было бы сопоставить с параллельным *безысходный*; *человечественность* и *человечественный* в значении «гуманность, гуманный» (стр. 91), которые автор относит к неологизмам Белинского, непонятны без упоминания о слове *человечество*, издавна употреблявшемся

[2] См. на стр. 101: «Но и эти верные противопоставления еще не обеспечивали вполне четкого представления о пролетариате как основном классе буржуазного общества, о его составе и исторической роли».

в значении «человечность, гуманность»; рассматривая слово *патетический* (стр. 123), можно было бы обратить внимание на эволюцию в его употреблении, в частности на то, как изменилось его отношение к таким словам, как *чувствительный*, *трогательный*, *умилительный* — от совпадения с ними в XVIII и начале XIX в. до противопоставленности им, например, у Белинского в статье «„Северная Пчела" — защитница правды и чистоты русского языка»; не вполне понятны причины вытеснения слова *существенность* словом *действительность*; указание на противопоставление «мечты и жизни, идеала тому, что на самом деле с у щ е с т в у е т в жизни» (стр. 200), разумеется, ничего не разъясняет. Число таких замечаний и пожеланий может быть увеличено — и все же в масштабе книги в целом это всего лишь отдельные исключения.

Редкой для исследований по исторической лексикологии точностью отличаются предложенные Ю. С. Сорокиным датировки появления и закрепления тех или иных слов или значений. Здесь впервые дана хронология большого количества слов — заимствований, ка́лек, новообразований, во многих случаях уточнены и исправлены приводившиеся ранее датировки. Возможно, что автора можно упрекнуть в излишней категоричности, но опровергнуть его датировки оказывается делом чрезвычайно нелегким. Укажу все же на некоторые неточности. Употребление слова *печать* в значении позднейшего «пресса» автор относит не ранее чем к 40-м годам («такое употребление слова *печать* намечается уже в 40-е годы и получает самое широкое распространение с 60-х гг.» — пишет Ю. С. Сорокин на стр. 99); между тем оно известно уже Пушкину, причем не только в 30-е годы (см. «Из Пиндемонти»), но и в начале 20-х годов — в «Послании цензору»). Необоснованно сомнение автора относительно правильности наблюдения В. В. Виноградова, сделанного им еще в 1948 г. о том, что слова *мракобес* и *мракобесие* возникли в кругах передовой интеллигенции в конце 10-х годов XIX в. и что в них нашли свое отражение «революционные настроения русского передового общества, подготовившие восстание декабристов». Ю. С. Сорокин полагает, что ранние употребления этих слов — до Белинского — могли применяться только к литературной борьбе и были направлены против Шишкова и ревнителей «старого слога» (стр. 96). Вряд ли это так: укажу на *мракобеснующийся* в Дневнике Н. И. Тургенева — в записи от 27 февраля 1819 г. — причем в применении к Магницкому.

Употребление слова *личность* в значении «индивидуальность» началось, очевидно, ранее, чем предполагает Ю. С. Сорокин. Во всяком случае заслуживает внимания, что оно встретилось в обоих переводах из «Созерцания натуры» Бонне — очевидно, Карамзина (в «Детском чтении» 1788 г.) и И. Виноградова (1792 г.), причем в первом случае с отсылкой к франц. *personnalité*. Слово *катастрофа*, о котором в книге сказано, что оно начало свой путь в русском языке с 30—40-х годов (стр. 130), осуждается как «новомодное» Шишковым уже в 1803 г.[3]. *Верховенство*, *верховность* — и не в церковном употреблении (стр. 222) — любимые слова М. Н. Муравьева, писателя второй половины XVIII в.; впрочем любопытно, что Карамзин, редактируя сочинения Муравьева, обычно заменяет эти слова другими — чаще всего словом *превосходство*. *Кризис* в переносном значении употреблен уже Фонвизиным в письме 1773 г.[4] (ср. стр. 411—412), точно так же и переносное употребление слова *критический* встречается еще в XVIII — начале XIX в., например, у Болотова в 90-е годы (применительно к состоянию Европы — очевидно, еще с ясным ощущением образного характера такого употребления). У Фонвизина и Болотова встречается и переносное употребление слова *кредит* — у первого о Панине, который «остался при делах с большим кредитом нежели когда-либо»; Ю. С. Сорокин относит такое употребление к 30-м годам XIX в. (см. стр. 466). У Фонвизина же есть и наречие *самодуром* («сделать что-либо самодуром», ср. стр. 491). *Юркнуть* проникает в литературное употребление, очевидно, ранее второй половины XIX в. (см. стр. 493): его распространение (даже «в высокой поэзии») неодобрительно отмечает И. И. Дмитриев уже в 1821 г. Очевидно, раньше, чем это можно предположить, употребляется в разных значениях слово *самобытность* (см., например, попытки употреблять его в значении «субстанция, существо» еще в XVIII в.). Субстантивированное употребление слова *целое* с указанием на внутреннее единство предмета или явления (ср. нем. *das Ganze*, франц. *le tout*) отмечено, вопреки предположению Ю. С. Сорокина (см. стр. 525), значительно ранее 30-х годов. Так, оно встречается не только у Пушкина в 20-е годы («первая глава представляет нечто целое» — в предисловии к 1-й главе «Евгения Онегина», «Восторг не предполагает силы ума, располагающей частей в их отношении к целому» — в возражении на статьи Кюхельбекера), но,

---

[3] А. С. Ш и ш к о в, Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, СПб., 1803, стр. 24.

[4] «Эпоха сия у нас настала, и оною умышлено было воспользоваться ради совершенного отдаления гр. Никиты Ивановича от роли, им занимаемой в отечестве нашем. Но сей кризис кончился к славе его» (Д. И. Ф о н в и з и н, Собр. соч., 2, М.—Л., 1959, стр. 407).

например, у Батюшкова еще в 1811—1814 гг.: в «Прогулке по Москве» — «... враждебные стихии... составляют сие... *целое*, которое мы знаем под общим именем: Москва» (курсив принадлежит Батюшкову), в «Прогулке в Академию художеств»: «Смотрите — какое единство! Как все части отвечают целому... и в целом какое разнообразие»; см. у него же еще раньше в записной книжке (1810 г.): «Поправим выражение, слово, безделку, а испортим мысль, перервем связь, нарушим целое».

Очевидно, можно найти и другие неточности в датировке отдельных частных явлений. Но нельзя не отметить, что они составляют незначительное количество случаев. И главное: такого рода уточнения в большинстве своем касаются датировки первых фиксаций слова, но не опровергают, как правило, наблюдений автора относительно времени распространения слова (или значения) в литературном обиходе.

В связи со сказанным, однако, есть необходимость затронуть вопрос об источниках, послуживших базой исследования Ю. С. Сорокина. Вообще источники эти поражают своим обилием и богатством; тем не менее некоторая односторонность их вызывает сомнения. Нетрудно заметить, что основное место среди этих источников занимает публицистика, отчасти критика. Такой выбор в принципе не может вызвать возражений, особенно если иметь в виду роль публицистики и «журнальной литературы» в развитии русского литературного языка нового времени. Это соответствует и замыслу автора — засвидетельствовать факт проникновения и закрепления слова или значения в общелитературном употреблении. Тем не менее, думаю, что более широкое привлечение материала из специальной литературы — разумеется, с учетом специфики этого материала — обогатило бы работу, сделало бы наблюдения и выводы автора еще более точными и доказательными. Ведь вопрос о случайности или устойчивости, массовости словоупотребления и вопрос о сфере употребления слова — это разные вещи. Если можно констатировать относительно устойчивое употребление слова в специальной литературе даже при отсутствии или случайности такого употребления вне этой литературы, то трудно все же удержаться от признания слова фактом литературного языка; отсутствие слова вне специальной сферы в таком случае неизбежно приходится объяснять причинами неязыковыми. Без учета этого обстоятельства невозможно определить, имеем ли мы дело в каждом отдельном случае с новым заимствованием или расширением употребительности слова ранее заимствованного. Во всяком случае, когда мы имеем дело не с узко-специальной терминологией, а с относительно широко употребительными терминами философии, политической экономии, эстетики и под., лексикологу и историку языка трудно обойтись без учета их употребления в соответствующей литературе; само разграничение «специального» и «общего» употребления в этих случаях становится сомнительным и условным, особенно если учесть своеобразие «умственного» развития русского общества в это время. Разумеется, исследование специальной терминологии — это особая тема, особая задача; но когда речь идет об истории слов, закрепившихся в дальнейшем в общелитературном употреблении, их наличие в специальной литературе — с оговорками, которые были сделаны выше, не должно игнорироваться. Кстати говоря, в целом ряде случаев автор и сам обращает внимание на эти факты, но недостаточно, на мой взгляд, последовательно.

Чрезвычайно важным представляется более тщательный учет этого рода литературы для периода, непосредственно предшествующего тому, который интересует Ю. С. Сорокина[5]. Очевидно, при пристальном внимании к этому материалу датировка появления некоторых слов или значений выглядела бы не совсем так, как она представлена в книге. Так, можно было бы зафиксировать значительно более раннее, чем это предполагается, употребление философского термина *субъективный*; см., например, выражение *субъективная философия* с толкованием «то есть взятая в отношении предмета, в котором она представлена человеку» в переведенной П. Петровым и опубликованной еще в 1807 г. «Кантовой философии». *Субъективно* (как и *объективно*) в философском смысле встречается в письме В. Раевского 1820 г. — правда, в нарочито наукообразном контексте, здесь же — *абсолютное* в противопоставлении *диссолютному*, а также *действительное*[6]. В переводе сочинений Фихте, вышедшем в 1813 г. в Харькове, встретилось следующее употребление слова *направление*: «Сие есть направление, tendenz, моей философии»; ср. датировку такого употребления в книге Ю. С. Сорокина (стр. 505—507). В упоминавшемся уже переводе «Кантовой философии» встретилось *прогрессия понятий* — в значении «успех, прогресс» (ср. стр. 83—85). Слова *догматический*, *догматизм* отнюдь не в конфессиональном смысле (ср. стр. 479) можно также встретить в философских сочинениях

[5] Такой материал отчасти представлен в работе В. В. Веселитского «Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в.», М., 1964.

[6] См. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», II, [М.], 1951, стр. 392.

начала века. Можно было бы привести и некоторые другие примеры такого рода. Возможно, что обращение к специальной литературе несколько пополнило бы и самый список интересующих автора слов, а также выявило бы новые синонимические параллели и новые терминологические поиски для ряда понятий [см., например, словарь с переводом новых терминов на латинский язык в книге А. Куницына «Право естественное» (1818) или начало «Лексикона философских предметов» А. Галича (1845); в последнем см., в частности, объяснение слова *абсолютное* через *отнюдное* и др.].

Но сказанным не ограничивается полезность этого источника. Одинаково значимым оказывается здесь и наличие слова в предшествующей специальной литературе и его отсутствие. В последнем случае может возникнуть необходимость в отдельных случаях по-иному осветить процесс семантических преобразований терминологической лексики, анализ которого составляет одну из сильных сторон книги. Вообще значение специальной литературы особенно очевидно в тех случаях, когда в общелитературном языке происходили семантические сдвиги, изменение смысла терминов, создавались переносно-расширительные значения. Ведь если речь идет об изменении значения — из терминологического в нетерминологическое — то, следовательно, это специальное, терминологическое употребление, зафиксированное в специальной литературе, неизбежно вовлекается в сферу внимания исследователя. Правда, можно себе представить и такую схему: термин усваивается общим языком из специального сначала как таковой, а затем происходит его семантическая трансформация; в таком случае самый ранний этап в жизни слова как будто можно и отсечь. Однако такая схема далеко не всегда отразит реальную картину, особенно если речь идет о новых, недавно усвоенных или образованных терминах, которые представляют для автора, естественно, наибольший интерес.

Для характеристики механизма семантических преобразований многих терминов было бы полезным и более широкое привлечение данных, отражающих разговорную речь интеллигенции — в частности, эпистолярные материалы; автор и сам говорит о роли разговорной речи в появлении некоторых образно-переносных применений терминов (стр. 358), но в общем этот источник оказался в работе использованным недостаточно широко.

Особого внимания заслуживает вопрос об интерпретации переносных значений и употреблений в некоторых заимствованных словах. Речь идет о тех случаях, когда переносные значения или употребления совпадают с такими же значениями и употреблениями в языке, из которого произошло заимствование. Вообще Ю. С. Сорокин отмечает иногда случаи, когда «смысловое развитие слова... на русской почве шло следом за его эволюцией в других европейских языках» (например, на стр. 412 о слове *кризис*); допускается и возможность «двойного» (в разное время) заимствования слова — в терминологическом и переносном употреблении — например для слов *параллель*, *параллельный*, *круг* (стр. 369), *пертурбация* (стр. 385). Основанием для таких выводов выступает у автора отсутствие отчетливых смысловых связей между прямым и переносным значениями. А как же все-таки быть в тех случаях, когда такая связь бесспорна, но самый перенос при этом одинаков в разных языках? Принципиально можно, разумеется, допустить и параллельное, независимое развитие значений, но для таких утверждений нужны каждый раз убедительные доказательства. Почему и здесь не допустить возможность «двойного» заимствования? А еще естественнее — и это хорошо согласуется с фактами — предположить в таких случаях, что слово одновременно заимствовалось в разных (необязательно всех) своих значениях или образных употреблениях. И тогда, очевидно, не должна удивлять отмеченная Ю. С. Сорокиным «быстрота, с какой нередко появлялись и наслаивались на исходное терминологическое значение эти образно-литературные осмысления» (стр. 356); вернее, при таком объяснении вообще снимается для данных случаев вопрос о таких «наслаиваниях».

В связи с этим сильное сомнение вызывают замечания автора книги о семантических изменениях или метафорических осмыслениях применительно к таким словам, как *прогресс*, *атмосфера*, *машина* (см. также более раннее *ма́хина*), *микроскопический*, *организм*, *гротеск*, *инерция* и *инертный*, *амальгама*, *кристаллизация*, *аберрация*, *сцена*[7] и некоторым другим заимствованиям, а также и к ряду русских слов, для которых можно предположить явление семантического калькирования («семантической индукции», по терминологии автора) — например, *нуль* (ср. франц. *zéro*), *лихорадка* (также *лихорадочный*, *лихорадочно*; ср. франц. *fébrile*, *fébrilement*), *вопрос* (где помимо соотнесения со словом *проблема* — см. стр. 504 — можно вспомнить и франц. *question*), *допотопный* (см. в этом же значении *антедилювиальный* у Л. Н. Толстого), ранее упоминавшееся *целое*, выражение *звезда первой величины* и некот. др. Не могу согласиться, что слово

[7] В последнем слове речь идет о значении «ссора, столкновение», которое могло оказаться отвлеченным от выражения *устраивать* (*делать*) *сцены*, ср. франц. *faire des scènes*.

машинальный (как и *машинально*) — «производное от слова *машина*», которое «быстро обособилось в своем значении» (см. стр. 385); это, разумеется, заимствование франц. *machinal*, *machinalement*, что легко объясняет тот отмеченный в книге факт, что слово это всегда употреблялось «только как простой синоним слов *безотчетный*, *бессознательный*».

Во всех этих (и некоторых других) случаях, очевидно, нет оснований говорить о появлении переносных значений или образных употреблений на русской почве. Иное дело, что разные значения таких слов при наличии ясных смысловых или образно-метафорических связей между ними могли восприниматься как прямое и переносное, другими словами — что между ними как бы устанавливались соответствующие отношения — но это все же другой вопрос, относящийся ко всей проблеме «семантической индукции» в целом. В любом случае все факты такого рода следует все же выделить из массы тех явлений, когда перед нами бесспорно семантические изменения на русской почве. Это, кстати говоря, полезно и для объяснения тех случаев, когда переносные значения или образные употребления слов совпадают в разных языках лишь частично — см.: например, своеобразие семантических и экспрессивных наслоений на русской почве в словах *прогресс*, *вопрос* и под.

Книга Ю. С. Сорокина дает основание коснуться «проклятого вопроса» лексикологии — вопроса о лексической системе. Соображения, высказанные автором книги по этому поводу, представляют значительный теоретический и практический интерес, хотя и не кажутся бесспорными. Безусловно, важно и плодотворно стремление автора утвердить понятие системности и для истории языка, но вряд ли обоснованно противопоставление в этом отношении диахронии и синхронии, утверждение, что именно в истории языка, а не в отдельный «момент в цепи его непрерывных изменений», обнаруживаются системные ототношения в лексике — в отличие от «тех языковых систем, которые отличаются значительной устойчивостью (например, фонематической системы)» (см. стр. 20—21). Не смешивается ли здесь вопрос о реальных системных связях в языке с методикой лингвистического анализа? Очевидно, что специфические трудности описания лексики как синхронно взятой системы связаны главным образом не с «изменчивой сложностью лексического состава» — любые явления развития можно интерпретировать в терминах и понятиях синхронных отношений — а в своеобразии лексики вообще. В то же время остается бесспорным и для лексики, что собственно системные отношения существуют как отношения синхронические. Иное дело, что историческое изучение, выявляя динамические элементы системы, может в отдельных случаях способствовать более отчетливому обнаружению этих отношений. Ведь и Ю. С. Сорокин говорит о том, что «историческое исследование обнаруживает... становление (разрядка наша.— *В. Л.*) системности в лексике» (стр. 20).

Не вызывает в общем возражения тот факт, что Ю. С. Сорокин уклонился от решения вопроса о лексической системе в целом (и даже склонен отрицать возможность «приписать лексике языка характер сколько-нибудь замкнутой структуры» — стр. 19), заменив его более важным для себя и, может быть, более перспективным и в плане теоретическом вопросом о системных отношениях, системных связях в лексике, охватывающих лишь «ограниченные ряды слов» (правда, автор продолжает пользоваться в исследовании выражением «лексическая система» — это уже не вполне последовательно). Соображения и наблюдения автора по этому поводу весьма существенны и в плане теоретическом и для практической работы в области лексикологии вообще и исторической лексикологии в частности. Может быть, автора можно упрекнуть здесь лишь в том, что, характеризуя разные типы системных отношений в лексике, он не установил их иерархию, их внутреннюю соотнесенность. Но главные сомнения относятся к тому, в какой степени отражены эти системные отношения в описании конкретного материала. Бесспорно и отчетливо выражено стремление автора отразить синонимические и иные связи при рассмотрении судьбы отдельных слов — и это чрезвычайно важно. Но достаточно ли этого для обнаружения системных отношений в лексике? Не должна ли и сама классификация материала в той или иной степени отразить эти отношения? Надо признать, что принципы классификации, группировки слов, принятые в работе, не всегда убедительны. Уже самое основное деление — на лексические заимствования, лексические новообразования, семантические изменения — при всей своей удобности — отчасти нарушают системные отношения, поскольку эти процессы соотнесительны, что нередко проявляется в конкретных синонимических рядах или даже в сериях таких рядов. Ведь в конце концов эти три процесса присутствуют в литературном языке в любой период его развития, и важно раскрыть своеобразие их отношений в исследуемую эпоху — и не только количественно, установив преобладание того или иного процесса, но и качественно, определив внутренние их связи, их взаимодействие. Автор время от времени перебрасывает мостики между этими явлениями — но этого явно недостаточно. Можно заметить, что автору трудно выдержать намеченную им груп-

пировку: так, в раздел о заимствованиях попадает и изложение собственно семантических процессов — например на стр. 70 и далее (см. на стр. 70: «Ниже на примере истории отдельных слов этого ряда мы и хотим представить некоторые характерные моменты этой семантической эволюции их»). Рассмотрение материала по словообразовательным элементам в разделе о новообразованиях неизбежно размывает границу между заимствованием и собственно новообразованием и т. д.

Но основные трудности возникают при группировке материала внутри этих основных разделов. Здесь с трудом прослеживаются устойчивые принципы такой группировки и поэтому некоторые перечни слов кажутся составленными по несколько «внешним» приметам. В разделе о заимствованиях строго выдерживается исторический принцип — разграничены заимствования 30—40-х годов и 60—70-х годов, а внутри каждой из этих групп дана тематическая классификация материала. Во второй главе эти аспекты сильно затушеваны и подчинены собственно словообразовательной группировке — по суффиксам, по частям речи, отдельно даны сложные слова и т. д. Вообще в этом разделе позиция автора не вполне ясна — собственно лексикологический и словообразовательный (грамматический) подходы к материалу оказались здесь в противоречии друг с другом; вернее, лексикологический анализ материала не вполне органически совместился со словообразовательной его группировкой. Поэтому не всегда ясно, идет ли речь о степени продуктивности той или иной словообразовательной модели или же о судьбе конкретных слов. В разделе о семантических изменениях (гл. III) — наиболее обширном и, на мой взгляд, самом интересном и богатом наблюдениями и выводами — чужеродным телом выглядит параграф о проникновении в литературный язык просторечной лексики. Можно было бы высказать некоторые сомнения и относительно других группировок материала в этой главе.

Говоря обо всем этом, я далек от мысли упрекать Ю. С. Сорокина в непоследовательности и других грехах подобного рода. Лексиколог поймет, с какими трудностями столкнулся исследователь, которому предстояло привести в порядок колоссальный и разнообразный материал, представленный в книге. Это как раз один из тех случаев, когда критиковать легко, а предложить что-либо конструктивное трудно. Я хочу лишь сказать, что выбранная автором группировка, обладая определенными достоинствами, прежде всего удобством, в то же время порой затушевывает то, что вообще-то представлялось автору важным,— системные отношения в лексике. Может быть, следовало шире и свободнее прибегать к перекрещиванию разных группировок, к системе отсылок и сопоставлений, чтобы отразить и восстановить эти нарушенные системные связи.

Представленный в книге материал слишком обширен, чтобы можно было обозреть его в пределах небольшой рецензии. Неотмеченными остались многие важные выводы и наблюдения, которыми богата книга Ю. С. Сорокина. Не высказаны и некоторые возражения как общего, так и частного характера[8]. То, что представлено здесь — это лишь некоторые соображения, которые возникают при чтении этого интересного и чрезвычайно важного для науки о русском языке исследования.

В. Д. Левин

[8] Не могу удержаться все же, чтобы не возразить автору относительно того, будто бы «периодизация истории литературного языка строится преимущественно на изменениях его словарного состава» (стр. 4). Полагаю, что здесь неверна сама постановка вопроса: периодизация истории литературного языка вообще не может опираться на изменения в пределах какого-либо одного его уровня.

J. Németh. **Die Türken von Vidin.** Sprache, Folklore, Religion.— Akadémiai Kiadó. Budapest, 1965. 420 стр. («Bibliotheca Orientalis Hungarica», X).

Новая книга венгерского тюрколога акад. Ю. Немета — результат почти сорокалетнего труда — посвящена языку, фольклору, верованиям тюркоязычного населения Видина (и его окрестностей), небольшого болгарского города на берегу Дуная. Эта прекрасно изданная книга состоит из следующих основных разделов: предисловие (стр. 5—10), введение (стр. 11—19), грамматика (стр. 21—115), тексты (стр. 119—373), словарь (стр. 377—413), использованная литература (стр. 414—416).

Краткие сведения об истории Видина, возникшего еще в римское время и известного в ту пору под именем Бонония, содержатся в предисловии (стр. 5—10). Главный город западноболгарского княжества Видин в 1396 г. был завоеван турками. Считая тюркоязычное население Видина давним, автор оставляет без ответа вопрос: когда оно возникло. Между тем вопросы истории тюркизации Балкан и, в частности, бассейна нижнего течения

Дуная представляют большой исторический интерес.

Здесь же Ю. Немет вкратце характеризует три тюркских говора, которые представлены в Видине. Первый — тюркский язык цыган, которым автор специально не занимался и который по предварительным наблюдениям близок к народному общеупотребительному языку. Второй — османский говор, на котором говорят в Видине и который является общеупотребительным языком; автор имел немало случаев встречаться с представителями этого говора, но не заметил ничего достойного внимания, тем более, что носители этого говора происходят из самых различных местностей и в их языке нет никаких новых образований; они говорят на общеупотребительном языке (die Gemeinsprache), который они изучали в школе. Женщины — представительницы этого говора часто вместо персидских и арабских слов употребляют тюркские слова и народные выражения. Влияние болгарского языка на этот говор весьма значительно (стр. 6). Третий — тюркский говор, на котором говорят в Видине,— старый видинский народно-разговорный язык, представляющий собой разновидность общетурецкого языка как один из диалектов Анатолии. Но из какой области или областей Османской империи происходит население Видина, исторических известий не сохранилось. Этот видинский народно-разговорный язык и является предметом исследования Ю. Немета (стр. 7).

Досадная терминологическая неточность мешает уяснить, почему среди трех die türkische Mundarten первое место занимает die türkische Sprache der Zigeuner. С другой стороны, важное значение приобретает использование термина «türkische» — «турецкий» или «тюркский»? Думается, что уместнее было бы вообще говорить о тюркских, а не турецких говорах Болгарии и Балканского полуострова в целом, так как они давно уже (почти сто лет!) утратили непосредственные контакты с турецким языком и его диалектами и развиваются самостоятельно во взаимодействии со славянскими, румынским, венгерским, албанским языками.

Изучение говоров Видина, по мнению автора, дает ключ к классификации тюркских говоров Балканского полуострова. Говор Видина характеризуется следующими главными фонетическими особенностями: 1) *ı-*, *-u*, *-ü* в аусланте заменяются через *-i*: *qizi* «его дочь» (стамбульская форма: *qızı*; под Stambuler Form, вероятно, понимаются формы старого турецкого литературного языка); *küpri* «мост» (стамб. *köprü*); 2) показатель претерита имеет только одну форму: *-miş* (стамб.: *-mış*, *-miş*, *-muş*, *-müş*): *almiş* «он взял»; *uyumiş* «он спал»; 3) стамбульским формам типа *evinde* «в его доме», *benim* «мой» в Видине соответствуют формы *evinde*, *benim*; 4) гласные *ö*, *ü* заменяются через *o*(*ò*), *u*(*ù*); 5) суффиксы *-lar*, *-ler* часто имеют одну форму (в нарушение закона гармонии гласных): *tutarler* «они держат»; 6) староосманский *ö* превращается в целом ряде слов в *u*, *ù*: *kùpri* «мост»; *ul-* (стамб. *öl-*) «умирать»; 7) староосманский *-ġ-*, *-g-* сохраняется: *aġac* «дерево»; *begen-* «одобрять; нравиться» (стамб. *aaç*, *beyen-*); 8) презенс на *-yor-* заменяется формой на *-y-*: *sevey* «он любит», *baqay* «он смотрит» (стр. 7).

Эти особенности наблюдаются к западу от линии, которой можно соединить Лом (к востоку от Видина) — Софию, по всему Балканскому полуострову, вплоть до Адриатического моря. Восточнорумелийские говоры весьма значительно отличаются от западнорумелийских говоров, при этом, конечно, существуют и переходные говоры. Восемь указанных выше особенностей наиболее ярко выражены, кроме западнорумелийских областей, в северо-анатолийской части османско-турецкой языковой области. Автор придерживается того мнения, что Восточная Румелия в свое время была заселена турками из северо-западной Анатолии, в то время как в заселении Западной Румелии (XV в.) значительную роль играли жители северо-восточной Анатолии (стр. 7—8).

Во время господства турок, продолжает Ю. Немет, в Видине, конечно, говорили по-турецки; но здесь слышались и другие языки; так Эвлия Челеби, знаменитый турецкий путешественник XVII в., писал, что здесь говорили по-боснийски, по-болгарски, по-сербски и по-валахски. Тюркское население Видина в настоящее время говорит также и по-болгарски. Это двуязычие способствует проникновению болгарских элементов в тюркский говор Видина; важно отметить заимствование болгарского звука *ц*(*ts*). Иных проявлений воздействия болгарского языка на турецкий говор Видина в области фонетики Ю. Немет не отмечает. Изменения *ö* > *ò*, *ü* > *ù* нельзя, по мнению автора, приписать болгарскому влиянию: они свойственны в известной мере западнорумелийским говорам, исторически связаным с говорами северо-западной Анатолии. Фонетическая система балканско-тюркских говоров в основном не носит на себе следов влияния балканских языков и в то же время имеет прямое отношение к анатолийским диалектам.

Наиболее существенное влияние болгарского языка на видинский говор наблюдается в лексике, синтаксисе, а также в заимствовании из болгарского языка некоторых именных словообразовательных суффиксов, используемых при тюркских исходных основах (см. об этом стр. 79—80).

Введение (стр. 11—19) открывается краткой справкой «К истории изучения» автором и другими учеными тюркских

говоров Балканского полуострова[1]. На стр. 12—14 приведена обстоятельная библиография, которая послужит надежным подспорьем для последующих исследователей тюркских говоров Балканского полуострова.

Здесь же подробно рассказывается об информантах автора и особенно — об его основной информантке — Хаджер-абла (стр. 14—15). Произношение Хаджер-абла (записанное на слух!) является для автора эталоном видинского говора; см., например: «От Хаджер-аблы я не слышал звука *ä*» (стр. 26). В разделе «Записывание и проверка текстов» (стр. 15—18) излагается не столько метод записывания и проверка текстов, сколько описываются особенности характера основных информантов.

Транскрипция (стр. 18—19) для записей текста основывается на системе знаков, использованной в известном справочнике «Philologiae Turcicae Fundamenta», I (Wiesbaden, 1959), с введением в нее некоторых букв из современного турецкого алфавита (таких, как *ş*, *ç*, *c*).

Раздел «Грамматика» (стр. 21—115) начинается с обстоятельного описания гласных и согласных звуков исследуемого говора. Гласные фонемы — *a*, *e*, *ı*, *i*, *u*, *u*~*ü* (во всех слогах), *o*, *o*~*ȯ* (только в первом слоге) — имеют значительное число факультативных вариантов. В говоре Видина существуют два *u* и два *o*: 1) соответствующие староосманским *u*, *o*, например, в словах: *buz* «лед», *oq* «стрела»; 2) соответствующие староосманским *ü*, *ö*, например, в словах: *uç* «три», *dort* «четыре», редко — под воздействием общеупотребительного языка (der Gemeinsprache) — *üç*, *dört* или даже *üç*, *dört* (=ст.-осм. *üç*, *dört*). Местн. падеж от этих четырех слов звучит: *buzda*, *oqta*, *uşte*, *dortte*. Кроме того, фонема *u*~*ü* конвергируется не только со ст.-осм. *ü*, но также и со ст.-осм. *ö*, а потому в видинском говоре спорадически *ö* > *ü* (>*ü*, *u*) (стр. 25; см. еще стр. 27—30). Это явление широко известно во многих тюркских языках[2].

В отношении долготы гласных, систематически еще не изученной в турецком языке, автору приходится ограничиваться регистрацией лишь следующих фактов. Гласные в говоре, как правило, краткие; однако нередко, особенно в арабских и персидских словах, в эмфатических формах, в восклицаниях, в случаях стяжений слышатся более или менее отчетливо долгие гласные (стр. 30); в слове *kadın* «женщина» автор неоднократно имел возможность фиксировать долгое *ā*, что перекликается с центральноанатолийскими записями М. Рясянена, который в этом слове отмечал долгий или полудолгий *a*. Приводится еще несколько слов — тюркских, арабских, персидских, в которых ухо автора улавливало долготу гласного *ā* (стр. 30—31); при этом Ю. Немет справедливо полагает, что первичная долгота гласных *ā*, *ū*, *ī* присуща только арабским и персидским заимствованиям. Он считает долгие гласные в говоре Видина не фонемами, а лишь вариантами фонем; долгота гласного только в редких случаях имеет здесь смыслоразличительное значение: *sat-* «продай», *sāt* (< *sahat*) «часы».

Значительный интерес для общей тюркологии представляет раздел «История вокализма первого слога» (стр. 31—41), в котором на большом, хорошо систематизированном материале излагаются многие тонкие наблюдения о природе и характере ряда гласных в первом слоге; особый интерес представляет наблюдение Ю. Немета над гласными *e* (стр. 32—33) и *ö* > *ü* (стр. 33 и сл.). В видинском говоре гласный *ö* османского литературного языка переходит в ряд широких губных *o*, *ȯ*, *ö* или в ряд узких губных: *ö* > *u*, *ü*, *ü* (стр. 33—39); но перехода *o* > *u* видинский говор не знает (стр. 35), хотя в других балканских тюркских говорах это явление известно, например: *uyun* < *oyun* «игра» (Ада-кале). Отмечаются также существующие в первом слоге явления дифтонгизации, монофтонгизации (стр. 40), а также спорадические явления переходов *ı* > *u*, *o* > *i*, *ı* > *i*, *e* > *ė* > *i* (стр. 40—41).

В разделе «История вокализма непервых слогов» (стр. 41—42) находим важное методическое указание на то, что вокализм непервых слогов в тюркских языках (im Türkischen) в основном определяется законом гармонии гласных и нивелированием гласного состава слова. Невозможно, заявляет автор, исследовать историю вокализма непервых слогов в тюркских корневых словах без применения основных положений закона гармонии гласных (стр. 41).

Гармония гласных в видинском говоре, как указывает автор, в результате изменений *ö* > *o*, *ü* > *u*, *ö* > *u* имеет своеобразные формы проявления: *soyle-* «говорить», *oyle*, *boyle* «так», *burek* «пирожок», *bubrek* «почка» и т. п. С другой стороны, имеются такие формы, как: *güzal* «красивый», *verälım* «дадим-ка», а также: *küçuq*, *küçuq* «маленький», *dişarda* «вне», *ari* «пчела» и т. п., имеющие в своем составе передние и задние гласные. К сожалению, Ю. Немет ограничился лишь констатацией факта систе-

[1] Более подробное изложение см. в ранее вышедших работах автора — J. Németh, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956, стр. 3—9; его же, Traces of the Turkish language in Albania, «Acta orient. Hung.», XIII, 1—2, 1961.

[2] См.: М. Рясянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 55—58.

матического нарушения (в сравнении с турецким литературным языком) принципов небного — ненебного притяжения, не сделав из этих фактов никаких выводов для истории развития вокализма говора, для истории закона гармонии гласных. По всей вероятности, причина изменения гласных лежит в качестве согласных видинского (и других балканских и анатолийских) говоров.

Палатальная гармония в тюркских корневых словах (стр. 42—44) в непервых слогах представлена следующими соответствиями *i* — *ı*, *ü* — *u*, *ü*.

Гласный *i* во втором слоге сохраняется: *erik* «слива», *gemik* «кость», *gelin* «невеста», *zengin* (< араб.) «богатый»; иногда же (в каких именно условиях, необъяснено) *i* > *ı*: *izın* «разрешение» *kilım* «ковер», *peynır* «сыр», *getır-* «приносить» (стр. 42). Здесь же (стр. 43) приводятся и другие чередования гласных, нарушающие палатальную гармонию в корневых словах: *a* > *e*: *so'be* «комната» (ср. стамб. *so'ba* «печь»); *ı* > *i* (после *y*, *ş*, *ç*, *c*): *qaşik'* «ложка» (ср. турецк. *qaşıq*); *ü* > *u*, *ü*: *buyucek* «довольно большой» (ср. турецк. *büyük* «большой»), *yuzuq* «кольцо» (ср. турецк. *yüzük*).

Описывая явления палатальной аттракции в суффиксах с широкими гласными (стр. 44—49), Ю. Немет отмечает, что суффиксы дат., местн., исходн. падежей после слов с задними гласными обычно имеют гласный *a*, после слов с передними гласными обычно имеют гласный *e*; случается, однако, что гласный *e* следует здесь после основ с задними гласными: наряду с *doqsana* «до девяти» слышится *one qadar* «до десяти», *altiye qadar* «до шести», *qaçe* «за сколько?». Такую же пеструю картину дают примеры с местн. и исходн. падежами (стр. 44), а также с суффиксом мн. числа (*-lar*, *-ler*), с суффиксом условного наклонения (*-sa*, *-se*) и рядом других глагольных и именных суффиксов. Подобные явления наблюдаются в целом ряде тюркских говоров Балканского полуострова и Анатолии (см. стр. 44—49).

Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на регулярные переходы *ö* > *o*, *ü* > *u*, *i* > *ı* в основах, суффиксы, к ним присоединяющиеся, сохраняют переднюю огласовку (*e*): *dorde* «к четырем», *dortte gàl* «приходи в четыре»; *küçuqler* «малыши», *bizım dugünumuzden* «от нашей свадьбы», *surmek* «гнать»; *evımıze* «в наш дом» (стр. 47—48).

Задний гласный может следовать за передним гласным как в самой основе слова, так и в суффиксе: *sevmà* ~ *sevma* «не люби», *güzal* «красивый» (стр. 48—49).

При описании палатальной аттракции в суффиксах с узкими гласными (стр. 49—55) отмечаются по существу те же явления, что и в предыдущем разделе: передние гласные следуют за задними гласными: *alti* «шесть», *elmayi* «яблоко» (вин. п.), *atlari* «его лошади», *uyki* «сон», *buni* «его», *quş-mi* «птица?»

Слова с конечным *i* (в стамбульском диалекте им соответствуют окончания *-ı*, *-u*, *-i*, *-ü*) при суффиксации представляют довольно пеструю картину в плане проявления гармонии гласных: 1) *qari* «женщина», *qarinın* «женщины» (род. п.), *qati* «твердый», *qatilan-* «твердеть»; но: *verdi-ler* «они дали», *aldi-ler* «они взяли»; 2) суффикс принадлежности 3-го лица *-si* в косвенных падежах переходит в *-sı*: *atasi* «его отец», *atasının* «его отца»; *ninesi* «его мать», *ninesının* «его матери»; 3) конечный узкий гласный *i* (=стамб. *u*, *ü*) сохраняется: *küpri-nın* «моста»; но: *vurdi-ler* «они ударили», *gördi-ler* «они увидели»; 4) суффикс принадлежности 3-го лица *i* в косвенных падежах переходит в *u*: *yoli* «его путь», но *yolunda* «на его пути», *yuzi* «его лицо», но *yuzunde* «на его лице». Ср. еще: *arabasi* «его арба», *arabasını* «его арбу»; *qabuqlari* «их скорлупа», *qabuqlarini* «их скорлупу» (стр. 51).

Гласный *i* в составе суффиксов в инлауте переходит в *ı* (особенно часто после согласных *y*, *ş*, *ç*, *c*): *kesıq*, *senelıq*, *evim*, *benım* (стр. 52—53). Это же явление наблюдается в суффиксах сказуемости и глагольных формах: *asker-ım* «я солдат»; *var-idım* «я имелся, был»; *isterım* «я хочу»; *versın* «пусть даст» (стр. 53—55).

Губная и негубная аттракция (стр. 56—60) видинского говора подчиняется тем же правилам, что и в общеупотребительном языке. В формах презенса на *-y* губное притяжение не действует: *vuriy* «он бьет», *oturiy* «он сидит».

Затем приводятся многочисленные примеры на изменения состава гласных в заимствованных словах, а также примеры, иллюстрирующие явления лабиализации (*sabur-luq* «терпение», стамб. *sabırlık*) и делабиализации (*henız* «еще», стамб. *henüz* и т. п.; см. стр. 57—58). Подробно рассматривается влияние согласных *y*, *ş*, *c*, *ç* на гласные *ı*(*a*) (стр. 58—60): 1) в соседстве с *y* староосманский *ı* в говоре переходит в *i*: *yilan*, *ilan* (<*yılan*) «змея», *aliy* «он берет»; 2) в то же время гласный *ı* (в соседстве с указанными согласными) сохраняется: *yıl* «год», *yirla-* «петь песни»; 3) регулярный переход староосманского гласного *i* > *ı* в соседстве с согласным *y* нарушается: *şeyini* «его вещь» (вин. п.), *isteyim* «я хочу» и т. п.; 4) *i* > *ı* в соседстве с *y*: *beyım* «мой бей» и т. п.

Согласные фонемы (стр. 60—76) описаны тщательно и подробно при непременном сопоставлении и сравнении с согласными других балканских говоров, причем главное внимание обращается на отличия видинского говора от турецкого литературного языка.

Среди особенностей консонантизма видинского говора отмечены переход *b* > *w*: *bayquş* > *wayquş* (стр. 60), особый характер *k*, *g*, возникший в связи с тем, что *ö* > *ȯ* ~ *o*, *ü* > *ü̇* ~ *u*: *kȯpek* «со-

бака» (<*köpek*), *kül* «зола» (<*kül*) (стр. 61), а также особый характер *l* (стр. 63), выраженный, главным образом, в замене латерального *l* велярным.

Ряд интересных наблюдений читатель найдет в разделе «История консонантизма в тюркских словах» (стр. 64—69). Здесь отмечается: 1) преобладание звонких согласных в анлауте (по сравнению с турецким литературным языком): *bunar* «источник» = турецк. *pınar*; *dembel* «ленивый» = турецк. *tembel*; *garga* «ворона» = = турецк. *karga*; 2) утрата *y* в анлауте; группа *yı* часто переходит в *i*: *ilan*, *yilan* «змея»; *iqa-* «мыть» = турецк. *yıka-*; 3) староосманский *ǵ*, *g* в интервокальной позиции перед согласными и в ауслауте в видинском говоре, как и вообще в западнорумелийских говорах, сохраняется: *ağlamağa* «чтобы плакать»; *babacığ ım* «мой папенька»; *ayağa* «на ногу»; однако уменьшительный суффикс *-cağız*, *-ceğiz* > *-caz*, *-cez*; 4) староосманский*-*b*-, *-*b* в видинском говоре, как во всей Румелии, переходит в *n*; 5) геминация интервокальных согласных (в тюркских и заимствованных словах): *olla* ~ *ola* «пусть будет», *salli* «вторник» = турецк. *salı*; *külla*^{h}, *külla* «головной убор» = турецк. *külâh*; 6) оглушение звонких согласных в ауслауте (*gitmes* «не уйдет», *otus* «тридцать»); 7) переход *n* > *m* в ауслауте: *qurşun* > *qurşum* «свинец»; 8) падение *k* в ауслауте: *urumce* «паук» = турецк. *örümcek*, *mubāre* «святой» = турецк. *mübārek*.

В разделе «Группы согласных» (стр. 70—72) описываются явления: 1) ассимиляция: *-nl-* > *-nn-* (*bunnar* «эти»), *-md-* > >*-nd-* (*şindi* < *şimdi* «теперь»); 2) диссимиляция: *-pm-* > *-km-* (*serkme* «рыбачий невод» < *serpme*), *-nc-* > *-mc* (*qarımce* «муравей» ~ *karınca*), *-nd-* > *-nt-*, *-ld-* > *-lt-* [в случае присоединения суффикса понудит. залога *-dır*: *ewlentirmek* «женить», *sevintirmek* «обрадовать»; *ayıltırmaq* «приводить в сознание»); ср.: *sunder-* (= *sönder-*) «тушить», *dunder-* (= *döndür-*) «вращать» (стр. 80)]; согласный *ç* (перед *t*, *d*) переходит в *ş* (*qaştın* «ты убежал» < *qaçtın*, *ağaştan* «с дерева» < *ağaçtan*), группа *-çl-* > *-şl-* (*güşluq* «трудность» < < *güçlük*); 3) падение *l*, *r*, *n*, перед согласными (*külver-* ~ *küver-* «отпускать», *avurt* > > *avut* «внутренняя сторона щеки», *sonra* > *sora* «после»).

В разделе «История согласных в заимствованных словах» (стр. 72—76) рассматриваются следующие явления: 1) интервокальный *b* > *m* (*namız* «пульс» < *nabiz*); 2) анлаутный *p-* > *b-*; 3) *k*, *q* в анлауте переходят в *g*, *g'*; 4) в инлауте и ауслауте *d* > *z* (*Ferid* > *Feriz*, *ümīd* ~ *ümīz* «надежда»); 5) *f* > *p*, *v* (*fayton* > *payton* «фаэтон», *mutfaq* > *mutvaq* «кухня»), *s* в анлауте переходит в *z* (*san'at* > *zanaat* > > *zanat* «искусство»); *ş* > *ç* (*şimendifer* > > *çimendifer* «железная дорога»); 6) согласный *h* в видинском говоре, как и в турецком языке, подвержен различным изменениям: а) в анлауте *h* > ∅ (*àdi* < *hàdi* «айда»; *angi* < *hangi* «какой, который»), б) в инлауте в позиции: гласный + *h* + + согласный —*h* подвергается элизии (*anahtar*, *anatar* «ключ», *dā* «еще» < *daha*); в) элизия *h* в ауслауте (*ifla ol* «будь счастлив, благополучен» < *iflâh ol*). Зарегистрировано (но не объяснено!) наличие «вторичного» *h* в анлауте и инлауте — *hebcet* < *ebcet* «букварь», *mahtem*, *mâtem* «траур»; 6) среди носовых и плавных рассматривается происходящий иногда переход *r* > *l* (*tülbe* «мавзолей» < *türbe*); 7) замещение арабского согласного «айн», как правило, происходит по тем же правилам, что и в турецком литературном языке, за исключением двух слов — *maqsım* «ребенок» < *ma'sūm*; *midde* «желудок» < *mi'de*; 8) геминированные согласные *-kk-*, *-ll-*, *-nn-* в заимствованных словах сохраняются (*Mekka*, *tekke*, *allah*); геминированные *-rr-*, *-vv-* часто упрощаются (*kere* < *kerre* «раз»; *evel* < *evvel* «первый»). Два согласных в анлауте нередко сохраняются: *praznik* < болг. *празник*; два согласных в ауслауте основы подвергаются акопированию: *ras-la-* «встречаться» < *rast-la-* и др.

Кратко освещаются явления гаплологии (*şinden sora* «после этого времени» < *şimdiden sonra*) и сокращения слов (Worterkürzung): *qa*, *qā* «до» < *qadar*), а также ударение и явления сандхи (стр. 76—77).

Морфология (стр. 78—107), изложенная весьма кратко, начинается со словообразования, где перечисляются лишь отдельные суффиксы, такие, как *-caz/-cez/-cas/-ces* (< *-cağız/-ceğiz*), *-caq/-cıq*, *-ş*, *-et*, *-ki*, *-luq*, *-raq*, а также суффиксы, заимствованные из болгарского языка (стр. 79—80). Привлекает внимание суффикс *-ş*, который используется в двух функциях: а) имя деятеля (*tekkeş* «служитель в текке»); по мнению автора это сербскохорватское образование. Возможно предположить, что *-ş* < *-çi/-ci* = Nomen agentis; б) уменьшительно-ласкательная форма имен существительных: *Memiş* «Мехмедушка»; *Ahmaş*, *Ahmetaş* «Ахмедушка»; сюда же надо отнести и слово *čergaš* «цыганский шатер» (уменьшительная форма от *čerga* = турецк. *çerge*). Второе значение аффикса *ş-* — уменьшительное — известно в ряде тюркских языков (казахский, туркменский и некот. др.).

В разделе «Имена» (стр. 81—84) рассматриваются: 1) инструменталис на *-ın*; 2) использование двойного суффикса принадлежности (*sāhibisi*, *birisi*); 3) отсутствие местоименного *-n* при склонении суффиксальных образований на *-ki* (*sırtındakiyi* «того, кто находится на его спине»); 4) суффиксы *-ce*, *-cene* (не подчиняются гармонии гласных); 5) *-raq* — суффикс сравнительной степени прилагательных; 6) послелоги: *den*(<*değin*) *ile*,

qadar, *sonra*, *sıra*, *çā-ki* (— *qadar*); 7) местоимения (лишь некоторые замечания); 8) числительные (порядковые, разделительные).

В разделе «Глагол» (стр. 84—91) рассматриваются: 1) вспомогательный глагол *i-* «быть»; 2) презенс на *-y*: *sora'yim* «я спрашиваю»; *seve 'yim* «я люблю»; 3) презенс на *-yr* (употребляется только в 1-м лице ед. и мн. числа): *yapayrım* «я делаю», *yapayrız* «мы делаем»; формы невозможности: *bulamayırım* «я не могу найти»; 4) для презенса на *-yor*, который в говоре отсутствует, приведены лишь два примера; 5) аорист на *-r* (употребляется редко); 6) претеритум дефинитум: *aldım* «я взял»; 7) претеритум индефинитум (его образует суффикс *-miş* — всегда с одной огласовкой): *almişım* «я брал»; в окрестностях Видина (в Ломе, Акчаре) 1-е лицо мн. числа имеет форму *almişik* «мы брали»; 8) футурум на *-acak*: *olacam*, *tutacan*; *o'lmaycaq*; 9) оптатив: *geleyi'm* «пойду-ка я»; 10) условное наклонение: *g'ālsā* «если придет»; 11) повелительное наклонение: наряду с обычными формами отмечаются так называемые «распространенные» формы, например: *baq-a* «смотри-ка!», *gel-e* «иди-ка сюда!»; зарегистрированная здесь форма типа *alsa'na'ya* «бери же» представляет собой, видимо, условную форму + *a* + + *ya*, которая широко известна в ряде тюркских языков (в том числе и в турецком); 12) деепричастия: *-ali*, *-araqtan*, *-anā qadar*, *-dığı'nce*, *-dınnen*, *-ıcaq*, *-ıp-*, *-masi'nnen*, *-anda*.

В разделе «Semantisches zur Wortlehre» (стр. 91—97) освещаются некоторые синтаксические функции отдельных морфологических категорий (краткие сведения об употреблении указательных местоимений *bu* — *o*, о суффиксе принадлежности 3-го лица, о синтаксисе падежей, об употреблении глагольных форм), что, конечно, уместнее было бы сделать в «Синтаксисе». Особый интерес представляют здесь наблюдения над употреблением форм ед. и мн. чисел (стр. 91—92), например, употребление числительного *bir* при существительном с суффиксом *-lar*: *ben bir saraylar yaptırdım* «я приказал построить дворец».

Раздел «Эмфатические формы» (стр. 98—104) содержит сведения: 1) об эмфатическом ударении согласных (*buqqadar*, *oqqadar* с ударением на первом слоге!); 2) об эмфатической долготе гласных (*tilki qardā·š* «бра-а-тец лис!»); 3) эмфатическое смещение ударения: *gīder gīder* «он идет, идет (долгое время)»; в двухсложных словах при обращении ударение чаще бывает на последнем слоге (*baba'* «оте-е-ц»), иногда смещается на первый слог (*a'nne* «ба-а-бушка!»); в многосложных словах и сложных словах при обращении наблюдаются подвижные ударения (*çoçu'gum* «дитя мое», *nineci'gim* «милая моя маменька!»); 4) императивные формы: ударение смещается на первый слог; 5) эмфатическая отрицательная форма глагола, в отличие от спокойно-повествовательной речи, имеет ударение на суффиксе *-ma*, *-me*: *gitme·yiz* «мы не подойдем!»; 6) частные случаи смещения ударения.

В разделе «Формы других говоров» (стр. 105—107) излагаются наблюдения над влиянием других тюркских говоров на говоры Видина, над взаимодействием балканских тюркских говоров и турецкого литературного языка. Видинский говор — в части фонетики — являет картину довольно пеструю: он обладает многими характерными чертами тюркских говоров Балканского полуострова с одной стороны, и турецкого литературного языка, с другой стороны.

«Синтаксис» (стр. 108—115) открывается разделом «Сложное предложение», во введении к которому отмечается большое влияние болгарского языка на синтаксис видинского говора.

Паратаксис и гипотаксис иллюстрируются рядом интересных примеров; гипотаксис делится на два типа: 1) без союза: *lāzım beklesin* «он должен ждать» (буквально: «необходимо пусть он ждет»); 2) с союзом *ki(m)*. Здесь же рассматриваются: а) придаточные предложения места: *pādişah nerde var*, *bizi oraya gütur* «веди нас туда, где находится падишах»; б) придаточные предложения времени (с союзами и без союзов); в) придаточные предложения причины; д) придаточные предложения цели; е) придаточное определительное предложение. Примечательной особенностью всех этих придаточных предложений (видимо, под влиянием болгарского языка) является использование в качестве подчинительного союза указательного местоимения *ne* «что» (вместо *ki*): *qaynana verir küpeleri o qadının eline, ne qızi getirmiş* (стр. 111) «Теща отдает серьги в руки той женщины, что (= которая) привела девушку».

Порядок слов в предложении (стр. 113—115) отчетливо отражает влияние болгарского синтаксиса, что особенно проявляется в различных формах инверсий (постановка сказуемого на первое место в предложении, определяемого перед определением; использование послелога фактически в качестве предлога и др.).

Раздел «Синтаксис» заканчивается обзором примеров, иллюстрирующих некоторые особенности связей между предложениями, входящими в состав сложного предложения (Vermengung von Sätzen, Anakoluthe, стр. 115).

Фонетико-грамматическая часть труда Ю. Немета, дающая представление об основных особенностях фонетического и грамматического строя видинского говора, является своего рода введением к основной части книги — текстам, иллюстрирующим исследуемый говор и освещающим некоторые стороны старой духовной культуры носителей видинского говора.

Тексты (стр. 117—337, параллельно к ним дается немецкий перевод) представлены следующими разделами: 1) фольклор (Volksdichtuhg): а) сказки, б) повести, в) песни, г) загадки; 2) этнография (Türkisches Leben in Vidin): а) рождение и воспитание ребенка; детские игры и пр.; б) свадебные обряды, песни; в) народная медицина (Heilverfahren); г) верования: праздники, дервишизм и святые места; и др.

Превосходно записанные и переведенные Ю. Неметом тексты послужат надежным источником для изучения балкано-тюркского фольклора; особое значение эти тексты имеют для сравнительно-исторических исследований в области анатолийско-турецкой и балкано-тюркской народной литературы, а также для установления взаимодействия тюркского и южнославянского фольклора.

К текстам приложен «Словарь» (стр. 375—413), во введении к которому автор указывает, что словарный запас видинского говора в основном не отличается от словаря общеупотребительного языка; те же слова, которые отсутствуют в общеупотребительном языке, обычно имеются в анатолийских говорах. В словаре представлены также многочисленные заимствования из болгарского, румынского, сербского и венгерского языков.

«Словарь» содержит в первую очередь заслуживающие внимания слова и словоформы из текстов (стр. 377). В «Словарь» включены также слова, которые автор зарегистрировал помимо текстов. В тех случаях, когда какое-либо слово в видинском говоре имеет особое значение, указывается только это особое значение. В словаре зарегистрированы все фонетические формы каждого слова, отмечены долготы, некоторые, преимущественно технические термины иллюстрируются поясняющими рисунками. Словарь составлен превосходно и может служить образцом для «частных» словарей.

Заканчивая обзор труда Ю. Немета, вводящего в научный обиход новый диалектологический материал с грамматическим очерком и первоклассным словарем, должен сказать, что рецензируемая книга по насыщенности сведений о всех тюркских диалектах Балканского полуострова и почти исчерпывающим библиографическим справкам, приведенным в первой части книги, является единственным в своем роде пособием для изучения балканских тюркских диалектов; хочется думать, что она послужит образцом для всех последующих работ в этой области.

А. Н. Кононов

И. К. Кусикьян. **Изменения в словарном составе литературного армянского языка советского периода.** — М., изд-во «Наука», 1964. 138 стр.

Труд И. К. Кусикьяна «Изменения в словарном составе литературного армянского языка советского периода» представляет большую научную ценность. И. К. Кусикьян убедительно показывает изменения, происходившие и происходящие в словарном составе литературного армянского языка советского периода, показывает, что армянский язык не чуждался нововведений и заимствований, в особенности в области терминотворчества. В I главе (стр. 10—20) автор дает обзор о происшедших во все эпохи в словарном составе армянского языка изменениях, как общего, так и частного характера.

В III главе (главная часть труда) автор отмечает, что под влиянием Великой Октябрьской революции изменилась экономика, культура, идеология, быт, психология армянского народа. Все это отразилось и на словарном составе армянского языка и количественно, и качественно, и функционально. Новая государственность, новое общество возложили такие функции на армянский язык, что он не смог обойтись старым запасом слов. Армянский язык стал государственным языком Армянской ССР, был создан государственный аппарат. Это порождало потребность в специальной терминологии. На развитие словарного состава армянского языка, в особенности в его терминологической части, оказал сильное влияние русский язык. Был организован терминологический комитет, изданы общие и терминологические словари.

Затем отмечается, что в современном армянском языке наиболее продуктивным стал способ образования слов по русским образцам. Несмотря на продуктивность префиксального образования социально-экономических терминов в армянском языке советского периода, все же доминирующим фактором является древнейший способ — суффиксация. Из наиболее продуктивных суффиксов в современном словообразовании автор указывает на следующие: 1) отыменные: *-ац*, *-аци*, *-ард*, *-ат*, *-бар*, *-авор*, *-от*, *-орд*, *-орэн*; 2) отглагольные: *-ец*, *-ен*, *-оц*, *-уц*, *-в*. Суффиксы *-изм*, *-ист*, *-на*, *-ика* и т. д., будучи продуктивными в дореволюционном языке, стали очень часто употребляться и в наше время. Автор указывает также и на инфиксы *-ы*, *-в*, *-ан*, *-ч*, которые играют важную роль в создании терминов. Функции приведенных суффиксов можно понять, анализируя состав таких слов: *катарацу* «исполнитель», *нвагацу* «музыкант», *текнацу* «кандидат»,

в которых суффикс происходит от глагола *ацел* «вести». Инфиксы, которые указаны выше, употребляются главным образом в глагольных образованиях. Так, в глаголе, образованном в наше время, *hраhангаворвел* «инструктироваться» инфикс *-в* является признаком пассивности.

Другим обогащающим фактором словарного состава армянского языка является словосложение. Так, имеются глагольные основы *гранцел* (образована от глагола *гир*) «знак письмо, запись» и *анцел* (от глагола *анцуцанел*) «проводить». От них образованы термины *гранцич* «регистратор», *гранцум* «регистрация», *гранцвел* «прописаться», *гранцум* «прописка», которые нашли широкое применение как в литературном, так и в разговорном языке (стр. 36).

Путем соединения наречия с существительным образован термин *арадж кашум* «движение вперед» по образцу русского «выдвижение». От глагола *арадж кашел* создан термин *арадж кашвац* «выдвиженец» (стр. 33—36).

Далее автор отмечает, что армянский язык не только образует термины своими средствами, но и заимствует интернациональные термины, которые связаны с историческими фактами. Пуризм и калькирование не увенчались успехом.

В V главе автор отмечает, что наряду с ограничением диалектной лексики, в исторических романах имеются примеры использования элементов древнеармянского или среднеармянского языка. В целях стилизации писатели применяют архаическую словесную фактуру. Так, у Д. Демирчяна в «Вартананк» встречаются древнеармянские слова: *тагавор шатёр* вместо современного *вран*, *ымпел* вместо *хмел* «пить», *хорhел*» «думать, мыслить», *нютел* «замышлять» и т. д. (стр. 58—59).

Автор большое значение придает составлению терминов из двух или трех слов, выражающих одно понятие. Ср.: *адж текум* «правый уклон», *мец бекман тари* «год великого перелома», *Кармир асдги шканшан* «орден Красной звезды» и т. д. В этих терминизированных словосочетаниях произошла деэтимологизация элементов языка, произошло опрощение, образовались единые термины.

Автор одновременно указывает на следующее обстоятельство: параллельно с армянскими терминами употребляются международные термины и трудно сказать, какая форма победит в этой конкуренции. Так, *кенсабанутюн* «биология», *тесутюн* «теория», *электрокарш* «трамвай». Но замечается такая тенденция: армянские формы превращаются в синонимы, затем идет специализация значения, как, например, *электрокарш* теперь означает «электровоз», а для старого значения употребляется *трамвай*.

В VI главе автор подробно анализирует историю пополнения армянского языка терминологией из области естественных наук. Терминология общего значения вошла в словарный состав армянского языка. Например, *индустриацум* «индустриализация», *трактор*, *комбайн* и т. д.

Были составлены новые термины средствами армянского языка. Так, например, *шинанют* «стройматериал», *метагаhат* «металлорежущий», *сермазтич* «зерноочистительный», *сарнаран* «холодильник». Все они вошли в активный словарный состав армянского языка. Затем говорится, что техническая терминология развивается иногда в весьма сложных обстоятельствах, когда для одного и того же понятия образуются несколько терминов. Дублирование терминов создает путаницу. Естественно, чем скорее упорядочить употребление терминов, тем будет лучше. В этой связи на специалистов падает большая ответственность проверить, установить научную точность терминов, унифицировать их.

Затем приводятся факты, показывающие, как термины (например, *концентрат*, *электромотор*, *трансформатор*, *силос*, *электроэнергия*, *зоотехник* и т. д.) из русского языка вошли в армянский язык. Причем некоторые из этих терминов получили армянские суффиксы *-акан* в слове *зоотехникакан*, *-ацум* в слове *электрофикацум*, *-айин* в слове *электромантажайин* и т. д.).

Вообще бросается в глаза образование слов комбинированным способом. Так, путем словосложения армянских слов с заимствованными словами, образовался, например, термин *тунокимикатнер* «ядохимикаты», здесь сохраняется русский порядок слов: *тун* (*туйн*, в стяженной форме) и *кимикат* «химикат»; *hатикафураж* «зернофураж» (от *hатик* «зерно» и *фураж*); *трчнафабрика* «птицефабрика», от *трчун* «птица» (*трчна* — стяженная форма) и *фабрика* (стр. 103).

Автор отмечает, что бессуффиксные прилагательные являются обычными в армянском языке всех периодов, в том числе и в современном армянском языке. Примеры: *даштапаштпан* «полезащитный», сложение слов *дашт* «поле» и *паштпан* «защитник», *кисанрбагегм* «полутонкорунный».

Исследование И. К. Кусикьяна, будучи написано на русском языке, имеет значение не только для армянского языкознания, но и для ученых-лингвистов, занимающихся проблемой двуязычия, а также для литературных работников и вообще для всех, кто проявляет интерес к литературному армянскому языку.

Труд снабжен примечаниями, в которых дается богатая библиография. Как приложение дается указатель слов, что очень облегчает использование этого ценного исследования.

Е. П. Арустамян

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В № 1 «Вопросов языкознания» за 1965 г. напечатана статья известного венского слависта профессора Й. Хамма «Некоторые замечания к диахроническим исследованиям», в которой взгляды ряда лингвистов, прежде всего Т. Лера-Сплавинского, Н. Трубецкого и А. Вайана, приводятся как примеры методологических ошибок, а часть статьи (стр. 24—27) посвящена двум моим работам, хотя они касаются главным образом проблем синхронической диалектологии. К сожалению, многое в статье Й. Хамма может создать у читателя «Вопросов языкознания», не знакомого непосредственно с проблематикой сербскохорватских диалектов, ошибочное представление об уровне современной югославской диалектологии. Чтобы развеять это неверное представление, я вынужден исправить неточности в статье Й. Хамма. Одновременно я остановлюсь на некоторых методологических принципах, лежащих в основе моих работ, которые Й. Хамму, видимо, были не вполне ясны.

Первый и самый существенный упрек Й. Хамма относится к моей работе «Соответствия польскому „pochyleniu" на сербскохорватской территории»[1] и состоит в том, что «П. Ивич не различает фонем и их вариантов» в бузетском диалекте, «и потому насчитывает в общей сложности 14 (а фактически 12) различных гласных, которые между тем могут быть сведены к 5, включающим, помимо обычных *i* — *o* — *a* (под ударением), еще *ü* и ε как результат смещения артикуляции соответственно *u* и *e* (в то время как *ê* под долгим нисходящим ударением давало *ẹ*)». Это не соответствует фактам. Неясно, на каком основании Й. Хамм делает вывод о том, что я не различаю фонем и их вариантов, если из моего материала очевидно, что самостоятельными фонемами я считаю такие звуки, которые могут выступать в одинаковой позиции, причем с ними связано различие в значении. Так, в диалекте восточной части бузетской зоны находим девять ударных гласных, а среди примеров — такие слова, как *lit* «лет» (Gen. pl.), *γrẹt* «греть» (inf.), *l͡ẹät* «лед», *pεt'* «печь» (inf.), *nük* «внук», *kus* «кость», *kos* «коз» (Gen. pl.), *vɔs* «деревня» и *daš* «дождь», где /i/ < *ē̆*, /ẹ/ < *ĕ̆*, /ẹ͡ä/ <**ē*, /ε/ <**ĕ*, /u/ <**u*, /u/<**ō*, /o/< **ŏ*, /ɔ/ < <**ə̄* и /a/ < *ə̆*. Уже эта небольшая часть примеров из общего числа около 200 делает очевидным наличие 9 гласных фонем, поскольку в этом диалекте, как и почти во всех сербскохорватских диалектах, соседние согласные не оказывают существенного воздействия на качество или дистрибуцию ударных гласных. Неточно и то, что я насчитываю в бузетском диалекте «14 (а фактически 12) различных гласных». Прежде всего, в бузетской зоне (где я сам исследовал диалект 13 сел. однако по вполне понятным причинам исключил диалект самого городка Бузета) я обнаружил не единую фонологическую систему, а четыре весьма различающихся типа с несколькими подтипами (диалектный континуум бузетской зоны, насчитывающей в радиусе всего 6—8 км, отличается исключительно интенсивной внутренней дифференциацией именно в области вокализма; почти все праславянские гласные имеют там различные рефлексы в разных пунктах; поэтому термин «бузетский диалект» в данном контексте не имеет смысла). Число гласных фонем в диалекте одного села колеблется, по моим наблюдениям, от 7 до 9 (+ *r̥*). В безударном положении некоторые различительные признаки нейтрализуются, как и в большинстве русских диалектов, и различается самое большее 6, а обычно 4 или 5 гласных. Поэтому для каждого локального типа я привожу диаграмму, отражающую ситуацию под ударением, а затем без ударения. Из статьи Й. Хамма видно, что цифру 14 он получает сложением данных по этим двум позициям в первой из моих таблиц (9 фонем под ударением при 5 без ударения в диалекте Нуглы; у меня стр. 228)[2], не замечая, что у меня речь идет о разных позициях. Еще более неожиданно утверждение Й. Хамма, что эти гласные можно свести к 5 (каким образом, он не объясняет), но самое удивительное, что сам он при этом насчитывает 6 фонем: *i*, *o*, *a*, *ü*, ε и *ẹ* (об этом последнем гласном Й. Хамм говорит как о рефлексе *ê* «под долгим нисходящим ударением», однако это ляпсус: ударный **ĕ* давал *ẹ*, только если он не был долгим, а ударный *ē̆* > *i*). Не без сожаления я должен заметить, что вся система недоразумений у Й. Хамма может быть объяснена только тем, что он недостаточно внимательно прочел мою работу. Только так можно понимать и его замечание, что я не связываю форму *r͡oaki* (<**rǭky*) с формой *pápak* (<**pǫ̆-pъkъ*), в то время как на стр. 230 у меня ясно показано, что носовой *ǫ* давал *o͡a* при наличии долготы и соответственно *a* в случае краткости, а приведенные примеры разнесены по соответствующим рубрикам. Пример *moj* (у меня на той же стр. 230), вызвавший туманный упрек Й. Хамма в том, что я не рассмотрел его в «независимой позиции» (?), в действительности совершенно ясен: акцентированное **o* давало /o/ во всех случаях, кроме положения под нисходящим ударением, где оно удлинялось и переходило в /u/.

---

[1] «Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński», [Kraków, 1963].

[2] Судя по тому, что эту таблицу Й. Хамм понял как представляющую «бузетский диалект» в целом, он, видимо, не учитывал в своих выводах последнюю часть моей работы.

Непонятно и замечание о том, что я не обратил внимания на «важный для полифонических языков вопрос об энклизе ударения»: моя работа, о которой идет речь, отнюдь не представляет собой полного монографического описания диалекта, а является всего лишь краткой статьей на определенную тему (которая ясна из заглавия), и эта тема не включает вопроса, указанного Й. Хаммом (между прочим, диалекты бузетской зоны, в отличие от большинства сербскохорватских диалектов, не являются политоническими: их акцентуационная система типологически идентична русской).

Другая моя работа, с которой полемизирует Й. Хамм,— это статья «О классификации сербскохорватских диалектов» [3], точнее та ее часть (стр. 27—28), где я предложил признать торлакскую диалектную группу одной из самостоятельных единиц при группировке диалектов, наравне со штокавской, чакавской и кайкавской группами. Выдвигая это предложение, я исходил из списка важнейших различий между торлакскими и штокавскими диалектами, с одной стороны, и штокавскими и чакавскими — с другой. В первом случае я насчитываю 15 особенностей, а во втором — 14, причем в первом случае эти черты в общем более существенны. На этом основании я утверждаю, что статус торлакской группы не может быть ниже статуса чакавской. Приводя этот список, Й. Хамм заключает, что он недостаточно полон. Вообще ни один список такого рода не бывает совершенно полным; многочисленные технические обстоятельства исключают здесь теоретически идеальную возможность, и мы вынуждены довольствоваться селективными списками — по крайней мере при теперешнем состоянии диалектологии всех языков мира. Между тем подобные списки, чтобы они отвечали своему назначению, должны оперировать достаточным количеством черт, должны охватывать все важнейшие явления, и, что особенно важно,— критерий выбора селекции должен быть последовательно единым. В данном конкретном случае это означает, что торлакско-штокавские различия необходимо измерять теми же мерками, что и штокавско-чакавские. Чтобы можно было оценить степень адекватности моего списка, мне необходимо уточнить критерии, которыми я руководствовался (и которые, как мне кажется, могут представить и общий интерес): 1) я принимал во внимание только те особенности, которые представлены более чем в 50% диалектов данной группы [4]; 2) я принимал во внимание только те особенности, которые в обеих группах удовлетворяют некоторому минимуму структурной значимости (исключаются только явления лексического уровня и другие так называемые «мелкие» факты).

Утверждение, что мой список неполон, Й. Хамм документирует тем, что я упустил «целый ряд очень существенных признаков», которые отличают чакавские диалекты от штокавских, и приводит 15 таких явлений. Между тем в 11 из этих случаев речь идет о явлениях, распространенных менее чем на 50% чакавской территории (часто и менее чем на 10%) [5], в двух случаях — о произвольно выбранных лексических деталях, в одном случае («различие в типе ударения») неясно, что автор имеет в виду, и лишь в единственном случае — об особенности (переход *-m* > *-n*), которая действительно распространена в большинстве чакавских говоров и удовлетворяет критерию структурной значимости. Я имел в виду эти обстоятельства, но тем не менее решил не включать эту особенность по той причине, что она представляет собой инновацию, общую почти для всех славянских диалектов Адриатического побережья, будь то чакавские, штокавские, кайкавские или словенские диалекты. Это, так же как и тот факт, что переход *-m* > *-n* не известен чакавским говорам, удаленным от побережья, не позволяет нам считать эту особенность собственно чакавской. Если отвлечься от этой одной особенности, где возможно двоякое решение вопроса, очевидно, что во всех остальных случаях Й. Хамм стоит на методологически несостоятельных позициях [6]. Нако-

50%), я обозначал специальным знаком (скобками), квалифицируя их как менее типичные. Замечание Й. Хамма о том, что некоторые из приведенных мной «особенностей чакавских говоров» известны и некоторым штокавским говорам, относится именно к таким. Но даже если бы это замечание было оправданным, оно бы только сокращало число штокавско-чакавских различий, за которыми Й. Хамм хочет утвердить первостепенное значение.

[3] «Књижевност и језик», X, I, Београд, 1963.

[4] В связи с этим я ввел еще дополнительное различение: особенности, отсутствующие в значительной части диалектов данной группы (однако меньшей, чем

[5] Й. Хамм сам признает, что эти особенности «сосредоточены иногда на узких, разобщенных и разрозненных территориях». На стр. 26 он приводит еще два явления, однако уже из его собственного текста ясно, что они охватывают лишь небольшие части чакавской территории (конструкции с *bujah* — только остров Сусак площадью всего 4 км²).

[6] Интересно, что, при неудачной конкретной аргументации, принципиальная позиция Й. Хамма вполне справедлива. «Традиция выделения такого рода отличий на основании интуиции или по случайным ассоциациям... не отвечает требованиям современной науки о языке, задача которой — принять во внимание всю совокупность фактов и все важное

нец, если и учитывать переход *-m* > *-n*, то получится 15 штокавско-чакавских различий при 15 штокавско-торлакских, причем эти последние в общем более показательны и с точки зрения их структурной значимости, и с точки зрения их представленности в диалектах данной группы. Поэтому нет серьезных аргументов в пользу требования Й. Хамма «отнестись с осторожностью» «к стремлению П. Ивича придать торлакскому диалекту „по крайней мере такое же независимое положение", какое до сих пор признавалось за чакавским». Если бы мы поступили иначе, руководствуясь диахроническими соображениями, как, очевидно, хочет Й. Хамм, хотя его формулировка не совсем здесь точна,— мы погрешили бы против принципа, согласно которому «современные диалекты следует группировать исходя из современного состояния, а не из прежних их состояний». Этот принцип, положенный в основу моих исследований, декларирует и сам Й. Хамм (стр. 26).

На стр. 26 Й. Хамм затрагивает еще одну проблему, чрезвычайно важную для классификации диалектов. Он констатирует: «Одно дело — площадь и число представителей некоторого диалекта или говора, другое — их лингвистическая (системная) характеристика». Й. Хамм хочет этим сказать, что место чакавских диалектов в классификации следует определять не их малой распространенностью, а их лингвистическими характеристиками. В этом мы с ним целиком согласны, и я в своей работе так и поступил, эксплицитно сформулировав лингвистические аргументы и обойдя географические. Остается только непонятным, почему свою идею Й. Хамм высказывает в виде упрека мне. С принципиальной точки зрения вопрос имеет еще один аспект. В случае, если «лингвистическая (системная) характеристика» выделяет как особую единицу чрезвычайно узкую территорию с очень выразительной диалектной спецификой (например, сербскохорватский говор мрковичей или галипольских сербов), за такими единицами правильнее признать статус «диалектных оазисов», как предложил Д. Брозович[7], чем приравнивать их к диалектам, имеющим в 100 или 1000 раз большее распространение.

Не разъяснено у Й. Хамма и понятие «системной характеристики» и вообще «системы». Он должен был бы ответить на вопрос, каким образом очень несхожие особенности разных диалектов могут образовывать «единую, общую систему»; как, например, чакавскую систему в целом могут характеризовать такие частные факты, как модальные конструкции с *bujah*, представленные менее чем на 1% чакавской территории?

Й. Хамм делает вывод, что «одни системы можно считать более значительными для диахронии языка, другие — менее значительными, так что здесь возможна иерархия, измеряемая степенью древности, характеризующей такие системы». Это верно, однако нельзя забывать уже упомянутого принципа, что для группировки современных диалектов важна синхрония, а не диахрония (и что моя группировка относится исключительно к современным диалектам). Математическая формула, которой Й. Хамм иллюстрирует свое положение, к сожалению, не понятна. Заслуживает внимания предложение Й. Хамма включить в число критериев степень древности системы (вероятно, точнее — каждого элемента системы, поскольку различные элементы в системе, как правило, имеют неодинаковую древность). Тем не менее этот критерий не может быть применен к группировке современных диалектов (где, как я уже не раз отмечал в своих работах, существен только общий показатель — производное — числа и средней значимости различий). В диахронической же диалектологии, составляющей ветвь истории языка, приемлемой основой для группировки, казалось бы, может служить общий показатель числа, средней значимости и средней степени древности различий. Между тем правильнее было бы рассматривать факты не совокупно, а в ряде последовательных синхронных срезов с тем, чтобы в каждом отдельно выявлять диалектные различия того времени и определять их значение.

Я разобрал все замечания, сделанные Й. Хаммом. Во всех случаях они не оказались оправданными[8]. Остается неясным, зачем Й. Хамму нужно было включить эту дискуссию в статью, в остальном посвященную совсем другим проблемам.

Павле Ивич.

Перевод с сербскохорватского

в языковом отношении для данной территории» (стр. 26). Прежняя позиция Й. Хамма в этом вопросе была иной. В дискуссии по моему докладу на IX Международном конгрессе лингвистов он оспаривал необходимость учитывать совокупность особенностей (что составляло суть моего доклада) и ратовал за классификацию на основе трех-четырех «первостепенных» черт.

[7] См.: D. Brozović, O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata, «Зборник за филологију и лингвистику», III, Нови Сад, 1960.

[8] Неудачна и попытка Й. Хамма (в примеч. 10 на стр. 25) опровергнуть мое толкование слова *vigled* как отражение употребления префикса *vy-* в штокавских диалектах доисторической эпохи. Факт, что в области, где отмечено это слово, много переселенцев, ничего не доказывает, так как известно, что среди этого населения нет лиц, прибывших из ареала распространения суффикса *vy-* (речь идет о северо-западных чакавских районах).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1966

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РЕШЕНИЯ IX ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ

С 21 по 24 сентября 1965 г. в Вене состоялось IX пленарное заседание Международного комитета славистов. На заседании присутствовали следующие члены МКС: Австрия — Й. Хамм, Р. Ягодич; Болгария — В. Георгиев, П. Динеков; Великобритания — Р. Оти; Венгрия — П. Кирай; ГДР — Г. Г. Бильфельдт, П. Новотный, Х. Юнгер; Дания — К. Стиф; Италия — Л. Пачини, Р. Пиккио; Норвегия — Х. Станг; Польша — В. Дорошевский, Ю. Кржижановский; Румыния — Э. Петрович; США — Р. Якобсон, В. Эджертон; СССР — И. К. Белодед, В. И. Борковский, В. В. Виноградов; ФРГ — М. Браун, Э. Кошмидер; Финляндия — В. Кипарский; Франция — А. Мазон; Чехословакия — Ю. Доланский; Швейцария — П. Бранг; Югославия — И. Бадалич, Б. Конески, Б. Крефт, Р. Лалич; секретари МКС — С. Вольман, Л. Дюрович.

Кроме того, присутствовали следующие делегаты: Австрия — Г. Вытженс, С. Хафнер; Болгария — Э. Георгиев, С. Стойков; ГДР — Х. Гресгоф; Польша — П. Зволинский; США — Д. Уорт; СССР— Д. Ф. Марков, А. С. Мясников, А. Н. Робинсон; Франция — П. Гард; Чехословакия — К. Горалек; Швеция — Г. Якобсон.

Международный комитет славистов почтил память своих членов, скончавшихся за время от заседания в Софии в 1963 г.— И. Книежи, Т. Лера-Сплавинского и М. Ф. Рыльского.

Согласно ст. 8 и 9 Устава пленарное заседание приняло резигнацию членов МКС Е. Хилл (Великобритания) и К. Эбелинга (Голландия) и избрала членами МКС И. Лекова (Болгария), Р. Оти (Великобритания), П. Кирая (Венгрия), А. Х. Койперса (Голландия), Ю. Кржижановского (Польша), А. Росетти (Румыния), И. К. Белодеда (СССР), В. Кипарского (Финляндия), Л. Голотика (Чехословакия).

Согласно ст. 15 и 16 Устава избран заместителем председателя МКС Ю. Доланский и секретарем МКС Л. Дюрович. Дополнение нового президиума МКС состоится на следующем пленарном заседании.

МКС заслушал письмо отсутствующего по болезни председателя МКС Б. Гавранка, приветственную речь председателя Австрийского комитета славистов Р. Ягодича и отчетный доклад В. Георгиева о V Международном съезде славистов в Софии и выразил благодарность Болгарскому комитету славистов и всем болгарским славистам за подготовку и организацию съезда.

Международный комитет славистов принял следующие решения:

1. В соответствии с предложением Чехословацкого комитета славистов признать необходимым углубление, ограничение и концентрацию тематики славистических съездов.

2. Принять тематику VI Международного съезда славистов (Прага 1968), прилагаемую к настоящим Решениям.

3. Обратиться к национальным славистическим комитетам и к редколлегиям славистических журналов с просьбой ознакомить славистов отдельных стран с тематикой съезда, организовать широкую дискуссию на темы съезда в научной печати и направлять опубликованные и неопубликованные высказывания ученых, посвященные темам съезда, президиуму МКС в Прагу.

4. Возложить на национальные славистические комитеты подготовку предварительных предложений конкретных тем докладов и научных сообщений для рассмотрения на следующем заседании МКС. Предложения следует направлять Президиуму МКС в Прагу. Желательный срок для получения предложений тем докладов с именами докладчиков установить 1 июня 1966 г., крайний срок 1 августа 1966 г. Поручить Президиуму МКС подготовить на основании указанных предложений проект структуры и организации съезда и включения в его программу предлагаемых докладов и сообщений.

5. Вновь утвердить положение об обязательной предварительной публикации докладов, а также научных сообщений в отдельных странах и о их распространении не позднее чем за три месяца до съезда.

6. Рекомендовать, чтобы авторы докладов, принятых в программу съезда, после написания полного текста докладов прислали в Прагу резюме — краткое изложение содержания докладов. Резюме в объеме до 1 стр. желательно получить на другом языке, чем доклад (допускаются все славянские и основные европейские языки, по усмотрению авторов). Резюме предварительно напечатать в Чехословакии. Срок для получения в Праге рукописей резюме установить на следующем заседании МКС.

7. Принять к сведению полученные отчеты о работе международных комиссий при МКС. Поручить Президиуму дополнение и уточнение этого материала и подготовку соответствующих предложений о комиссиях для следующего заседания МКС. Отложить до этого заседания утверждение новых комиссий и новых председателей некоторых комиссий. Поручить национальным славистическим комитетам пересмотреть и ограничить представительство в комиссиях, обсудить рабочие условия и возможности отдельных комиссий и дать Президиуму соответствующие предложения о программе и задачах комиссий, о дальнейшем существовании некоторых комиссий, а также личный список членов отдельных комиссий.

8. Рекомендовать Президиуму поручить одному из своих членов постоянно уделять внимание вопросам комиссий. Возложить на представителей славянских стран задачу обеспечить дальнейшую работу над славянским лингвистическим атласом во всех этих странах. Поручить польским представителям в контакте с Д. Д. Благим обеспечить успешную работу комиссии литературоведческой терминологии. Поручить П. Гарду подготовку предложений относительно транскрипционной комиссии и просить национальные комитеты предложить П. Гарду членов этой комиссии. Утвердить Ф. Славского председателем лингвистической субкомиссии библиографической комиссии и подчеркнуть чрезвычайную важность обеспечения работы в области текущей библиографии славянского языкознания и литературоведения (включая и вопросы народной словесности).

9. Принимая предложение Ассоциации британских славистов, установить, что следующее заседание МКС состоится в Оксфорде между 21 и 26 сентября 1966 г.

10. Приветствуя в принципе готовность Ассоциации славянских языков и литератур и Комиссии славистики соединиться с МКС и выступать в качестве автономных комиссий МКС, уполномочить Р. Оти для дальнейших переговоров относительно включения МКС в систему организаций ЮНЕСКО с целью уточнения предлагаемых ныне условий и достижения прямого представительства МКС.

11. Принять к сведению сообщение Р. Пиккио и письмо проф. Б. Шнейдермана (Сан Паулу, Бразилия) об учреждении славистической кафедры и ее деятельности.

За оказанное гостеприимство, организационную работу и всестороннюю помощь заседанию Международный комитет славистов выражает искреннюю благодарность Австрийскому комитету славистов во главе с проф. Р. Ягодичем, Институту славянской филологии Венского университета и всем его сотрудникам во главе с проф. Й. Хаммом, а также ректору Венского университета и соответствующим государственным и городским учреждениям.

Примечание.

В связи с подготовкой тематики VI МСС рабочая группа по языкознанию рекомендовала:

избрать из предложенных докладов наиболее важные для освещения проблематики и предоставить для прочтения каждого из них максимум 15 минут, чтобы обеспечить достаточно продолжительную дискуссию;

разделить доклады по родству тем на группы и проводить дискуссию после каждой из этих групп;

председателям секций и подсекций предоставить право краткого вступительного или заключительного слова, в котором была бы подытожена проблематика заседания.

Рабочие группы по языкознанию и литературоведению рекомендовали для первой и второй тем данных отделов предоставить по одному дню, для остальных разделить секцию на две подсекции.

ТЕМАТИКА VI МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ

1. Языкознание.

1. Фонологическая и морфологическая структура слова в славянских языках и ее историческое развитие.

2. Типы строения предложения в славянских языках и их историческое развитие.

3. Проблемы сравнительно-исторического и типологического анализа славянской лексики.

4. Вопросы стандартизации славянских литературных языков (включая контактные явления).

5. Задачи и перспективы развития дна-

лектологических исследований славянских языков.

6. Славянское языковое наследие на современных неславянских территориях и неславянское наследие на территориях славянских (включая вопросы ономастики).

II. Литературоведение.

1. Основные методологические и исторические проблемы сравнительного славянского литературоведения; в частности вопрос о месте славянских литератур в мировой литературе.

2. Развитие и изменение жанровых систем в славянских литературах.

3. Проблемы единства и различия в развитии древних славянских литератур.

4. Барокко в славянских литературах.

5. Приемы отражения действительности в славянских литературах XIX в.; в особенности литературные течения на рубеже XIX и XX вв.

6. Творческие принципы развития славянских литератур XX в. (критический реализм, авангардные течения, социалистический реализм и другие направления).

III. Литературно-лингвистические проблемы.

1. Проблемы взаимоотношений литературного языка и языка художественной литературы у славян.

2. Отражение особенностей славянских языков в художественных литературах славянских народов.

3. Стилистическая структура художественных произведений в историческом и типологическом аспекте.

4. Проблемы славянского стиховедения в сравнительно-историческом и типологическом плане.

5. Вопросы перевода со славянских языков и на славянские языки.

IV. Славянская народная словесность.

1. Жанровая система славянской народной словесности и проблемы классификации и каталогизации.

2. Сравнительное изучение славянской народной эпики.

3. Полународная литература (лубок, ярмарочные песни, народные книжки и т. д.).

4. Проблемы славянской народной баллады.

5. Современные виды фольклора славянских народов.

V. Общеславистические исторические проблемы.

1. Основные проблемы истории славистики.

2. Образование раннефеодальных славянских государств и их взаимоотношения.

3. Значение богомильства, реформации и гуманизма в славянских странах.

4. Развитие идей и программ славянской взаимности в XVIII—XX вв.

5. Славянские народы в годы второй мировой войны; их социальное и культурное развитие в послевоенный период.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 16 по 18 сентября 1965 г. проходила IV научно-методическая конференция Московского зонального межвузовского объединения кафедр русского языка педагогических институтов. Эта конференция была организована Московским гос. пед. институтом имени В. И. Ленина. В конференции принимали участие также работники вузов других зон. Тематикой конференции было обсуждение результатов научно-исследовательской работы кафедр русского языка пединститутов московской зоны за последнее пятилетие (1961—1965 гг.). На конференции было прослушано и обсуждено свыше 40 докладов и сообщений. За три дня было проведено 3 пленарных заседания и 10 секционных.

На пленарном заседании с докладом «Споры в современной лингвистике об основных понятиях и терминах в истории литературных языков» выступил акад. В. В. Виноградов. В своем докладе В. В. Виноградов дал критический анализ взглядов русских и зарубежных ученых (Б. В. Томашевского, А. И. Соболевского, С. П. Обнорского, Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура, П. Я. Черных, А. В. Исаченко, Б. О. Унбегауна и др.), касающихся понятия «литературный язык», и обратил внимание на важность изучения отдельных функциональных стилей русского языка и стилей языка художественной литературы в их взаимодействии. На том же заседании с докладом на тему «Проблемы диалектной лексикографии» выступил член-корр. Ф. П. Филин. Он рассказал о принципах составления 1 тома «Словаря русских народных говоров». В докладе был поставлен ряд теоретических вопросов современной диалектной лексикографии (типы словарей, методика обработки и изложения диалектного материала и др.).

На втором пленарном заседании был выслушан доклад проф. И. А. Василенко (Москва) «Очередные задачи подготовки учителей русского языка в пединститутах». В докладе «Подготовка программы и учебных планов по русско-

му языку для средней школы» проф. А. В. Текучев (Москва) охарактеризовал проект новой программы по русскому языку для 10-летней школы.

На конференции работали три секции: современного русского языка; общего языкознания, стилистики, истории русского языка и диалектологии; методики преподавания русского языка.

На заседаниях секции современного русского языка было прочитано 18 докладов, посвященных различным вопросам морфологии и синтаксиса современного русского языка. В докладах проф. И. Г. Голанова (Москва) «К вопросу о системе частей речи в русском языке и других восточнославянских (слова „категории состояния")» и В. Ф. Киприянова (Владимир) «Коммуникативы как лексико-грамматический разряд слов» рассматривалась проблема частей речи в современном русском языке.

Вопросы словообразования были освещены в докладах: Е. А. Василевской (Москва) «Продуктивные способы словосложения в современном русском языке», В. М. Дерибаса (Москва) «О словообразовательной синонимии» и Г. А. Основиной (Арзамас) «К вопросу о выразительных возможностях словообразовательных суффиксов существительных». Доклады Г. В. Степановой (Калининград) и И. А. Сколотовой (Горький) были посвящены глаголам речи. Авторы остановились на вопросах семантики данной группы глаголов и на их сочетаемости с другими словами в предложении.

Особый интерес вызвали вопросы синтаксиса. К. И. Мишина (Москва) прочитала доклад «Однородные согласованные определения, соединенные между собой лишь интонационно»; Я. И. Рословец (Москва) сделал доклад на тему «Предложения, формирующиеся путем лексических повторов имен существительных». Проф. Н. Н. Прокопович (Москва) в докладе «Некоторые синтаксические явления в русском языке современной эпохи» рассмотрел ряд явлений синтаксического переразложения, возникающих в тех случаях, когда словосочетание поступает в распоряжение предложения.

Несколько докладов было посвящено вопросам сложного предложения различной структуры. Н. М. Киселева (Москва) сделала сообщение «Существует ли в русском языке противительный союз *и*?». В. А. Шитов (Вологда) сделал доклад «Особенности употребления союзов и союзных слов в сложных предложениях с однородным соподчинением нескольких придаточных». Различным вопросам сложного предложения были так же посвящены доклады Н. Н. Холодова (Смоленск) «Анализ сложных конструкций с сочинением и подчинением как единых целых», А. И. Аникина (Москва) «Вставные конструкции с присоединительным значением в современном русском языке», А. Н. Карпова (Рязань) «Периоды с одним конструктивно-организующим центром и однородными определениями и обстоятельствами в роли членов повышения». Л. Ю. Максимов (Москва) сделал доклад «Структурно-языковые типы лирической композиции», А. Н. Кожин (Москва) — «Составные наименования как средство детализации обозначаемого», Х. Г. Агишев (Казань) — «К вопросу об однокоренных словосочетаниях».

На секции общего языкознания, истории русского языка и диалектологии было прослушано 19 докладов и сообщений.

Вопросам словообразования были посвящены доклады Н. А. Крылова (Москва) «К проблеме делимости слов на значимые части» и О. И. Александровой (Арзамас) «Новообразования в поэтическом языке начала XX в.». В докладах Т. Н. Кандауровой (Москва), Л. В. Граве (Смоленск), И. Г. Добродомова (Москва) и И. С. Козырева (Орел) были рассмотрены некоторые фонетические, морфологические и лексические явления древнего периода истории русского языка. Характеристике именных основ в деловом языке XIV—XVI вв. было посвящено сообщение А. С. Позерн-Пестовой (Кострома). Различным вопросам праславянских языковых отношений были посвящены доклады Н. А. Кондрашова (Москва), Г. А. Хабургаева (Москва) и В. С. Литвиненко (Орехово-Зуево).

Большой интерес был проявлен на секции к вопросам истории русского литературного языка XVIII в. А. И. Панфилов (Москва) рассмотрел сложноподчиненные предложения с союзным словом *где* в русском литературном языке XVIII в., Т. А. Шаповалова (Кострома) — отглагольные образования с суффиксом *ся* в русском литературном языке XVIII в., А. М. Щукина (Рязань) говорила о месте придаточного причины по отношению к главному в русском литературном языке XVIII в. М. А. Кустарева (Смоленск) сделала доклад на тему «Заметки об общественно-политической лексике в „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина». С. Г. Капралова (Москва) остановилась на вопросах лексико-стилистического анализа литературного произведения.

Отдельное заседание было отведено обсуждению вопросов диалектологии и диалектной лексикографии. А. И. Иванова (Смоленск) говорила о структуре словарной статьи в Смоленском областном словаре. В. И. Тагунова (Муром) затронула

вопросы диалектного словообразования в области антропонимики и топонимики, Т. С. Ворошилова (Шуя) показала, как в условиях местного диалекта происходит отбор и закрепление отдельных глаголов в речи различных социальных групп. Доклад А. А. Данилова (Вологда) был посвящен характеристике системы ударений имен существительных в говоре дер. Дулово Белевского р-на Тульской обл.

В секции методики преподавания русского языка были прослушаны доклады проф. С. Е. Крючкова (Москва), П. А. Леканта (Москва), В. И. Апполоновой (Москва), В. Н. Покровского (Москва), В. П. Озерской (Москва).

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы конференции. Было отмечено, что научно-исследовательская работа кафедр русского языка в последние годы заметно оживилась, выше стал ее научно-теоретический уровень. Конференция рекомендовала провести V зональную конференцию в сентябре-октябре 1966 г. Общая тема конференции: «Подготовка учителей русского языка для общеобразовательной школы за 50 лет Советской власти».

Л. В. Николенко, М. А. Теленкова (Москва)

*

12—15 октября 1965 г. в Ленинградском пед. ин-те им. А. И. Герцена проходил семинар преподавателей педагогических институтов, созванный Министерством просвещения РСФСР. В работе семинара, посвященного курсу «Общее языкознание», приняло участие около 200 человек; кроме представителей педагогических институтов РСФСР, на семинаре присутствовали товарищи из педагогических институтов некоторых других республик, университетов и академических учреждений. На семинаре было прослушано 16 докладов[1].

Первая группа докладов была посвящена теоретическим вопросам современного языкознания. А. Г. Руднев (Ленинград) говорил о методологическом значении для языкознания работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Доклад «Язык и общество» сделала А. В. Десницкая (Ленинград). Иногда наблюдается тенденция вывести эту проблему, как «экстра-лингвистическую» за пределы собственно языкознания. Обратной крайностью являются бытующие иногда отголоски упрощенного взгляда на марксизм в языкознании как на сумму вопросов социологии языка по преимуществу. «Обе эти точки зрения,—сказала А. В. Десницкая,— каждая по своему ограничивают возможности глубокого и всестороннего проникновения в сущность такого сложного и многопланового явления, каким следует считать язык».

Ф. П. Филин (Москва) говорил о том, что для современного состояния науки о языке характерно наличие множества разных точек зрения. «Структуральное языкознание,— сказал Ф. П. Филин,— отвечает целому ряду потребностей изучения языка как объекта языкознания, и оно должно развиваться и должно существовать, хотя, с моей точки зрения, в нем есть много неоправданного, много того, что вызывается увлечением, модой, и слишком большим количеством разного рода рассуждений и формул ради самих формул, а не ради истины». Если естествен стык между языкознанием и математикой, то нужно говорить и о стыке между языкознанием и историей, языкознанием и психологией. К проблематике «Язык и мышление» тоже ослаблено внимание.

С докладом «Знаковая теория языка» выступил Ю. С. Маслов (Ленинград). Определение языка как своеобразной семиотической системы,—сказал он,— нисколько не противоречит его определению как «важнейшего средства человеческого общения» (В. И. Ленин) и как «непосредственной действительности мысли» (К. Маркс и Ф. Энгельс). Именно потому, что язык — важнейшее средство общения, он является системой знаков. Материалистическое понимание знака-информатора характеризуется признанием принципиальной материальности экспонента (означающего) и отражательной природы идеи, обозначаемой знаком. Знаками-информаторами являются морфемы, сцепления морфем, слова, устойчивые словосочетания и, возможно, модели свободных словосочетаний и предложений. Знаки-дистинкторы используются для построения знаков-информаторов и обеспечивают их распознавание: это фонемы (и их дифференциальные признаки), а также в ряде случаев просодические особенности.

Доклад акад. И. И. Мещанинова (Ленинград) был посвящен типологии структуры предложения. Разновидности синтаксических построений предложения в разных языковых системах дают возможность группировать языки по признаку выступающей в них грамматической формы. В тех языках, в которых структура предложения сохраняет одну схему, приходится группировать языки, учитывая их лексику и ведущие морфологические признаки. Языки, относимые к индоевропейской группе, не образуют одной цельной схемы ни по лексике, ни по своим грамматическим формам. По своим основным грамматическим признакам и лексическому составу выделяются славянские, романские и германские язы-

[1] См.: «Программа и тезисы семинара по курсу «Общее языкознание» (для преподавателей педагогических институтов)», Л., 1965.

ки. Тюркские и финно-угорские языки различаются по лексическому составу и по своим грамматическим формам, сближаясь тем, что получают один падеж подлежащего и разные падежи прямого дополнения.

Доклад «Методология науки и методы и приемы лингвистики» прочитал В. И. Кодухов (Ленинград). Любой лингвистический метод или прием анализа определяется объективными свойствами объекта и субъективными целями, которые поставлены исследователем. Модели-образцы не уступают по своим познавательным качествам моделям-конструктам.

А. В. Бондарко (Ленинград) в докладе «Современное сравнительно-историческое языкознание» остановился на вопросе о взаимосвязи и разграничении сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического изучения языков. Во второй части доклада А. В. Бондарко остановился на проблемах образования индоевропейской языковой семьи. Доклад В. И. Чагишевой (Ленинград) был посвящен некоторым проблемам лингвистической географии, которая позволяет сопоставлять не только диалекты одного языка, но и родственные языки, а также выходить за пределы родства.

Во второй группе докладов рассматривались трудные и спорные вопросы истории лингвистических учений. С. Д. Кацнельсон (Ленинград) остановился на характеристике и оценке лингвистической концепции Ф. Д. Соссюра, который вскрыл ряд противоречий, ряд антиномий в состоянии современного языкознания и тем самым поставил вопрос о назревшей необходимости их теоретического осмысления и преодоления. «Легче критиковать Соссюра вербально, чем по существу преодолеть его,— заключил свой доклад С. Д. Кацнельсон.— Решение антиномий Соссюром дано неверно, но сама постановка задачи весьма важна, и задача эта является очень актуальной до настоящего времени».

Рассмотрению основных направлений структурализма посвятил свой второй доклад Ю. С. Маслов. Л. Р. Зиндер (Ленинград) рассказал об основных фонологических школах (пражская, копенгагенская, дескриптивистская, школа Щербы и московская). Для всех фонологических школ является общим признание того, что физическая индивидуальность звука не совпадает с языковой единицей, напротив, фонема как языковая единица находится в противоречии с физической природой звука. Основное различие ленинградской и московской фонологических школ, по мнению Л. Р. Зиндера, состоит в том, что щербовское представление о фонеме исходит из известной автономности ее, тогда как московская фонологическая школа считает, что фонема существует как некий элемент морфемы (что является продолжением старой теории Бодуэна). Доклад «Философские основы неогумбольдтианского языкознания» сделал В. М. Павлов (Ленинград). Несмотря на неприемлемость субъективно-идеалистической концепции Гумбольдта о национально-языковом мировоззрении, громадное значение его наследия заключается в том, что рациональная постановка проблемы языка и мышления невозможна в отвлечении от формального и содержательного своеобразия конкретных национальных языков.

В третьей группе докладов рассматривались вопросы организации и проведения лекций и семинарских занятий по новому для педагогических институтов курсу «Общее языкознание». Это доклады В. И. Кодухова и А. В. Бондарко, сообщения М. В. Черепанова (Саратов), Л. Я. Маловицкого (Черновец) и Е. Г. Ковалевской (Ленинград).

В прениях по докладам выступило 26 человек.

На последнем заседании была принята резолюция. Семинар обратился с просьбой к издательству «Просвещение» запланировать издание и переиздание отдельных лекций и учебных пособий по курсу «Общее языкознание». Республиканский семинар решил просить Институт русского языка и Институт языкознания организовать продолжающуюся серию «Жизнь и творчество отечественных и зарубежных языковедов».

Опыт проведения республиканского семинара по одной учебной дисциплине вполне оправдал себя. Было решено издать материалы республиканского семинара по курсу «Общее языкознание».

В. И. Кодухов (Ленинград)

*

С 26 по 29 октября 1965 г. в Институте по подготовке переводчиков при университете им. Карла Маркса в Лейпциге состоялась международная конференция на тему «Основные вопросы науки о переводе» (Grundfragen der Übersetzungswissenschaft). Участники конференции, в том числе гости из Польской Народной Республики, Чехословацкой Социалистической Республики, Социалистической Республики Румынии и Западной Германии заслушали ряд докладов и сообщений сотрудников Института и гостей, которые были посвящены некоторым основным вопросам теории и практики перевода. Исходя из сложности процесса перевода, проф. А. Нойберт (Лейпциг) остановился в своем докладе на прагматическом аспекте перевода, подразумевая под «прагматикой» ту специфику перевода, которая возникает на «фоне» общественных и индивидуальных

потребностей, намерений и целей, для удовлетворения и осуществления которых говорящий и слушатель прибегают к переводу. Д-р О. Каде (Лейпциг) коснулся в своем докладе ряда коммуникативных проблем перевода [инвариантности, замены кодов, отношения между знаком исходного языка (ИЯ) и знаком переводящего языка (ПЯ)] и пришел к выводу, что приемы реализации перевода можно подразделить на 1) субституцию — перевод на уровне формативов (на основе чисто формальных критериев в рамках плана выражения), 2) интерпретацию — перевод на семантическом уровне (в рамках плана содержания), 3) парафразу — перевод на основе отношений между знаками и объектами, при котором имеет место не перекодирование, а «новокодирование» в ПЯ. Д-р Г. Йегер (Лейпциг) изложил идею о создании теории изопрактики и применения ее при научной разработке теории перевода. Изопрактика, по мнению докладчика,—это часть теории перевода между двумя данными языками, состоящая из трех разделов, которым соответствуют три (частные) модели: идентифицирующая модель, изопрактическая модель (изопрактика) и синтетическая модель. Изопрактика была охарактеризована как способ автоматического приравнивания знаков ПЯ знакам ИЯ. С докладами выступили еще проф. Э. Агрикола (Берлин) «О синтаксической полисемии при машинном переводе» и д-р Гамалея (Дрезден) «О неконгруэнтности значений технических терминов». В дискуссии был сделан ряд ценных замечаний по некоторым (в частности логическим) положениям докладов [проф. Р. Ружичка (Лейпциг), проф. Л. Заброцкий (Варшава), доцент д-р Берка (Прага), проф. Г. Мейер (Берлин)]. Было подчеркнуто, что постановка основных вопросов перевода в свете новых достижений языкознания и работа над их решением — насущная задача теоретиков и практиков, работающих в области перевода. Материалы конференции будут опубликованы как приложение к журналу «Fremdsprachen».

В. Шаде (Лейпциг)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ, БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Język polski. XLV, 4—5.— 1965. Стр. 193—312.
Revista de psihologie. XI, 1—2.—1965. Стр. 1—290.
Slavia orientalis. XIV, 3.—1965. Стр. 275—380.
Studia slavica. XI, 1—2.—1965. Стр. 1—194.
А. Ананыров. Дил билиминиҥ кэбир меселелери.—Ашгабат, 1965. 176 стр.
И. А. Батманов, А. Ч. Купала. Памятники древнетюркской письменности Тувы. III.— Кызыл, 1965. 32 стр.
C.-Chr. Elert. Phonologic studies of quantity in Swedish. Based on material from Stockholm speakers.— Uppsala, 1964. 225 стр.
I. Fodor. The rate of linguistic change. Limits of the application of mathematic methods in linguistics.— The Hague, 1965. 88 стр.
E. Klein. A comprehensive etymological dictionary of the English language. Dealing with the origin of words and their sense development thus illustrating the history of civilization and culture. I — A — K.— Amsterdam — London — New York, 1966. 853 стр.
Z. Klemensiewicz. Historia języka polskiego. II. Doba średniopolska (od początków XVI wieku do ósmego dziesięciolecia XVIII wieku).— Warszawa, 1965.
G. B. Milner, E. J. A. Henderson. Indo-Pacific linguistic studies. I — Historical linguistics, 514 стр.; II — Descriptive linguistics, 571 стр.— Amsterdam, 1965.
G. B. Milner. Samoan dictionary. Samoan — English. English — Samoan.— London, 1966. 466 стр.
A. Róna-Tas. Tibeto-Mongolica. The Tibetan loanwords of Monguor and the development of the archaic Tibetan dialects.— Budapest, 1966. 232 стр.
F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. II, 5 (10) (Kooperatywa — kot).— Kraków, 1965. Стр. 449—560.
Telegdi Zsigmond. Általános nyelvészeti tanulmányok. III.— Budapest, 1965. 293 стр.

ИСПРАВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» № 6, 1965 г.
(статья А. К. Матвеева)

Стр. 4 на строке 21 снизу следует читать: типологическое.
Стр. 9 на строке 19 снизу следует читать: из ареала II.
Стр. 10 на строке 6 сверху следует читать: из ареала II.
Стр. 10 на строке 7 сверху следует читать: из ареала I.

CONTENTS

Articles: Y. D. Dešeriev, I. F. Protčenko (Moscow). On some problems of language-development of the peoples of the USSR; N. S. Pospelov (Moscow). Two sets of grammatical meanings of verbal tense-forms in Russian; **Discussions:** V. Y. Rosenzweig (Moscow). Language practice and linguistic theory; O. A. Lapteva (Moscow). On the uncodified spheres of modern Russian literary language; M. Mollova (Sofia). On the history of Turkic vocalism; M. I. Steblin-Kamenskij (Leningrad). On the theory of sound-changes; Y. V. Solonitsin (Kirov). On quantitative indices of the «power» of rection; **Materials and notes:** V. S. Bajevskij (Smolensk). On the quantitative characteristics of the power of syllables in verses of alternating rhythm; R. M. Frumkina (Moscow). Objective and subjective evaluation of word-probabilities; V. G. Gak (Moscow). On the use of comparative analysis for the study meaning-structure of the word; I. V. Arnold (Leningrad). Oppositions in semasiology; **Applied and mathematical linguistics:** N. V. Petrova (Moscow), R. G. Piotrovskij (Leningrad). Word, context, morphology; **From the history of linguistics:** N. V. Lapšina, I. K. Romanovič, B. I. Yarkho. From the materials of «The metrical reference-book to the verses of M. Y. Lermontov»; **Critics and bibliography; Letters to the editorial office:** P. Ivič (Novy Sad). A letter to the editorial office; **Scientific life:** Decisions of the IX session of the International committee of slavists; Themes of reports for the VI International congress of slavists.

SOMMAIRE

Articles: Y. D. Dešeriev, I. F. Protčenko (Moscou). Sur quelques problèmes de developpement de langue des peuples de l'URSS; N. S. Pospelov. (Moscou). Deux series des significations grammaticales des formes verbales de temps en russe; **Discussions:** V. Y. Rosenzweig (Moscou). Pratique de langue et théorie linguistique; O. A. Lapteva (Moscou). Sphères incodifiées de la langue russe moderne; M. Mollova (Sofia). Sur l'histoire du vocalisme turque; M. I. Steblin — Kamenskij (Léningrad). Sur la théorie de changements des sons; Y. V. Solonitsine (Kirov). Sur les indices quantitatifs de la «force» de rection; **Matériaux et notices:** V. S. Bajevskij (Smolensk). Sur les caractéristiques quantitatifs de force des syllabes dans les vers de rythme alterné; R. M. Frumkina (Moscou). Évaluation objective et subjective de probabilités des mots; V. G. Gak (Moscou). Sur l'application d'analyse comparative pour l'étude de structure de signification des mots; I. V. Arnold (Léningrad). Oppositions en sémasiologie; **Linguistique appliquée et mathématique:** N. V. Petrova (Moscou), R. G. Piotrovskij (Léningrad). Mot, contexte, morphologie; **De l'histoire de la linguistique:** N. V. Lapšina, I. K. Romanovič, B. I. Yarkho. Extraits des matériaux de «Livre de reference aux vers de M. Y. Lermontov»; **Critique et bibliographie; Letters à la redaction:** P. Ivič (Novy Sad). Lettre à la redaction; **Vie scientifique:** Decisions de IX session du comité international des slavistes; Thèmes pour les rapports au VI Congrès International des slavistes.

Технический редактор *Л. Д. Мельникова*

Т-03850 Подписано к печати 15/III—1966 г. Тираж 6550 экз. Зак. 46
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 15,4 Бум. л. 5,5 Уч.-изд. л. 17,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55